ЖЕНЩИНА
МИФ

Аркадий Ваксберг

ЛИЛЯ БРИК

Аркадий Ваксберг
ЖЕНЩИНА - МИФ
ЛИЛЯ БРИК

жизнь
и судьба

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Загадка этой хрупкой женщины, до последних дней своей жизни сводившей с ума мужчин, миновавшей рифы Кремля и Лубянки и устоявшей перед всеми ветрами жестокого XX века, так н осталась неразгаданной. Ее называли современной мадам Рекамье, считали разрушительницей моральных устоев, обвинили в гибели Маяковского. Один боготворили ее, другие презирали и ненавидели. К 85-летнему юбилею Ив Сен-Лоран создал для нее специальное платье, а молодой французский романист признался в любви.

Об одной из самых магических женщин уходящего века рассказывает эта книга.

- Ваксберг Л. И.
  -
  - ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
  - I. «С Маяковским...»
    - «ТАК НАЧИНАЮТ ЖИТЬ СТИХОМ...»
    - ЗАПУТАННЫЙ УЗЕЛ
    - В ЛЮБВИ ОБИДЫ НЕТ
    - ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
    - ЗАРУБКИ НА СЕРДЦЕ
    - ФИЛИАЛ ГПУ
    - «ТЫ В ПЕРВЫЙ РАЗ МЕНЯ ПРЕДАЛ»
    - «ЛИЛЯ, ЛЮБИ МЕНЯ!»
  - II. «...и после»
    - ЖЕНА ПОЛКОВОДЦА
    - «ПОД КОЛПАКОМ» ЛУБЯНКИ
    - ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ
    - ПРОЦЕСС ОТЛУЧЕНИЯ
    - В ПАУТИНЕ ИНТРИГ
    - «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ — ВЕЛИКИЙ ШАГ...»

Ваксберг Л. И.
Лиля Брик.Жизнь и судьба

С нежной благодарностью моим друзьям, Василию Катаняну и Бенгту Янгфельдту, чей многолетний труд послужил основой для этой книги и чья преданность Лиле Юрьевне Брик вдохновляла меня, когда я ее писал.

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Зима 1976 года. Лютый рождественский мороз. В Москве гостит болгарский поэт— из поросли шестидесятников — Любомир Левчев. Мой друг. И — что гораздо важнее — Друг Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского. Увы, Евтушенко в очередном заграничном вояже. Зато Вознесенский в Москве и — надо же, такая удача! — как раз завтра, 23 декабря, дает в Доме актера свой поэтический вечер. Конечно, он ждет нас. Конечно, оставит два кресла в первом ряду, хотя зал, в этом нет никакого сомнения, будет забит до отказа.

Так и есть: зал полон. Но два кресла оставлены. И рядом еще два, пока что пустые, — для каких-то важных особ. На страже стоят сразу две билетерши, отгоняя тех, кому мест не досталось. В зале хлопают: пора начинать. Но уже очевидно: пока почетные гости места не займут, Андрей на сцену не выйдет. «Кто-нибудь из ЦК, — убежден Любомир, примеряя наши реалии на болгарский аршин. — Или министр». «Такие сюда не ходят», — спешу я его успокоить. Любомир непреклонен: «Других не стали бы столько ждать. И не стерегли бы места». Спор бесполезен — надо дождаться.

И вот—движение в зале: «Идут!» Миниатюрную старушку, согнувшуюся под тяжестью похожего на шаль огромного шарфа, поддерживает за локоть не сдавшийся возрасту спутник в старомодных очках, а дорогу к первому ряду им пробивает директор Дома— сам Александр Моисеевич Эскин. Кто-то из публики привстает, чтобы лучше увидеть. Но, увы, гостей, похоже, не знают в лицо, Они не из тех, что мелькают на телеэкранах. Они — совсем из другой эпохи. Живые реликты. «Это тебе не ЦК», — победно говорю я Любомиру. Он не возражает. Он уже понял. Он-то — узнал...

Андрей в особом ударе. Читает стихи, то и дело косясь в нашу сторону. Утонувшая в кресле старушка слушает, чуть вытянув голову и время от времени приставляя ладонь к левому уху. Когда ее высохшая рука тянется вверх, мелькают искорки от камней на перстнях, вспыхивает рубиновым цветом и тотчас же гаснет лак маникюра. Ее близость мешает слушать поэта. Невозможно сосредоточиться. Хочешь не хочешь, а думаешь только о ней. Я чувствую, что, вопреки моей воле, мне интересней не сами стихи, а то, как она им внимает. Как реагирует. Чаще никак. Порой с одобрением. Порой с восхищением. И лишь раз — Андрей прочитал «Долой порнографию духа!» — бурно, неистово: в увядших, казалось, руках нашлись силы для долгих

аплодисментов. Позже она скажет: «Это же парафраз Маяковского: «Даешь Революцию Духа!»

Вечер окончен. Нас ведут в директорский кабинет. Шампанское, фрукты, конфеты... На правах хозяина Андрей угощает. Но почетная гостья делает только один глоток. В ее огромных темных глазах неувядающей красоты — печаль и усталость. «Мы только что из Парижа. И прямо сюда... Столько хочется рассказать. Завтра сочельник. Приходите — все вместе. Берите друзей. Больше мы никого не зовем».

У Андрея, я вижу, другие планы. Но может ли он устоять перед молящим взглядом болгарского друга? Завтра его последний вечер в Москве. И другого шанса встретиться с НЕЙ больше не будет.

24 декабря Лютый мороз. Ледяной ветер. В восемь сбор у гостиницы «Будапешт», где живет Любомир. За ним увязался оказавшийся тоже в Москве болгарский литкритик— уж он-то ни за что не упустит подвернувшийся случай: ему все равно, с кем и к кому, лишь бы была знаменитость. У всех в руках хризантемы — лиловые, красные, желтые: других цветов в морозной Москве не нашлось.

Кутузовский проспект— возле гостиницы «Украина». На шестом этаже нас уже ждут. Из прихожей виден накрытый стол, посреди возвышается гигантская редька — такие растут только в Узбекистане.

Лиля Юрьевна отдохнула и теперь благоухает французскими духами. Ухоженное лицо, где морщишь выглядят как искусная графика, кажется творением великого мастера. Ее рыжие волосы, тронутые не скрываемой уже сединой, изумительно сочетаются с темно-карими глазами, серебряной брошью с большим самоцветом посредине, цепочками разноцветных бус и благородно-черным тоном модного платья, для нее сочиненного, ей одной посвященного. В кокетливые сапожки засунуты ноги немыслимой тонкости. Спички — не ноги. Я постыдно ловлю себя на мысли: как им выдержать невесомость даже хрупкого тела? И еще на другой: в каком странном контрасте находится эта хрупкость с сильным и звонким голосом, с богатством его красок — у нее, неотвратимо идущей к девяноста годам.

Двери в комнаты распахнуты настежь. Оттуда, со стен, смотрит на нас молодая Лиля, такая, какой увидели ее Александр Тышлер и Давид Штеренберг. Там же, на стенах, Пикассо и Шагал. Альтман. Якулов. Сарьян. Божественный Пиросмани. Сергей Параджанов. Истинные шедевры — расписные подносы, которые она собирала и с которыми не расставалась даже не в самые лучшие дни.

«За стол! За стол! Адски хочу есть. Ни за кем не буду ухаживать— каждый берет сам». А уж брать-то есть что!.. В Москве тех лет, с пустыми полками магазинов, — просто богатство. Икра, крабы, угри, миноги, заливной судак — память о детстве, копченый язык, колбасы всевозможных сортов... Французский сыр... Марроканские мандарины... «Не стесняйтесь — берите побольше: все из «Березки», я победила».

Впрочем, победа, пожалуй, одержана вовсе не ею. Арагон прислал деньга, но в валютных магазинах продавали только вышедшую из моды одежду и устаревшую бытовую технику. Продуктов, даже и за валюту, едва хватало на иностранцев. Исключение из правил мог допустить только министр внешней торговли. Лиля ему написала — ответа не было полгода. Наконец, позвонил глава Госбанка Алхимов: «Вопрос утрясался... Рад сообщить: вам все-таки разрешили». «Утрясали» на самом верху, не иначе как с Сусловым. Ей-то бы он отказал, но не рискнул дразнить Арагона из-за каких-то миног. Поиздевавшись полгода, решил уступить. «Зато теперь у нас камамбер. И колбаса похожа на колбасу, а не на бумагу из туалета...»

Бокал шампанского — это все, что она может себе позволить. И пилюли из банок, что стоят рядом с ее тарелкой. Лиля Юрьевна глотает их каждые десять минут. Разговор не клеится. Любомир робеет, хотя она ласково зовет его «Люба». Так называемый критик и вовсе помалкивает. Это общество не по нему, хотя он своего добился: попал в дом к знаменитости. Безучастно жует Лилин муж — Василий Абгарович Катанян. Оживляется, когда в моих неумелых руках от ножа остаются вдруг две половинки: «Не обращайте внимания, ему пора на покой. Металл устает так же, как люди».

Лиля вдруг произносит: «Андрюша, вы знаете, в Париже я ожила и— отказалась».— «От чего, Лиля Юрьевна?» — «Неужели не помните? Я же предупредила: вот мы съездим еще раз в Париж, покажу Васе все, что он еще не видел, и, ведь правда, пора на покой. Вдвоем это легче...» — «Не помню, Лиля Юрьевна, и не хочу помнить. Вы же это не всерьез говорили...» — «Еще как всерьез! Вася, ты помнишь наш уговор? — Катанян безучастен. Его кивок почти незаметен, но Лиля воспринимает его как подтверждение. — Вот видите... Но меня окружили в Париже такой любовью, что снова жить захотелось. Дайте-ка мне немного икры».

То и дело Андрей глядит на часы, похоже, у него на этот вечер есть еще и другие планы. «Лиля Юрьевна, нам пора, — вдруг бросает он посреди чьей-то фразы, стараясь не смотреть на Любомира. — Наш болгарский друг — министр, у него сегодня

официальный раут».

Наш друг, конечно, не министр, и никакого раута не предвидится, и вообще Любомир с радостью просидел бы здесь до утра. Но не мог же он перечить тому, кто привел его в этот дом.

«Пусть идет, если так, — потерянно говорит Лиля Юрьевна. Только что просветлевший взгляд ее тухнет, да и голос не так уже звонок, как минуту назад. — А вы оставайтесь».

Андрей безжалостен и неумолим: «Мы тоже приглашены».

Все так же отрешенно сидит Катанян, отхлебывая шампанское, зато, оживившись, бодро вскакивает болгарский критик — ему уже не терпится в более веселое общество. Я все еще медлю в надежде остаться. Андрей поднимает меня за шиворот: «Пора, мы опоздаем».

«Я столько всего накупила, — растерянно бормочет Лиля Юрьевна. — Конфеты... Торт... И больше никого не позвала...»

Мы толпимся в передней, прощаясь. Любомир неотрывно смотрит на кольца, что нанизаны на золотую цепочку и висят у нее на груди. На те два, про которые столько написано. Миниатюрное к большое. По ободу одного из них Маяковский выгравировал инициалы ЛЮБ — при вращении они читались ЛЮБЛЮ Б ЛЮБЛЮ Б... Склонившись, Любомир целует оба кольца. ЕЕ и ЕГО.

И мы уходим — в мороз, в другую компанию, где нас уже ждут. В шумную и пустую. В иллюзию праздничной жизни. Бестолковой и суетной. В тот полусвет, которого всегда сторонилась легендарная женщина XX века. А сама она и последний спутник ее удивительной жизни остаются одни в пустой квартире доедать продукты из «Березки» и ждать боя часов, возвещающих приход Рождества. Не православного, которое наступит лишь через две недели. И не католического, к которому Лиля Юрьевна никакого отношения не имела. А условного — «ЗАГРАНИЧНОГО», которое вот уже многие годы, в пику властям, отмечала московская интеллигенция.

Это была моя последняя встреча с Лилей Юрьевной Брик. Несколько часов спустя, уже на рассвете, по горячим следам я доверил блокноту рассказ о нашем прерванном застолье. Запись сохранилась. К ней мы еще вернемся.

I. «С Маяковским…»

«ТАК НАЧИНАЮТ ЖИТЬ СТИХОМ…»

Имя отца легендарной женщины, которой посвящена эта книга, — Урия Александровича Кагана — можно найти не только в списке присяжных поверенных при Московской судебной палате конца прошлого и начала этого века, но еще и в списке членов Литературно-художественного кружка, собиравшего в те годы «сливки» культурной элиты «второй» российской столицы. Для того чтобы человеку иной, не творческой, профессии войти в этот избранный круг, надо было и самому проявить деятельный интерес к искусству, и еще заручиться рекомендацией уважаемых писателей, художников или актеров, которые могли бы подтвердить заслуги соискателя перед русской культурой.

В актерско-писательской среде Урия Кагана знали как книгочея, собирателя предметов искусства, участника литературных дискуссий, а в среде юристов — как защитника прав национальных меньшинств, прежде всего евреев. От многих коллег еврейского происхождения он отличался тем, что не пожелал принять православия (это сразу открыло бы ему доступ к карьере без всяких ограничений) и, стало быть, добился всего — университетского диплома, возможности жить в столицах, получить адвокатскую практику — особым упорством, особым старанием, сумев одолеть все барьеры, которые российский закон воздвиг для иноверцев.

Его жена, рижанка Елена Юльевна Берман, была дочерью хорошо образованных и богатых родителей, училась в Московской консерватории (для некрещеной еврейки попасть в эту святая святых тоже требовало немалых усилий), но профессионалом так и не стала, рано «выскочив» замуж и посвятив себя целиком семье. Она помогала мужу отстаивать права соплеменников, подвергавшихся дискриминации, но «еврейская тема» не стала главной в их жизни. Ни на идише, ни на иврите в доме не говорили, зато, не считая, разумеется, русского, в обиходе был беглый немецкий и почти столь же беглый французский, На досуге охотно и много музицировали, устраивали домашние концерты, совместно обсуждали прочитанные книги — их, на разных языках, в доме было великое множество.

Лиля Каган, которой будет суждено остаться в истории под именем Лили Брик, была первенцем в этой интеллигентной московской семье. Она родилась 11 ноября 1891 года (по григорианскому календарю), когда ее матери было всего девятнадцать, а отцу на семь лет больше. Есть версия, что имя ей

выбрал отец в честь возлюбленной Гете Лили Шенеман. Трудно сказать, чем привлекла к себе внимание московского-адвоката именно эта муза поэта, но в любом случае очевидно, какой дух царил в семье, какими интересами она жила и какими судьбами вдохновлялась. Пять лет спустя появится на свет еще одна дочь — Эльза. Непривычное для русского уха имя тоже было, конечно, подсказано европейской литературой.

Традиционный быт респектабельного семейства, где жизнь текла по привычным законам, был взорван первой волной тех социальных потрясений, которые вскоре поистине перевернули мир. Интерес к классике сменился увлечением авангардной поэзией, а равнодушие к политике — приобщением к романтике наступающих революций. Дети из либеральных семейств российской интеллигенции тогда повально увлекались фрондерством, и многие из них чуть позже вступили в борьбу с властями.

Лиле было всего тринадцать, когда на каком-то не то митинге, не то бурном собрании вольнодумцев она познакомилась с семнадцатилетним братом школьной подруги Осипом Бриком. Юных гимназистов волновали нешуточные проблемы: права угнетенных, независимость Польши. Кружок по политэкономии, который подростки создали, Ося как раз и возглавил: самый старший из всех, к тому же убежденный марксист! И — что, наверно, еще важнее — жертва гонений. За пропаганду крамолы его успели уже изгнать из гимназии — не слишком, правда, надолго. Кто мог бы предположить, что именно Ося войдет навсегда в жизнь Лили Каган и даст ей не просто другую фамилию, но главное — Имя?

Ей льстило его внимание, но Ося был вовсе не первым, кто пробудил в ней бурные чувства. Не первым и — в то время — не главным. Едва-едва сформировавшись, Лиля стала привлекать к себе мужское внимание, притом отнюдь не юнцов. Еще гимназисткой она ощутила свою безграничную власть над сердцами, которая лишала рассудка, казалось бы, трезвых, имеющих жизненный опыт людей.

Все дошедшие до нас скупые свидетельства убедительно подтверждают: у своих обожателей Лиля вызывала вовсе не платонические, не возвышенные, не романтические, а вполне земные, плотские чувства. Туманивший разум эротический угар настигал даже тех, кто раньше был вполне равнодушен к каким бы то ни было женским чарам. Осознание магии, которой она обладала, не затрачивая при этом для своих неизменных побед ни малейших усилий, определило навсегда ее линию жизни, внушив — с полным на то основанием — убежденность в своем

всемогуществе. Устоять перед ней так и не смог ни один (почти ни один!) мужчина, на которого Лиля обращала свой взор.

Вряд ли случайно она засекретила перед смертью свой интимный дневник — именно ту его часть, которая охватывала, казалось бы, самый невинный период человеческой жизни: первые двадцать с чем-то лет. Разрешила читать потомкам все остальное, а на юные годы решительно наложила табу. Вероятно, слишком бурная юность и ранняя молодость не вполне сочетались с тем обликом, который сложился позднее. Который хотелось бы ей сохранить в памяти будущих поколений. Который дал ей возможность и право обрасти массой справедливых и дутых легенд.

Напрасно! В этих банальных и пылких романах нет ничего постыдного а мелькание обожателей без имен и без облика помогает постигнуть хоть какие-то грани загадочной личности, вызывавшей к себе и безмерную любовь, и безмерную ненависть, но никого — до самой кончины — не оставившей равнодушным.

Еще в гимназии говорили о ее литературной одаренности, друзьям и знакомым родители с гордостью читали школьные сочинения Лилички, в которых явственно ощущались глубокие знания, небанальность мышления и вполне самобытный стиль. Могло ли прийти кому-либо в голову, что эрудицией и самобытностью обладала — в ту пору хотя бы — отнюдь не она, а учитель словесности, без памяти влюбленный в нее и выполнявший любую ее прихоть? Он-то и писал те самые сочинения, которые приводили в восторг Лилиных близких.

Поклонники сменяли друг друга, она не успела их всех толком запомнить, и годы спустя, ретроспективно восстанавливая — в дневниковых записях с обратной датой — этапы своих амурных побед, путала очередность, с которой эти поклонники возни кали и исчезали, путала даты и даже, кажется, имена... Ее броская, манящая красота нимфетки, стремительно превращавшейся в женщину, глаза, которые все, не сговариваясь, называли «божественными», «жаркими» «колдовскими», «торжественными», «сияющими», «магнитными», волосы с медным отливом, как у сказочной Суламифи, загадочная улыбка, всем сулившая несбыточные надежды, уравнивали в страсти и давних друзей, и новых знакомых, и даже случайных спутников по дальним и ближним поездкам.

Молодые богачи, которых сегодня назвали бы «новыми русскими», вымаливали «час наедине» и за него готовы были выложить чуть ли не миллион. Блистательный офицер, с которым она познакомилась в поезде, собирался тут же стреляться, получив отказ в поцелуе. Модный режиссер соперничал с модным

художником за право на ее отчетные чувства. Сам Федор Шаляпин, которому были, пожалуй, доступны все красавицы мира, обратил благосклонный взор еще на Лилю-подростка и пригласил на спектакль. Люди театра знали, сколь точен был, как правило, выбор певца и что именно должно было следовать за приглашением в ложу. К счастью, на этот раз обошлось, иначе, возможно, жизнь блистательной барышни сложилась бы совершенно иначе.

В промежутке между очередными ее увлечениями произошла еще одна встреча с Осей. Он сделал ей предложение — и был отвергнут. Считается, что тогда она еще не была уверена в искренности и силе его любви. На простецком бытовом жаргоне это зовется иначе: еще не перебесилась.

Следить за поведением дочерей всегда считалось долгом и привилегией матери. Отец, похоже, смирился с реальностью — он терпел и страдал, Зато мать делала выводы и принимала меры, подобные тем, которые предпринимались и в других благородных семействах, где взрослеющие девочки откалывали, случалось, еще и не такие коленца.

Лиля охотно бралась за учебу, но, быстро заскучав от повседневной рутины, легко о ней забывала. Математический факультет Высших женских курсов, куда она поступила по влечению, оказался ей чужд совершенно. Московский архитектурный институт, на который Лиля сменила постылую математику, был ближе ее душе, ни овладение этой профессией требует терпения и самоотдачи — ни то ни другое ее не прельщало. Какое-то время она проучилась в Мюнхене, стремясь овладеть профессией скульптора, и, как выяснилось впоследствии, достигла в этом занятии определенных успехов. Но учеба не могла заменить того, что было куда интересней: любовные приключения, пылкие клятвы, тайные свидания, разрывы и новые встречи. Они, и только они, отнимали все время. Занимали все мысли. Куда уж тут до учебы!..

Мать, однако, не теряла надежды увести Лилю с греховной тропы простейшим, испытанным способом: отослать свою дочь в другие края, в иную среду, подальше от тех, кто ее совращал или только хотел совратить. Это был столь же наивный, сколь и отчаянный шаг: другая география не означала другой биографии, на любых широтах и в любой среде Лиля продолжала оставаться самою собой. Хозяин отеля на глазах у матери домогался ее благосклонности. Бельгийский студент устраивал сцены ревности ничуть не менее яростно, чем его русские сверстники. Венцом всего оказалась поездка к бабушке в польский город Катовице.

Бабушку заранее предупредили об опасности, которой

подвержена внучка, и попросили не спускать с нее глаз. Замкнутая в домашнем пространстве, под бдительным бабушкиным присмотром, казалось, Лиля была ограждена от любых домогательств. Увы!.. Сразить очередную жертву она могла, не выходя на улицу.

В нее страстно влюбился родной дядя, — влюбился настолько, что требовал не просто взаимности, а супружеского союза, благо законы иудейской религии не содержали на этот счет никаких запретов. Помехой могла стать разве что та же бабушка «невесты» (она же мать «жениха»), но потерявший голову дядя ручался за то, что преодолеет и этот барьер. Убежище превратилось в ловушку. V' Елены Юльевны не осталось другого выхода, кроме как срочно востребовать дочь обратно.

Оставить дочь совершенно без дела мать не могла. Нашли учителя фортепиано, который начал давать Лиле уроки музыки на дому. В перерыве между гаммами она согрешила с ним прямо в комнате для уроков (вроде бы в тот момент, когда сестра «совратителя» мыла на кухне посуду), тут же его возненавидела и тотчас отвергла. От прочих — бесчисленных и мимолетных — ее увлечений этот роман отличался, по крайней мере, одним: его результатом стала беременность.

В таких пикантных деталях, возможно, и не следовало бы копаться биографу, если бы за банальной житейской историей не стояли более важные обстоятельства, оказавшие решающее влияние на всю последующую судьбу роковой московской красавицы. История эта крайне туманна, мы знаем о ней лишь по рассказу душеприказчика Лили и очень близкого к ней человека Василия Васильевича Катаняна, который имел возможность прочитать ретроспективный Лилин «дневник» и предать гласности иные его фрагменты. В пересказе, источником которого является зыбкая память стареющей Лили, случайно или нарочито перепутаны даты, и это наводит на мысль, что есть какие-то обстоятельства, которые даже к концу своей жизни она предпочитала скрывать.

По Лилиной версии, ее тотчас отправили «от греха подальше» к каким-то дальним родственникам в провинциальную глушь, а «родные» (то есть конечно же мать) «приняли все нужные меры». Но «совратителя» Лиля уже прогнала, так что географически он находился далеко. Аборты (это ли имелось в виду под ВСЕМИ «нужными мерами»?) делали в Москве, вероятно, лучше, чем в каком-нибудь заштатном городишке, а состоятельные родители, конечно, могли бы обеспечить и лучших врачей, и полную конфиденциальность. Сколько же времени провела Лиля в «глуши», где она была никому не известна? Что именно там

скрывала? Чего дожидалась? Не разрешения ли от бремени? И когда это было?

Есть, впрочем, иная версия, тоже похожая на правду: аборт сделали именно там, в провинциальной глуши. Операция прошла не слишком удачно: Лиля навсегда лишилась возможности иметь детей, хотя и без этой беды к материнству никогда не стремилась. Ни тогда, ни потом.

Туманное свидетельство о туманной истории привело к необходимости перепутать важнейшую дату, забыть которую она уж никак не могла. Подведя черту под своим пестрым, сумбурным прошлым, Лиля связала, наконец, судьбу с человеком, которого все эти годы любила «так, как, кажется, еще никогда ни одна женщина на свете не любила» (из письма счастливого Осипа Брика своим родителям). Со слов Лили В. В. Катанян сообщает, что 26 марта 1913 года она и Осип «отпраздновали свадьбу».

Между тем документы с непреложностью подтверждают, что московский раввин обвенчал их — не в синагоге, а дома — 26 февраля (11 марта по григорианскому календарю) 1912 года и что, стало быть, история с учителем музыки, положившая конец лавине любовных приключений «самой замечательной девушки» (так характеризовал свою невесту Осип Брик в другом письме родителям), относится к 1911 году. Ей было тогда двадцать лет. Решительный разговор между ними произошел в кафе сразу же после того, как Лиля вернулась из своего таинственного «провинциального изгнания». Затем состоялась помолвка и, наконец, долгожданная свадьба.

Долгожданной, похоже, была она прежде всего для родителей Лили. От такого поворота событий они были счастливы даже больше, чем сами виновники торжества. Собственно, именно брак всегда и везде считался лучшим выходом из подобного положения, спасая репутацию легкомысленных барышень и направляя остепенившихся на добродетельный путь. В данном случае был вполне отраден и выбор, который сделала дочь.

Семьи Бриков и Каганов были и раньше знакомы. Возможность породниться с состоятельной и респектабельной купеческой семьей (Макс Брик держал крупную фирму, занимаясь скупкой и перепродажей кораллов), выдать замуж «беспутную» дочь за дипломированного юриста, каким стал к тому времени Осип, позволяла родителям Лили обрести наконец душевный покой и восстановить репутацию в глазах своего окружения.

Судя по всему, родители жениха совсем иначе восприняли событие, которое привело в такой восторг их старшего сына. Конечно, они знали, хотя бы в общих чертах, какой шлейф тянется за будущей невесткой, так что их вряд ли могла

обрадовать «счастливая весть». Это предвидел Осип, добавляя к своему сообщению о предстоящей женитьбе: «...знаю, что мое известие Вас взволнует, и поэтому я до сих пор Вам не писал...»

Нам не известно в точности, какой была их реакция, но о ней можно судить по ответному письму Осипа, которое сохранилось: «Как и следовало ожидать, известие о моей помолвке с Лилей Вас очень удивило и взволновало. <...> Ее прошлое? Но что было в прошлом? Детские увлечения, игра пылкого темперамента. Но у какой современной барышни не было этого? <...> Я, конечно, чрезвычайно сожалею, что не могу Вам объяснить все лично, но надеюсь, что письмо мое будет достаточно убедительно, рассеет все возможные подозрения, сомнения и недоразумения. <...> Прошу Вас, дорогие родители, <...> поверить мне, что в этом мое счастье».

Родителям Осипа было известно, что в биографии невесты не одни лишь «детские увлечения», и, однако, они сдались, поняв основное: решение сыном принято и, ему возражая, они лишь усложнят свои отношения с ним. Давние семейные традиции требовали родительского благословения на брак — Осип его получил.

Молодые сыграли свадьбу и поселились в снятой для них скромной квартирке из четырех комнат, которую содержали родители Лили. Нежелание более состоятельных родителей жениха принимать участие в этих расходах объяснялось, разумеется, вовсе не скупостью, а их отношением к выбору сына. Но ссоры из-за этого никакой не возникло, контакты не были прерваны. Как и до своего супружества, Осип продолжал работать в торговой конторе отца, совершая по его поручению служебные поездки в Сибирь, Нижний Новгород, Узбекистан. Теперь повсюду его сопровождала молодая жена, которой тогда еще не наскучила роль хозяйки — скорее воображаемого, чем реального, — семейного очага.

Что запомнилось ей в этих поездках? Яркость и пестрота азиатских красок, искусство узбекских мастеров. горящий буддистский храм где-то в Бурятии. Они уехали, не дождавшись конца пожара. Финал дошел до них через год или два в кинозале: в хронике перед началом какого-то фильма они увидели, как башня храма рухнула под напором огня. Осип произнес тогда фразу, которая тоже осталась в памяти: «Случай не уйдет, уйти может жизнь».

Семейная идиллия продолжалась в Москве, куда они возвращались из дальних поездок. Вечерами вслух читали Толстого и Достоевского. Не торопясь, обстоятельно — «Заратустру» модного тогда Фридриха Ницше. Конец этой

идиллии наступил очень быстро, что, вероятней всего, было предрешено характером Лили и ее темпераментом. Впрочем, тут тоже очень много тумана, и нам опять приходится обращаться к тому, что относится к личной жизни двоих и куда влезать постороннему вроде бы не положено. Но Лиля сама никогда не делала из этого тайны, а ее личная жизнь неотторжима от любой другой. Лишь уникальность ее судьбы, в самых мельчайших своих проявлениях, лишь она по большому счету и представляет общественный интерес.

Сама Лиля не раз писала впоследствии, что супружеская жизнь с Осипом Бриком прекратилась в 1915 году. Биографу Осипа Анатолию Валюженичу она призналась, что это произошло на год раньше — весной 1914-го. Разница имеет значение, ибо в 1915 гиду произошло событие, перевернувшее ее жизнь. Событие, которому будет суждено ее обессмертить. И поэтому время, когда Осип из супруга превратился в «ближайшего друга», имеет существенное значение. Но еще большее значение имеет другое: что, собственно говоря, привело к их фактическому — или, проще сказать, физическому — разрыву? Новое увлечение Лили? О нем ничего не известно. Похоже, к ТОМУ времени нового просто не было. Увлечение Оси? Но и о нем ничего не известно.

По словам Лили, Осип был равнодушен к плотской любви. Дальнейшая его жизнь это опровергает, но и Лиле никто тогда — даже годы спустя — не заменил Осипа Брика. Что же все-таки разрушило их брачный союз в традиционном, житейском смысле этого слова? Вопрос повисает в воздухе. Не имея каких-либо данных, гадать невозможно. Ясно одно: никакая посторонняя сила тогда еще в этот союз не вторгалась. И однако же, он распался, хотя внешне никаких перемен не произошло. Для всех они по-прежнему оставались супругами. И для всех таковыми останутся — и тогда, и потом...

Тем временем в семье Каганов подрастала младшая дочь. Лиля и Ося сочетались законным браком, когда ей было пятнадцать с половиной лет: критический возраст! Сняв с себя заботу за нравственность остепенившейся Лили, Елена Юльевна переключилась на Эльзу. Она-то знала, какая кровь бурлит в крови ее дочерей... Но разве когда-нибудь и кому-нибудь удавалось остановить запретами это бурление? Чему свершиться дано— неизбежно свершается.

Лирическая биография Эльзы началась, однако, позже, чем ее старшей сестры. Осенью 1913-го ей только что исполнилось семнадцать. Окончив гимназию, она поехала на каникулы в Финляндию и, вернувшись, поступила в так называемый педагогический — дополнительный — класс. Редко выпадавшими

свободными вечерами ходила гостить к подругам — сестрам Иде и Але Хвас, которые стали впоследствии пианисткой и художницей. Родители двух сестер были родом из Прибалтики, оттуда же, откуда и Елена Юльевна Берман. Дружба с уважаемой семьей, где царил истинный дух культуры, вполне поощрялась. Завсегдатаями хлебосольного дома в центре Москвы были молодые художники, поэты и музыканты — многие из них очень скоро станут знаменитостями и оставят яркий след в искусстве и литературе. Здесь и произошла судьбоносная во всех отношениях встреча...

Впоследствии Эльза так вспоминала о ней: «В хвасовской гостиной, там, где стоял рояль и пальмы, было много чужих людей. Все шумели, говорили. <...> Кто-то необычайно большой, в черной бархатной блузе, размашисто ходил взад и вперед, смотрел мимо всех невидящими глазами и что-то бормотал про себя. Потом, как мне сейчас кажется — внезапно, он также мимо всех загремел огромным голосом. И в этот первый раз на меня произвели впечатление не стихи, не человек, который их читал, а все это, имеете взятое, как явление природы, как гроза...»

Надо ли говорить, что этой грозой был Владимир Маяковский, о котором в ту пору ни Эльза, ни Лиля пе имели никакого понятия?

«Я сидела девчонка девчонкой, — продолжает Эльза,— слушала и теребила бусы на шее... Нитка разорвалась, бусы посыпались, покатились во все стороны. Я под стол, собирать, а Маяковский за мной, помогать. На всю долгую жизнь запомнились полутьма, портняжий сор (мать Иды и Али была модной московской портнихой. — А. В.), булавки, нитки, скользкие бусы и рука Маяковского, легшая на мою руку».

Его руке было суждено еще не раз лечь на ее руку. Если бы не было той первой встречи под портняжным столом, возможно, не было бы и ничего остального: наглядная иллюстрация к роли случайности в мировой истории... Сначала Эльза сторонилась Маяковского, напуганная его настойчивостью, через год встречи возобновились.

Урий Каган к тому времени уже тяжело заболел, лечился в Германии, где его, Елену Юльевну и Эльзу застала война. Они добирались домой кружным путем через Скандинавию. Однако он продолжал работать, нуждаясь при этом в особом уходе. Мать все время отдавала ему, да и Эльзе было уже восемнадцать... Тайные встречи стали явными: Маяковский ходил к Эльзе едва ли не каждый день. По традиции, такие визитеры к «девице на выданье» именуются женихами. Но Маяковский никогда не следовал никаким традициям. И сестры Каган — тоже.

В то самое время, когда рука Маяковского легла на руку Эльзы, он переживал роман за романом. Все они казались ничуть не случайными: одесситку Марию Денисову сменила в Петербурге Софья Шемардина (Сонка), потом художница Антонина Гумилина. Им троим не стала помехой другая художница — Евгения Ланг... Какие-то отношения — любовные, безусловно, пусть и лишь платонические — связывали еще Маяковского с художницей Верой Шехтель, дочерью знаменитого тогда архитектора Федора Шехтеля, и с Шурой Богданович, дочерью другой известной в России пары: издателя и литератора Ангела Богдановича и его жены Татьяны. И все они — вместе и порознь — ничуть не мешали его отношениям с Эльзой, которые — так казалось, по крайней мере, со стороны — становились все прочней и прочней.

В жизни Лили меж тем произошли серьезные перемены. Началась война, которая застала Бриков на отдыхе. Пока родители с Эльзой выбирались из враждебной Германии, Лиля и Осип катались на пароходе по Волге. Путешествие решили продлить поелику возможно, чтобы вызов из военного ведомства не застал адресата дома. Осип подлежал призыву, идти на фронт ему, естественно, не хотелось, так что юридически — этот язык был ему хорошо понятен — он обрек сам себя на положение дезертира.

Какое-то время пришлось скрываться. Потом общие знакомые нашли ход к знаменитому тенору Леониду Собинову— у прославленного артиста императорских театров повсюду были хорошие связи. Лишь в самом начале 1915 года Осип смог, наконец, выйти из «подполья»: по протекции его устроили вольноопределяющимся (как «лицо, получившее высшее образованием) в Петроградскую автомобильную роту. Этот статус давал множество льгот и поблажек, но однако же был равнозначен статусу солдата и позволял считать его носителя призванным на поенную службу.

Другого выхода не оставалось: пришлось перебираться в Петербург, который, чтобы не оскорблять русский слух ненавистным немецким именем, превратился теперь в Петроград. Оставив в Москве мать, сестру и умирающего отца, Лиля уехала туда вслед за Осей и сняла в Петрограде квартиру, чтобы всегда быть вблизи от него. После московского простора двухкомнатная квартира на улице Жуковского показалась жалкой конуркой. Зато в любое время можно было видеться с Осей, да и сам он время от времени наведывался домой. Служба в автороте была «не пыльной», жизнь ничем не осложнила, на привычный ее ритм не оказала никакого влияния. Только Лиле, из-за прогрессировавшей

болезни отца, приходилось часто ездить в Москву.

В один из таких приездов мать — мать, а не Эльза — раскрыла ей маленькую семейную тайну: у младшей сестры появился докучливый ухажер! «Какой-то там Маяковский», который все ходит и ходит, не считаясь с элементарными приличиями, компрометирует юную девушку из приличной семьи и своей назойливостью доводит Елену Юльевну до слез. Это имя Лиля будто бы впервые услышала, и — опять-таки будто бы — оно ни о чем ей не сказало. Но сестру упрекнула: «Из-за твоего Маяковского мама плачет». Маме хватало слез и без этого— огорчать ее еще и своими проблемами Эльза не смела. Маяковскому было сказано, чтобы больше не появлялся.

Вряд ли она знала тогда, какой удар наносит своему ухажеру. Только что закончился разрывом его затянувшийся и драматичный роман с Сонкой, которой пришлось делать тайком поздний и опасный аборт. Только ли этим объяснялась его настойчивость? Так или иначе, от Эльзы он не отступился. Больного отца перевезли на дачу, в подмосковный поселок Малаховка. Маяковский был не из тех, кто отступался, когда ему делали от ворот поворот.

Узнать дачный адрес труда не составило. Приблизиться к дому он не посмел— дожидался Эльзу на станции. Долго не удавалось, но однажды все же дождался. «Володя мне вспоминается, — годы спустя рассказывала Эльза, — как тень, бредущая рядом со мной по пустой дачной улице. Злобствуя на меня, Володя шел на расстоянии, и в темноте, не обращаясь ко мне, скользил вдоль заборов его голос, стихами. <…> В эту ночь зажглось во мне великолепное, огромное, беспредельное чувство восхищения и преданнейшей дружбы…»

На самом деле «просто дружбой» дело не ограничилось. «Сразу стало ясно,— писала впоследствии Эльза, — что я могу встречаться с Маяковским тайком и без малейшего угрызения совести. Я приезжала в город, в нашу пустую, пахнущую нафталином летнюю квартиру, со свернутыми коврами, завешанными кисеей лампами, с двумя роялями в накинутых, как на вороных коней, попонах. <…>»

Лучшие на сегодня знатоки жизни этой семьи — Инна Гене и Василий Катанян-младший— убеждены, что, тайно встречаясь в пустой московской квартире, влюбленные никогда «не переступили грань», что отношения между Эльзой и Маяковским так и не вышли «за рамки». Неужто? Такая «детскость» и ничем не объяснимая щепетильность были не в характере Маяковского — о том свидетельствует вся его жизнь.

Да и Эльза, похоже, отнюдь не стремилась скрыть правду.

Почти тридцать лет спустя, в книге «Тетрадь, зарытая под персиком» (1944), где и сам автор, и все герои выведены под своими подлинными именами, Эльза призналась: «В течение двух лет у меня не было никакой другой мысли, кроме как о Владимире, я выходила на улицу в надежде увидеться с ним, я жила только нашими встречами. И только он дал мне познать всю полноту любви. Физической — тоже».

На книге обозначен ее жанр: повесть. И это вроде бы лишает нас возможности отнестись к ней как к документу. И Эльза, и ее будущий муж не раз прибегали к подобным приемам: воспроизводили реальные факты не в мемуарном свидетельстве, а в беллетристическом гриме, избавляя себя тем самым от необходимости отвечать за их точность. Но в «документальности» того, о чем рассказала «Тетрадь, зарытая под персиком», сомневаться конечно же не приходится.

«Сегодня мне кажется, — писала Эльза уже не в повести, а в мемуарах, — что мы встречались часто, что это время длилось долго». Наверное, было не совсем так, поскольку Маяковский к тому времени (еще в январе 1915 года) по каким-то причинам переселился в Петроград. Ни там, ни в Москве квартиры у него не было, он много ездил по стране с чтением стихов, пытался поступить на военную службу, но получил отказ как «неблагонадежный» в политическом отношении. Неприкаянность и неустроенность все время толкали его на смену кратковременных адресов.

Перемещение в Петроград, возможно, объяснялось попыткой восстановить отношения с Сонкой, которая работала сестрой милосердия в одном из петроградских военных лазаретов. Из этого ничего не вышло. Маршруты Москва — Петроград и обратно в Москву стали привычными.

Сладостно тайные встречи с Эльзой в пустой московской квартире оборвались семейной трагедией: 13 июня 1915 года в Малаховке умер Урий Александрович Каган. В те скорбные дни Эльза хотела обнять Елену Юльевну— та отстранилась: не могла простить ей ее любовных терзаний, когда умирал отец.

Лукавила ли Лиля, когда говорила Эльзе: «Какой-то там Маяковский»? Судя по ее позднейшим воспоминаниям, она и раньше не только слышала его имя, но и видела его несколько раз в Литературно-художественном кружке: членство отца позволяло и семье посещать это очень престижное в московской культурной среде место дискуссий, концертов и встреч. Кем могла она быть для него? Всего лишь одной из безликих… Сам он был уже знаменитым футуристом, снисходительно выслушивал мнения мэтров о своих скандальных стихах, не обращая внимания на

клубную публику, к которой только и могла она тогда относиться. И, встретив ее раз или два, — в темноте, на скамейке, возле дачи, где умирал отец, — воспринял не как ЛИЛЮ, а всего лишь как «гувернершу» младшей сестры, мешающую их встречам.

До того дня, который станет, по признанию самого Маяковского, «радостнейшей датой» его жизни, оставались считанные недели. День этот настал, когда он пришел к Брикам.

После похорон отца Эльза приехала в Петроград погостить у сестры. Всерьез к Маяковскому Лиля не относилась: думала, что он один из тех графоманов, которых расплодилось тогда великое множество.

Настояла Эльза — на свою голову. Уговаривать Маяковского не пришлось — он готов был читать свои стихи всегда и везде.

Лиля потом вспоминала: «Между двумя комнатами для экономии места была вынута дверь. Маяковский стоял, прислонившись спиной к дверной раме. Из внутреннего кармана пиджака он извлек небольшую тетрадку, заглянул в нее и сунул в тот же карман. Он задумался. Потом обвел глазами комнату, как огромную аудиторию. <…> Маяковский ни разу не переменил позы. Ни на кого не взглянул. Он жаловался, негодовал, издевался, требовал, впадал в истерику, делал паузы между частями». Так впервые прозвучало у Бриков «Облако в штанах». «Мы подняли головы, — вспоминала Лиля, — и до конца не пускали глаз с невиданного чуда».

Эльза следила за реакцией. Осип был потрясен, Лиля онемела от неожиданности и восторга («Я потеряла дар речи» — так передавала она потом свое первое впечатление). Эльза торжествовала: «Ну, что Я вам говорила?!» Торжествовала она напрасно: «дар речи» потеряла не только Лиля.

Маяковский взял из рук Брика тетрадь с текстом поэмы, положил на стол, раскрыл на первой странице, спросил Лилю: «Можно посвятить вам?» И старательно вывел над заглавием: «Лиле Юрьевне Брик».

Другие поэты и раньше посвящали ей свои стихи: Константин Большаков, Михаил Кузмин. Но они просто не шли ни в какое сравнение. Впервые (потом это случится еще множество раз!) Лиля и Осип проявили присущее им, как оказалось, безошибочное чутье на талант. Тем паче — на гениальность. Лиле Юрьевне, а не Эльзе Юрьевне посвятил великий поэт великую свою поэму. В том, что она великая, сомнений у Лили не было… А Эльза сидела рядом, ей оставалось лишь наблюдать за тем, что происходит. За катастрофой, которую она сама же и вызвала…

Едва дождавшись утра, Маяковский помчался за город, в поселок Куоккала, к Корнею Чуковскому, своему тогдашнему

покровителю, другу и конфиденту. Помчался сказать, что теперь для него начинается новая эра: он встретил ту единственную, без которой не мыслит себя самого. Ту, о которой не мог и мечтать...

Событие, перевернувшее всю его жизнь, свершилось. Но мужчиной Лилиной жизни — по крайней мере тогда — Маяковский не стал.

После смерти мужа Елена Юльевна сменила квартиру, переехав в Замоскворечье. Эльза жила вместе с ней, поступив на высшие строительные курсы при том самом архитектурном институте, в котором раньше училась Лиля. Отраженный свет тех отношений, которые установились между Лилей іі Маяковским, виден в первых письмах Эльзы к нему, написанных в сентябре 1915 года: два месяца после «радостнейшей» для Маяковского июльской даты Эльза не могла прийти в себя. Лиля приехала в Москву навестить мать, и между сестрами, вероятно, произошло объяснение, расставившее без обиняков все точки над «ё». Лишь тогда Эльза решилась наконец написать «милому Владимиру Владимировичу», отстраненно обращаясь к нему уже не только по отчеству, но еще и на «вы».

«Так жалко, что вы теперь чужой, — писала она, — что я вам теперь ни к чему... Как-то даже не верится, но так уж водится, что у нас с Лилей общих знакомых не бывает.

Ни за что не могла бы теперь с вами говорить, как прежде, вы меня теперь отчего-то страшно смущаете: буду краснеть, путаться в словах и будет неловко ужасно.

Если б вы знали, как жалко! Так я к вам привязалась, и вдруг — чужой...»

«В Москву не собираетесь?» — спросила все же в письме, отправленном вдогонку через две недели.

В Москву Маяковский собраться не мог: 19 сентября 1915 года его призвали на военную службу. Он обратился за помощью к Горькому, и тот, тоже влюбленный в его стихи, пустил в ход все свои связи. Поэта удалось устроить чертежником в ту самую автороту, где служил Осип Брик. Навещая мужа, Лиля одновременно навещала теперь и его.

Этому предшествовала их совместная поездка «по семейным делам». По чужим — не своим... У родственника Осипа, отправленного служить в какую-то глушь, надо было невесть почему получить согласие на спешный развод. С этой странной и деликатной миссией в «глушь» отправилась Лиля, а Маяковский увязался за ней. Ехали ночным поездом, в сидячем вагоне, потом еще два часа на лошадях остановились на постоялом дворе. Родственничек упорствовал, сломить его Лиле не удавалось. Тогда Маяковский, который не отходил от нее ни на шаг, решил

вмешаться: «Вот что, Петя, давайте разводиться по-хорошему». И так выразительно на него посмотрел, что Петя безропотно сдался. «Был август, — вспоминала Лиля, — мы ехали ночью к станции на извозчике, полулежа в коляске, лицом к небу, и на нас лил звездный дождь». Говорят, что для тех, кто его видит, это счастливый знак...

Осип симулировал болезнь, его уложили в госпиталь, чтобы был поближе ;к дому. Дом и стал его госпиталем, где он проводил основное время. Маяковский тоже без малейших хлопот получал от начальства отпуск. Вместе с ним зачастили к Брикам его друзья: уже заявившие о себе в литературе Велемир Хлебников, Василий Каменский, Борис Пастернак, Давид Бурлюк, Виктор Шкловский, Николай Асеев, филологи Роман Якобсон, Борис Эйхенбаум...

Жизнь в доме Бриков сделала крутой поворот. Еще совсем недавно Осип готовился стать криминалистом (его научный руководитель Михаил Гернет станет впоследствии видным советским ученым и удостоится Сталинской премии за «Историю царской тюрьмы»), писал работу об одиночном заключении, о том, как влияет оно на душу преступника. Занимался судьбой проституток, ходил на бульвар, вел с ними задушевные беседы и бесплатно защищал при конфликтах с полицией, ничего не требуя взамен. Растроганные проститутки прозвали его «блядским папашей». Потом перешел на коммерцию, помогая отцу в разных юридических сделках. Оказалось, что истинное его призвание совершенно в другом: язык, лингвистика, литература. Влюбившись с первого взгляда в Маяковского и в его поэму, Осип издал «Облако в штанах» тиражом в тысячу с небольшим экземпляров — даже сейчас для стихов начинающего поэта это очень большая цифра...

В двухкомнатной квартирке, сколь ни была она тесна, всегда находилось место для ночлега друзей, накрытый стол ждал гостей круглые сутки, самовар приносили и уносили. Шли бурные литературные споры. Трудно было поверить, что идет война и где-то совсем рядом сотни, а может быть, тысячи людей гибнут ежедневно...

Прийти в этот дом, который сплетники, пошляки и брюзги много позже окрестят почему-то «салоном», мог любой, кто хотел РАЗГОВАРИВАТЬ. Не болтать, не трепаться, а свободно делиться мыслями. Судить о вопросах, которые были интересны для всех. И конечно, читать стихи. К стене прикрепили огромный лист белой бумаги, каждый гость должен был что-нибудь на нем написать. Непременно о Лиле. Только о ней. В стихах или в прозе. Коротко или длинно. Но — написать. Исключение составлял лишь сам

Маяковский. Ибо то, что он ей посвящал, на стенном листе не умещалось. Поэма «Флейта-позвоночник» была написана в октябре — ноябре. Тогда она называлась иначе: «Стихи ей». И это название говорило само за себя.

31 декабря Лиля устроила здесь встречу Нового года. Смирившись с неизбежным, приехала из Москвы Эльза. «Разубранную елку <ее назвали «футуристической»>, — позже вспоминала она, — подвесили под потолок, головой вниз, как люстру, стены закрыли белыми простынями, горели свечи, приклеенные к детским круглым щитам, а мы все разоделись и загримировались так, чтобы не быть на самих себя похожими. На Володе, кажется, было какое-то апашеского вида красное кашне, На Шкловском матросская блуза. В столовой было еще тесней, чем в комнате с роялем, гости сидели вокруг стола, прижатые к стене...» Пили спирт, разбавленный вишневым сиропом...

В эту ночь поэт Василий Каменский сделал Эльзе «серьезное предложение», которое было тотчас отвергнуто, а Виктор Шкловский, уже сраженный чарами Лили, теперь влюбился еще и в нее. Похоже, на всю жизнь. Но этот двойной успех не мог притушить ее боль — чувство к Маяковскому не остыло, а вспыхнуло с новой силой. Она старалась, как могла, чтобы этого никто не заметил. Но Лиля была не из тех, от кого можно что-либо скрыть.

ЗАПУТАННЫЙ УЗЕЛ

Судя по стихам, которые Маяковский написал в это время и которые посвятил Лиле, да и по дошедшим до нас свидетельствам современников, отношения между ними складывались совсем не просто. Трудно, мучительно — если точнее. Никакого «брака втроем» — ни в обывательском, ни в каком-либо ином смысле — тогда еще не было и в помине. Безусловного ответного чувства, кроме разве что неподдельного восхищения талантом, Маяковский у Лили не вызвал. Прежние любовные линии — у каждого свои — не оборвались, и это, скорей всего, позволило совсем уже было приунывшей Эльзе реанимировать свои надежды.

Стремясь скрасить свое одиночество и как-то защититься от охватившего ее чувства обреченности, она завязывала разные полулюбовные знакомства, которые не приносили никакого успокоения, а лишь еще больше усугубляли драму. Лишь много позже, летом 1916 года, Эльза «закрутит любовь» с молодым лингвистом Романом Якобсоном — его семья и семья Каганов дружили давно и мечтали породниться домами. Якобсон называл ее «Земляничка» и настойчиво звал замуж.

Но это будет тогда, когда на Маяковском придется поставить крест. Пока же рана еще не зажила и надежда еще не ушла. Любое известие о том, что у Лили с Маяковским не все получается «гладко», возвращало к мысли о возможном реванше. Мысль эта становилась все более навязчивой, потому что из Петрограда приходили вести не столько о бурно развивающемся романе, сколько о размолвках и недоразумениях: отношения между Лилей и Маяковским были настолько запутаны, что в них, наверное, не могли еще разобраться и сами «стороны» пресловутого «треугольника».

Влияние Лили на Маяковского было, конечно, огромным. Она заставила прежде всего сменить порченые, гнилые зубы на вставные — жемчужнобелые, и это изменило его. Она Маяковского «остригла, приодела, — свидетельствовал Виктор Шкловский. — Он начал носить тяжелую палку». В его гардеробе появился даже галстук, чего никогда не было прежде.

Однако дальше этого, похоже, дело не шло. Лиля держала поэта на расстоянии. Она и Осип продолжали жить вместе, но это был союз друзей, а не супругов. Есть свидетельства — возможно, недостоверные, возможно, имеющие под собой какую-то почву, но сильно обогащенную фантазией рассказчиков, — что случались в их союзе, и как раз в эту пору, нешуточные ссоры.

Писатель-сатирик Виктор Ардов, со слов литератора Михаила Левидова, который хорошо был знаком с Бриками, рассказывал, что однажды после очередного конфликта Лиля ушла из дома и, пьяная, вернулась только под утро. «Поскольку я на тебя рассердилась, — будто бы сказала она Осипу, — пошла гулять, ко мне привязался один офицер, позвал в ресторан, я согласилась. Отдельный кабинет... Я ему отдалась... Что мне теперь делать?» И Осип, завершает рассказчик, невозмутимо ответил: «Прежде всего принять ванну».

К ардовскому рассказу, выдержанному в традиционной стилистике забавных баек этого литератора и воспроизведенному к тому же с чужих слов, надо отнестись с большой осторожностью. Ардов был очень близок к Ахматовой, которая не любила ни Лилю, ни все ее окружение. Причины для этого были — о том речь впереди.

Пуститься очертя голову в мимолетную любовную авантюру Лиля, конечно, могла, но пьянство и пьяных не выносила, сама не пила — к такой примитивной и низкой богемности у нее (по крайней мере тогда) было стойкое отвращение. Уличных знакомств не терпела. И уж если бы захотела «гульнуть», желающих нашлось бы превеликое множество. Не чета какому-то там офицеру, случайно встретившемуся на улице... И не было ни малейшей нужды, наподобие куртизанки, унижать себя посещением отдельного кабинета: как говорится, не ее почерк.

Возможно, этот рассказ отразил в вольной интерпретации другую, действительно имевшую место историю, о которой много рассказано в разных источниках, в том числе и самой Лилей. Не все детали в этих свидетельствах совпадают, но суть всюду одна.

На лето (шел 1916 год) Брики сняли дачу в Царском Селе, вблизи от резиденции императора. Однажды Лиля с какой-то знакомой ехала в поезде на дачу, их спутником оказался мужчина вызывающе необычной внешности. Привлекали внимание не только высокие сапоги и длинный суконный кафтан на шелковой пестрой подкладке, но еще и неуместная жарким летом меховая бобровая шапка. Опираясь на палку с дорогим набалдашником, пассажир, не мигая, пристально разглядывал Лилю. Его грязная борода и длинные черные ногти плохо сочетались с глазами ослепительной синевы, завораживающий взгляд кружил голову. Лиля не сразу, но догадалась: Распутин!.. После долгого, многозначительного молчания «старец» молвил Лилиной спутнице: «Приходи ко мне, чайку попьем. И ЕЕ приводи!»

Об этой встрече Лиля рассказала Брику, откровенно признавшись, что вообще-то ей бы очень хотелось, и будь ее воля... Осип категорически запретил — ослушаться его она не

посмела. До гибели Распутина оставалось всего несколько месяцев. В декабре она вспомнила синеву его колдовских глаз, увидев в газетах снимок окровавленного лица, разбухший от воды труп на льду замерзшей Невы.

Встречи бывали разные, иногда самые неожиданные. Одна «подружка», некая Любочка, позвала ее на завтрак к своему любовнику, князю Трубецкому, жулику и проходимцу, несмотря на громкое имя и княжеский титул. В его присутствии Лиля напрямик спросила «подружку»: «Верно ли, Любовь Викторовна, что вы с мужчинами живете за деньги?» Любочку вопрос ничуть не смутил: «А что, Лиля Юрьевна, разве даром лучше?»

В другой раз та же Любочка пригласила ее в театр — танцевала прославленная Матильда Кшесинская. За Лилей приударил великий князь Дмитрий Павлович. Было забавно — не более того. Остались » памяти блеск бриллиантов на дамах и благоухание дорогих сигар, исходящее от их кавалеров. Лишь исполненные перед началом спектакля «Марсельеза» и английский гимн напомнили о том, что война продолжается.

Куда милей, куда ближе душе и сердцу была другая среда, другие люди и встречи едва ли не каждый день в доме на улице Жуковского. Поэт Константин Липскеров выпустил книгу «Песок и роза» — там были стихи, ей посвященные. Художник Борис Григорьев написал ее огромный портрет — не в натуральную величину, а еще больше. Лиля лежит на граве, фоном служит зарево — то ли восход, то ли закат, а может быть, и пожар...

Но главным был Маяковский — он сам и его стихи. «Мы любили тогда только стихи, — много позже писала Лиля. — Я знала все Володины стихи наизусть, а Ося совсем влип в них». Летом 1916-го Маяковский читал Лиле свою новую поэму (большое стихотворение?) «Дон-Жуан», ей, естественно, посвященную. Прочитал только Лиле — на улице, на ходу. И, увидев ее реакцию, туг же изорвал в клочья: не хотел оставлять свидетельство того смятения, в котором тогда находился. Об этом говорит содержание поэмы — о нем известно только со слов Лили: «Опять про несчастную любовь».

Отношения его с Лилей становились все более сложными и даже загадочными: иногда казалось, что взаимное чувство связывает эту пару все больше и больше, иногда, наоборот, — что разрыв между ними все глубже и глубже. Осип смотрел на их странный роман не с позиций ревнивого мужа, а доброго друга; он, похоже, влюбился в Маяковского куда более пылко, чем Лиля.

Не было такого ее желания, которое Маяковский не мог бы исполнить. Лилина просьба, даже самая пустяковая, означала приказ. Он давно мечтал побывать у Александра Блока — и, как

назло, получил приглашение в день Лилиных именин. Разрешение было дано, но с условием не опаздывать к ужину (еще бы: Лиля готовит блины!) и взять у Блока автограф. Первое не обсуждалось: он и сам бы примчался задолго до срока, который ему указали. Второе смущало: придется Блока просить.

Просить, однако, ни о чем не пришлось — Блок вызвался сам подарить ему книгу. Снял с полки, раскрыл титульный лист, сел и надолго задумался. Маяковский не смел нарушить его молчание — лишь безуспешно разглядывал циферблат часов. Бремя шло, он безбожно опаздывал. Приготовил покаянную речь, произносить ее не пришлось: Лиля его простила. Ведь он как-никак вернулся с автографом! На подаренной книге Блок написал: «Владимиру Маяковскому, о котором в последнее Бремя я так много думаю».

Лиля тоже думала. И тоже — о нем. И тоже — много. Никак не могла определить характер их отношений. Наверное, ближе всех к истине Инна Гене и Василий Васильевич Катанян. Они считают, что Лиля любила только Осипа, который ее не любил; Маяковский — только Лилю, которая, увы, не любила его; и наконец, все трое не могли жить друг без друга. Сама Лиля, как, впрочем, и Осип, про свои чувства всегда утверждала иное, но со стороны, пожалуй, виднее. Во всяком случае, тупик, в котором все они оказались, свидетельствует о том, что дело было отнюдь не в какой-то «проверке чувств», на чем настаивала Лиля, отвергая «агрессию» ошалело влюбившегося поэта. Просто она все еще не могла принять для себя никакого решения. Это измотало вконец Маяковского и еще больше усугубило драму ее сестры.

Ни завязавшиеся и становившиеся все более тесными отношения с Якобсоном, ни попытки других претендентов привлечь к себе ее внимание не залечили душевную рану Эльзы и не вытеснили Маяковского из ее сердца. Могла ли Лиля не знать, что вольно или невольно обрекает на страдания родную сестру? К страстям не приложимы ни логика, ни благородство, ни здравый смысл. Но была ли, собственно, страсть с ее стороны?

Ситуация складывалась совершенно абсурдная: держа Маяковского на расстоянии и не допуская его до себя, она вместе с тем разрушала мосты, которые связывали с ним Эльзу. Он ощущал над собой безграничную Лилину власть, ненавидел эту зависимость и был ею счастлив. А в Эльзе снова проснулась надежда. Через год после того, когда казалось, что все уже кончено, возобновилась их переписка. Эльза снова сменила холодное «вы» на привычное «ты», отказалась обращаться к нему по отчеству, и одним уже этим символический возврат к старому вроде бы состоялся.

«Кто мне мил, тому я не мила, и наоборот, — прямодушно

признавалась она Маяковскому. — Уже отчаялась в возможности, что будет по-другому, но это совершенно не важно». И сразу же горькое признание: «Летом я было травиться собралась: чем больше времени проходило с тех проклятых дней, тем мне становилось тяжелее, бывало невыносимо».

О каких днях шла речь, адресат знал без пояснений: о тех, что стали «радостнейшей датой» для него, поворотным пунктом в жизни— для Лили. И проклятием — для Эльзы. «Очень хочется тебя повидать. А ты не приедешь?» Приехать он не мог, даже если бы и хотел: мешала военная служба. Впрочем, кажется, он захотел! Захотел снова увидеть ее... Под ответным письмом «милому Элику» подписался: «Любящий тебя всегда дядя Володя». И позвал недвусмысленно: «Собирайся скорее».

Наконец-то!.. Все бы бросить, казалось, и не медля лететь в Петроград... Но ведь надо было остановиться у Лили («Жить в гостинице мама ни за что не позволит»), «быть сплошь на людях» (то есть общаться с «дядей Володей» на глазах у сестры и под ее неослабным контролем)... «Я себя чувствую очень одинокой <...>, — признавалась Эльза в ответном письме, — я тебя всегда помню и люблю. <...> От тебя, дядя Володя, я все приму, только ты не хочешь».

Отношения Маяковского с Лилей, похоже, заходили в тупик: ни туда, ни обратно. Настроение было мрачное, хотя уже началось триумфальное признание его как поэта. Брик не только издавал на свои деньги его стихи, но и платил вполне приличную сумму за строчку. Вышла богохульная поэма «Флейта-позвоночник» с посвящением Лиле: «...на цепь нацарапаю имя Лилино и цепь исцелую во мраке каторги». Образ кандальной цепи, на которой его держала любимая женщина, говорит сам за себя. «Сердце обокравшая, / всего его лишив, / вымучившая душу в бреду мою» — вот как отзывается он о той, кому посвятил свою поэму. Лиля не возражала, а поэму — с полным на то основанием — называла гениальной.

В журналах печатались его стихи. Сборник «Простое как мычание» выпустило горьковское издательство «Парус». Горьковский же журнал «Летопись» принял к печати поэму «Война и мир», которую не пропустила цензура, но на чтениях в том кругу, который был Маяковскому дорог, поэма имела шумный успех. Словом, в творческом отношении дела шли хорошо.

И только с Лилей все было запутано в такой узел, который он не мог развязать. Эльза казалась спасительным якорем. Он позвал ее снова.

«Миленький, — поспешно отвечала она, — <...> у меня нет денег, совсем никаких. Понимаешь, я у мамы теперь на

жалованьи, и у меня это плохо выходит! <…> Я тебя очень люблю».

Долго сидеть на маминой шее, проедая небольшое наследство, доставшееся им от отца, Эльза, разумеется, не могла. Учеба на строительных курсах продвигалась успешно, один ее проект попал даже на выставку и был одобрен. Настало время самой зарабатывать деньги— в конце ноября 1916 года Эльза поступила работать на завод. Это еще больше отдалило ее от Маяковского: теперь она, даже если бы захотела, не могла в любое время помчаться к нему в Петроград.

И как раз тогда он стал еще требовательней настаивать на ее приезде: «Милый хороший Элик! Приезжай скорее! Ты сейчас единственный, кажется, человек, о котором я думаю с любовью и нежностью. Целую тебя крепко-крепко. Володя». Просто Володя. Без шутливого «дядя».

Эльза понимала, что это значит! Тем более что поперек начала страницы было выведено нервно: «Ответь СЕЙЧАС ЖЕ, прошу очень». Решение созрело немедленно: «Только для тебя и еду. <…> Правда— это кажется невероятным?» Письмо ее Маяковский получил уже после того, как она примчалась.

Но примчалась она не одна: Эльзу сопровождала мать. Причин для этого вроде бы не было. Эльза давно вышла из подросткового возраста. Елена Юльевна, которой не исполнилось еще и сорока пяти, была вполне здорова, в уходе ничьем не нуждалась и вполне могла бы остаться одна в течение нескольких дней. Просто ей надоело безропотно наблюдать страдания Эльзы, которой грозила незавидная участь отвергнутой и униженной. Надежда на то, что замужество Лилю остепенит, явно не оправдалась. Борьба двух дочерей за недостойного человека, мнение о котором у нее сложилось уже давно, приводила в ярость.

Но главное— Лиля!.. Дочь благородных родителей… Хорошо воспитанное, интеллигентное существо… Мало того что при здоровом и любящем муже она опять взялась за свое, но еще и, прихоти ради, обрекла на муки родную сестру… Зная Лилин характер и повадки того, кто кружил голову ее дочерям, Елена Юльевна не слишком верила в успех задуманной «операции». Но кто же другой смог бы разрубить этот узел? Внести поправку в дурной и пошлый сюжет — только таким он и мог ей казаться.

Произошло то, чего Эльза сама ожидала: «Я что-то такое чувствую в воздухе, что не должно быть, и все, все время мысль о тебе у меня связана с каким-то беспокойством». Как в воду смотрела… Маяковский не обманывал в письмах, жалуясь на свою боль, не лукавил, уверяя, что спасти его может только «милый и

родной Элик». Но достаточно было Лиле сменить гнев на милость, сказать доброе слово, одарить ласковым взглядом — и настроение круто менялось. Отчаяние уступало место надежде, тоска — эйфории. В квартирке на Надеждинской улице, которую снимал Маяковский, Эльзу встретил совсем другой человек. В письмах он целовал ее крепко-крепко, думал о ней с любовью и нежностью, наяву — дома, где им никто не мешал проявить свои чувства, — был холоден, мрачен и молчалив. И ради этого молчания мчалась она сломя голову в Петроград?!

Где, собственно, здесь, в Петрограде, был ее дом? И был ли он вообще? Остановились, конечно, у Бриков, куда Эльза возвращалась к «семейному» ужину после мучительных часов с неразговорчивым, сумрачным Маяковским у него на Надеждинской, Здесь ждала ее мать, у которой разговора со старшей дочерью так и не получилось. Приходил Маяковский, читал стихи, вызывая раздражение Елены Юльевны, шумное одобрение Лили и с трудом сдерживаемые слезы у Эльзы.

Однажды случилось самое страшное. В полном отчаянии он бросил ей, провожая: «Идите вы обе к черту— ты и твоя сестра!» Был конец декабря, собирались вместе встречать Новый год с близкими и друзьями. Все рухнуло в одно мгновение. С хватив за руку ничего не понявшую мать, Эльза ринулась на вокзал.

Маяковский приехал к отходу поезда. Прошло каких-нибудь два часа после той дикой, чудовищной сцены, его настроение снова переменилось. Для этого не всегда нужны были основательные и видимые причины. Он опять стал ласков и нежен. Не стесняясь Елены Юльевны, говорил о своей любви. Обещал приехать в Москву.

«Мой милый, хороший Володя, — писала ему Эльза сразу же по возвращении, забыв обиды, простив грубость, снова готовая сорваться с места по первому его зову, — не верится мне, что ты приедешь, и душа у меня не на месте... Разнервничалась до последней степени: в поезде плакала совершенно безутешно, мама и не знала, что ей со мной делать. Прямо стыдно! <...> Милый Володя, приезжай, не сердись на меня и не нервничай. <...> Жду тебя с нетерпением, люблю тебя очень. А ты меня не разлюбил?»

Любил ли он ее? Эльза так для него и осталась всего лишь спасительным якорем, за который стремился он ухватиться, когда Лиля воздвигала между собою и ним непроницаемую стену. Внешне все было отлично: вдвоем, рука в руке, прогулки по городу— ночью и днем, чтение стихов, разговоры о литературе, коллективная работа над журналом, которому Маяковский дал необычное имя «Взял». Но мечтал он не только об этом, а

возможно, совсем не об этом, и мечта не могла осуществиться, потому что Лиля все никак не решалась создать для себя модель будущей жизни. Такую модель, чтобы и Володю не потерять, и Осю не потерять, чтобы всем жить в мире друг с другом и остаться при этом свободной от всяких цепей — супружеских, дружеских или моральных.

Именно о такой любви, о таком раскрепощении духа и тела, о таком разрыве со всяческими догмами все чаще и все основательней писали тогда в журналах, говорили на диспутах. Сам Владимир Ильич Ленин (о чем она тогда, конечно, не знала) из швейцарского далека затеял переписку со своей возлюбленной Инессой Арманд о поцелуях без любви и с любовью, о свободе от уз «буржуазного» брака и постылого ханжества. Спорить об этом Маяковскому, возможно, было интересно, но почему-то в реальной жизни хотелось совсем другого.

«Милый и дорогой Элик! <…> Скучаю без тебя. Целую много», — из его письма от 5 февраля 1917 года. До крушения трона оставались считанные дни, страна ждала роковых перемен, но «зубная боль в сердце», по выражению Гейне, была сильнее любых иных потрясений. Знала ли Лиля вообще о существовании этой корреспонденции, от которой до наших дней сохранилось в общей сложности шестнадцать писем? Догадывалась, скорее всего. Но вряд ли знала… Письма в Петроград шли на Надеждинскую, в Москву— к Эльзе, где мать стерегла от старшей дочери тайну младшей. И если переписка с Эльзой возобновилась в такой тональности, это означало только одно: с Лилей у него опять ничего не клеилось. Низвержение монархии и пьянящий воздух истинной, не выдуманной свободы на время отвлек всех троих (даже, пожалуй, всех четверых — ведь Осип придавал «треугольнику» форму «квадрата») от затянувшейся драмы, которой все еще не было видно конца.

«…Что творится-то, великолепие прямо! — писала Эльза Маяковскому 8 марта 1917 года в последнем из сохранившихся писем того периода и в единственном, где нет ничего о любви. <…> К счастью, «заря революции» оказалась не слишком кровавой, по крайней мере у нас здесь». Кровь (да какая!) была еще впереди, но о ней ничего не будет ни в воспоминаниях Лили, ни в воспоминаниях Эльзы. Эти дни оказались судьбоносными не только для страны и для мира, но и лично для них. «Моя судьба сошла с рельс, — писала Эльза позже в своих мемуарах. — Но я уже Володе своих тайн не поверяла: было ясно, что он все рассказывает Лиле».

Окончательно поняв, что Лилин «магнит» ей не одолеть, Эльза завершила свои любовные отношения с Маяковским и

примирилась с сестрой. Рана в сердце осталась, но осталось и чувство благодарности к человеку, который с тех пор вошел в ее жизнь на правах близкого друга. Во всяком случае, она имела основания так его называть и таким представлять — читателям в том числе.

Личная же ее судьба действительно «сошла с рельс». Отношения с Якобсоном, которого она никогда не любила, все еще продолжались, снова сватался Василий Каменский, старомодно прося руки дочери у Елены Юльевны, безуспешно домогались взаимности Виктор Шкловский и Борис Кушнер, поэт, один из теоретиков футуризма. Появлялись еще и другие мимолетные спутники — появлялись и исчезали, оставляя горечь в душе и ничего не давая взамен. Их имена или только инициалы мелькают в ее письмах и позднейших воспоминаниях — она упоминает о них, не оставляя сомнений в том, сколь ничтожную роль играли они в ее жизни. Печальным итогом этого «непутевого» года остался только аборт, навсегда лишивший ее возможности иметь детей.

Жизнь в петроградской квартире меж тем била ключом. Эпохальные политические события воспринимались на улице Жуковского прежде всего как свобода для творчества, как освобождение от цензурных тисков, как дорога в большую литературу, открытая теперь для «левых» течении. На волне всеобщего энтузиазма именно в тесной квартирке Бриков— весной 1917-го, на масленицу, под блины (со сметаной, а то и с икрой: ведь продукты еще не исчезли) — родился прославленный ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка). Так, вместе со Шкловским, Эйхенбаумом и Якобсоном в дом Бриков вошел не ставший еще знаменитым прозаиком молодой литературовед Юрий Тынянов. Тогда же в квартире Бриков зародилась идея, которая сразу и была осуществлена: группа писателей, артистов, художников объединилась в Левый блок Союза деятелей искусства. Кроме Осипа туда вошли Маяковский, Шкловский, режиссер Всеволод Мейерхольд, художник Владимир Татлин и еще много других, чьим именам суждено пережить свое время.

Имени Лили пока еще не было среди них: чуть позже она войдет в этот круг не в качестве жены Оси и не в качестве подруги Володи, а совершенно самостоятельно — как Лиля Брик. И в этом, пожалуй, нет натяжки: она была участником всех дискуссий, всех обсуждений, всех издательских начинаний, участником, чьим мнением не пренебрегали, с которым считались.

Отнюдь не восторженно относившийся к ней Поэт Николай Асеев признавал впоследствии, что Лиля умела «убедить и

озадачить никогда не слышанным мнением, собственным, не с улицы пришедшим, не занятым у авторитетов». Сама она — и тогда, и потом — старательно оставляла в тени свое личное участие. «Филологи собирались у нас, — вспоминала Лиля годы спустя. — Разобрали темы, написали статьи. Статьи читались вслух, обсуждались. Брик издал первый «Сборник по теории поэтического языка». К этому сухому перечислению можно добавить: и в «разборе» тем, и в их обсуждении, и в издании сборника сама она играла отнюдь не последнюю роль. К этому времени относится и первое прямое ее соучастие в делах Маяковского: она помогала ему делать агитлубки для горьковского издательства «Парус».

Маяковский уже не нуждался в Брике-издателе: его стали печатать охотно и много. В частности, тот же «Парус» — другое горьковское издание, — начавшая выходить в апреле 1917 года газета «Новая жизнь». Там было, в частности, напечатано новое его стихотворение «Революция», посвященное Лиле.

Бурные политические события обозначали первую трещинку — не очень глубокую, но на принципиальной основе— в монолитном, казалось, содружестве: Маяковский воздержался от дальнейшего сотрудничества в «Новой жизни», следуя примеру большевиков, покинувших газету Горького и меньшевика Николая Суханова за ее поддержку Временного правительства. Брик же, напротив, не только продолжал в газете сотрудничать, но вскоре даже поступил туда в штат. Он весьма скептически оценивал шансы большевиков на победу и вообще не разделял их властных амбиций.

Вряд ли на этом выборе как то сказалось влияние Лили. И Брик, и Маяковский — каждый из них был ей дорог совсем не партийной позицией, одной или другой. Она оставалась женщиной — просто женщиной, влюбленной в талант...

Дома по-прежнему шли нескончаемые литературные дискуссии, прерываемые карточной игрой. Лиля ее обожала, по все же не так, как Маяковский: он вносил в игру присущий ему азарт. Играли в винт, покер, «железку», «девятку» — непременно на деньги, так требовал Маяковский. Лиля сердилась — потому ли только, что он часто выигрывал и не прощал никому карточных долгов? Сердилась, разумеется, не по скупости, а зная, к чему нередко приводит ничем не сдерживаемый азарт. Похоже, в этом, и только в этом, он ей не уступал. Боялся ее, нервозно выслушивал упреки, но стоял на своем.

Отношения не прояснились и не подверглись пока никаким переменам. Так и не покинув Надеждинскую, которая была в двух шагах от Жуковской, он часто оставался ночевать у Бриков на

диване, ничем не отличаясь от других гостей, ночлегом для которых то и дело служил тот же диван.

Его — весьма частые теперь — поездки в Москву, где он много выступал с чтением стихов, не внесли никаких перемен в отношения с Эльзой. Конечно, она ходила его слушать — и в Политехнический, и в «Кафе поэтов» на углу Тверской и Настасьинского переулка, и в кафе «Питореск» на Кузнецком мосту. Завсегдатаями этих кафе были в основном «недорезанные буржуи», иронично и добродушно рукоплескавшие Маяковскому, когда он бросал им в лицо: «Ешь ананасы, рябчиков жуй: день твой последний приходит, буржуй». Эльза сидела рядом с Якобсоном, аплодировала не иронично, а бурно и «болела» за него. За поэта— не за любимого...

Двухкомнатная петроградская квартирка Бриков уже не могла вместить всех друзей. Для многолюдных заседаний, которые там происходили, не хватало места. По счастью, в том же доме, только несколькими этажами ниже, освободилась шестикомнатная квартира, и Брики, не очень стесненные тогда в средствах, переехали туда. Сборища стали еще более многолюдными и еще более шумными, хотя мебели не прибавилось и комнаты были наполовину пусты.

В жизнь Маяковского этот переезд не внес существенных бытовых перемен. В историческую ночь на 25 октября 1917 года он был в Смольном институте, где заседал «штаб революции». А на Жуковской тем временем, как всегда по вечерам, играли в карты, на этот раз в «тетку» — забытую теперь игру, где проигрывает тот, у кого набралось больше взяток. Вместо Маяковского азартно играл Горький, тоже не чуждый таких развлечений, — он зашел сюда «на огонек». Здесь, в доме Бриков, и встретил переворот, услышав глухой выстрел крейсера «Аврора» и не придав ему, как почти все петроградцы, никакого значения: тогда повсюду стреляли.

Каноническая советская модель, согласно которой Маяковский с первого же дня революции безоговорочно поддержал большевиков, не соответствует истине. С их «культурной программой», изложенной наркомом Луначарским, он разошелся и уехал из столицы в Москву, чтобы «напрямую говорить с народом» на своих поэтических вечерах. Брик пошел еще дальше, опубликовав резкую статью в «Новой жизни»: «Если предоставить <большевикам> свободно хозяйничать в < ..> области <культуры>, то получится нечто, ничего общего с культурой не имеющее». В той же статье он призывал защищать культуру от «большевистского вандализма».

Охотно участвуя во всех литературных спорах, Лиля с

полным равнодушием относилась к политике в буквальном, практическом ее выражении. Даже в дни исторических перемен, когда политикой было пропитано все вокруг. Нет никаких признаков не только ее прямого участия в каких-либо политических событиях того времени, но даже сколько-нибудь личного, эмоционального отношения к ним. Мысли ее были далеко — не метафорически, а географически: неожиданно открылась перспектива очень заманчивой поездки в Японию. Это было связано с ее балетным увлечением, длившимся уже два года.

Переехав в Петроград, Лиля вдруг решила заниматься танцами — полулюбительски, полупрофессионально. Поступила в школу известной тогда балерины Александры Доринской, которая до войны в составе труппы Русского балета гастролировала за границей вместе с Вацлавом Нижинским. Училась Лиля вполне усердно, делала успехи, даже в новой просторной квартире выделила большую комнату для репетиций и тренировки.

Задумав гастрольную поездку в Японию, Доринская пригласила и Лилю, с которой к тому времени ее связывали уже не только формальные, но и дружеские отношения. Поездка, к сожалению, сорвалась, но — так или иначе — мысль о долгой разлуке с Маяковским, которая, возможно, ей предстояла, Лилю ничуть не тревожила. Он узнал об этом проекте из ее письма, в котором были такие строки: «Мы уезжаем в Японию. <«Мы» означало: с Осипом.> Привезу тебе оттуда халат». И все... Словно шла речь о загородной прогулке...

В Москву она отправляла письма, в которых сообщала не о самых важных петроградских новостях, не терзаясь ревностью, с полным равнодушием — внешним, по крайней мере, — относясь к тому, что они не виделись месяцами. Даже на Новый год Маяковский остался в Москве, чтобы участвовать в «елке футуристов» в Политехническом музее и новогодних празднествах в «Кафе поэтов». Это решение говорило само за себя. Но ни упреков, ни просто какого-то сожаления о разлуке в письмах Лили того периода найти невозможно. В них вообще нет никаких любовных мотивов, это письма доброго и давнего друга, а не возлюбленной и уж никак — не влюбленной. Знала ли она, по крайней мере тогда, какой роман переживал Маяковский, осознав, что взаимность их любви существовала лишь в его «воспаленном мозгу» (из стихотворения «Ко всему», написанного в 1916 году)?

С прежними «Любовями» Маяковского, казалось, было покончено, но одна, после долгого перерыва, все же имела внезапное и бурное продолжение. Еще за четыре года до

«радостнейшей даты» Маяковский встретил на похоронах Валентина Серова молодую художницу Евгению Ланг, которой шел тогда двадцать второй год. Уже на следующий день, узнав каким-то образом ее адрес, он стоял под ее окнами с букетом цветов.

Отношения длились довольно долго, не переходя в новое «качество»: в силу и искренность чувств влюбленного поэта Евгения не поверила. Год спустя она вышла замуж — не по любви — и, разведясь через несколько месяцев, возобновила встречи с Маяковским. Тут как раз появилась Эльза, и Евгения снова сбежала, став во втором браке женой довольно известного в Москве адвоката. Но и это был брак без любви, а значит, без будущего.

Весной 1917 года, на вечере в московском театре «Эрмитаж», где выступали художники и поэты (Маяковский читал там «Войну и мир»), они встретились. И все завертелось снова, но уже на другом витке...

Маяковский переживал глубокий кризис. До Лили он никак «достучаться» не мог. Ни любовными признаниями, ни письмами, ни стихами, похожими на вопль отчаяния. Спасительный якорек — Эльза — уже ни от чего не спасал: разрыв стал слишком глубоким, в ее жизни появились другие люди, тоже ему не чуждые, возврат к прошлому ни в каком виде был невозможен. Роман с Евгенией, безоглядная и преданная любовь которой была для него очевидна, заполнял вакуум и спасал от одиночества.

Возобновился роман не сразу. Все еще прикомандированный к автороте, вольноопределяющийся Маяковский должен был возвратиться в Петроград. Между ним и Женей шла переписка, нам не известная. Похоже, о ней не знала и Лиля. Причем не только о переписке, но сначала, по всей вероятности, даже о самом существовании Евгении- Ланг. В разные годы Лиля не раз говорила, что Маяковский никогда не скрывал от нее своих увлечений. Впоследствии, видимо, так и было, но относилось ли это и к Жене? Вероятно, нет: когда очень хотел, Маяковский умел быть скрытным. И Женя была не из тех, кто стремится «работать на публику», афишируя свою близость к знаменитым поклонникам. К Жене Маяковский в июне умчался в Москву. Здесь их отношения и перешли наконец в «высшую фазу». Они длились восемь месяцев. Многие годы спустя Евгения Ланг призналась: «Это были месяцы счастья».

«Месяцы счастья» прерывались его пребыванием в Петрограде. Чтобы развязать себе руки для поездок в Москву, он добился у своего военного начальства нового отпуска — теперь уже на целых три месяца. Большевистский переворот и вовсе

сделал его свободным. Отъезд на долгое время в Москву, над причиной которого ломали голову его биографы, стараясь найти непременно политические мотивы, скорее всего, был вызван обстоятельством очень личным, по-человечески вполне понятным: просто Женя, зная о Лиле, ни за что не хотела ехать с ним и Петроград. С ним и к нему... Альтернатива была такой: разрыв с Женей— или Москва. Измотанный «невзаимностью», Маяковский выбрал Москву, то есть попросту Женю, в надежде найти с ней душевный покой. Для этого он должен был снять с себя те вериги «любовного рабства», на которых «нацарапано имя Лилино», и вновь обрести чувство хозяина положения. Быть уверенным в том, что любим и что эта любовь не подвержена никаким ветрам. Не усомниться в том, что женщина, которая рядом, ради него готова на все. И это он получил! Но изгнать Лилю из его мыслей и сердца ни Жене, ни кому-то другому было уже не под силу. Бегство от самого себя, как известно, ничего не приносит, кроме новой печали.

Чтобы избавиться от докучливой опеки родных, Маяковский покинул дом на Пресне, где жили мать и две его сестры и где в чисто бытовом смысле он был вполне ухожен. Поселился в гостинице «Сан-Ремо» на Петровке. Как он ни таился, но в общественных местах появлялся вместе с Женей, и остаться незамеченным это, разумеется, не могло.

Была Женя и на вечере в Политехническом в конце февраля 1918 года, где публика выбирала «короля поэтов». Маяковскому досталось второе место — «королем» стал Игорь Северянин. «Болеть» за Маяковского пришли тогда и Эльза с Якобсоном, который был даже избран членом комиссии, подсчитывавшей бюллетени. Эльза ли сообщила или кто-то другой, но так или иначе до Лили дошла, вероятно, весть о спутнице Маяковского. Свидетельством служат, скорее всего, строки ее письма к нему, где Лиля с очаровательной женской игривостью, но вполне недвусмысленно дает ему знать, что его тайна раскрыта: «Ты мне сегодня всю ночь снился: что ты живешь с другой женщиной, что она тебя ужасно ревнует и ты боишься ей про меня рассказать. Как тебе не стыдно, Володенька?»

Боялся он рассказать не про Лилю — о ее существовании и об их отношениях знал не только «весь Петроград», но и «вся Москва». В том числе и Женя, которой он не смел признаться, что Лиля из его жизни никуда не ушла и что Жене ее заменить не под силу. С поразительной точностью Лиля и на этот раз сразу все поняла, все просчитала, подслушала ход его мыслей и нанесла точнейший удар.

«Не бываю нигде», — коротко ответил Маяковский «дорогому,

любимому, зверски милому Лилику», как бы пропустив мимо ушей рассказ о ее «сне» и заверяя: «От женщин отсаживаюсь стула на три, на четыре— не надышали б чего вредного. <…> Больше всего на свете хочется к тебе. Если уедешь куда, не видясь со мной, будешь плохая».

Оберегая его покой и не желая самой выглядеть, по меньшей мере, двусмысленно, Лиля не писала ему о разыгравшейся тогда гнусной истории, незаслуженно бросившей пятно на его честь. Блистательный литературный критик и эссеист, признанный эталоном интеллигентности в русской литературе XX века, Корней Чуковский ни за что ни про что оклеветал Маяковского, которого имел все основания считать своим другом. По причине, которая до сих пор никому не известна: он насплетничал Горькому, будто Маяковский не просто обесчестил чистую и невинную девушку, но и заразил ее сифилисом, подцепив, стало быть, эту постыдную болезнь у жриц свободной любви. Сифилис тогда считался исключительной «привилегией» проституток.

Жертвой Маяковского, по версии его «друга», стала Соня Шемардина (Сонка), у которой был нешуточный роман с Чуковским, водившим ее на разные литературные вечера. На одном из них, еще осенью 1913 года, он познакомил ее с Маяковским, и Сонка, признававшаяся впоследствии, что очень любила Чуковского, очертя голову «втюрилась в футуриста». Итогом этого мимолетного, но оставившего след и в жизни Маяковского, и в его поэзии романа (в первом варианте четвертой главы «Облака в штанах» Сонка фигурировала под своим подлинным именем) был очень мучительный, поздний аборт, навязанный и устроенный непрошеными «спасателями», и разрыв отношений, которые, вероятно, завершились бы тем же и без столь драматичных последствий.

О своих злоключениях Сонка честно поведала Корнею Чуковскому, уязвленному ее «изменой» и, разумеется, затаившему обиду на своего счастливого соперника. «Завершение «исповеди», — вспоминала впоследствии Сонка, — было в Куоккале, в дачной бане Чуковского. Домой меня нельзя было пригласить из-за Марии Борисовны <жены>. Хорошо, что баня в этот день топилась. Он принес туда свечу, хлеба и колбасы и взял слово, что с Маяковским я больше встречаться не буду, наговорив мне всяческих ужасов о нем». Произошло все в январе 1914 года. После этого Маяковский десятки раз бывал у Чуковского в той же Куоккале на правах близкого друга, подолгу живал у него, оставил ему множество своих рисунков тушью и карандашом, равно как и стихотворных экспромтов, выслушивал восторженные слова хозяина о себе и своих стихах.

Что побудило Чуковского ровно четыре года спустя — ни с того ни с сего — трансформировать исповедь в сплетню, сославшись на рассказ неведомого врача, и отправиться с ней к Горькому, уже ставшему в то время влиятельной фигурой при захвативших власть большевиках? Держать язык за зубами Горький никогда не умел: прежде всего он поспешил обрадовать пикантной новостью наркома просвещения Луначарского. Потом с его же легкой руки сплетня пошла гулять по всему Петрограду. Дошла и до Лили, в доме которой он так любил чаевничать и предаваться картежной игре. Лиля всегда была человеком не рефлексий, а действий. Она тотчас отправилась к Горькому, прихватив с собой как свидетеля Виктора Шкловского, и потребовала объяснений.

Горький «стучал пальцами по столу, — вспоминал впоследствии Шкловский, — говорил: «Не знаю, не знаю, мне сказал очень серьезный товарищ. Я вам узнаю его адрес». Л. Брик смотрела на Горького, яростно улыбаясь». Лиля ничего не оставляла на полпути. Чтобы их разговор имел документальное подтверждение, она не ограничилась личной встречей и написала Горькому письмо, пожелав получить на него письменный же ответ. Вот это письмо, впервые опубликованное виднейшим шведским славистом Бенгтом Янгфельдтом, которому принадлежит честь и первой публикации всей переписки между Маяковским и Лилей.

«Алексей Максимович, очень прошу вас сообщить мне адрес того человека в Москве, у которого Di,i хотели узнать адрес доктора. А сегодня еду в Москву с тем, чтобы окончательно выяснить все обстоятельства дела. Откладывать считаю невозможным. Л. Брик».

Горький отметил прямо на том же письме — словно наложил резолюцию: «Я не мог еще узнать ни имени, ни адреса доктора, ибо лицо, которое могло бы сообщить мне это, выехало на Украину с официальными поручениями. А<лексей> П<ешков>».

Никакой дальнейшей переписки между ними не было, и вообще на том эта постыдная история прекратилась. В Москву «выяснять все обстоятельства дела» Лиля, разумеется, не поехала. И по горячим следам ничего Маяковскому не сообщила. Бывшие его друзья— и Горький, и Чуковский— превратились во врагов. Зачем и кому это было нужно, вряд ли кто-нибудь сумеет понять. Но самое важное в этой истории — открытая позиция Лили. Ведь ясно же, что принять столь деятельное и энергичное участие в выяснении интимнейших и крайне щекотливых деталей мог позволить себе лишь человек, не скрывающий своей личной

причастности именно к этой стороне жизни оклеветанного молвой человека. По нравам и традициям не только тогдашнего времени это могла позволить себе жена. Только жена, и никто больше,

Маяковский в это время замялся непривычной для себя работой, которой очень увлекся. По заказу кинофирмы «Нептун» он сделал сценарий игрового фильма — экранизацию романа Джека Лондона «Мартин Иден» (фильм назывался «Не для денег родившийся»), сам и сыграл главную роль. Заказчику (продюсеру, выражаясь современным языком) он так понравился в качестве артиста, что тот пригласил его еще на одну картину.

В спешке фильм снимали безо всякого сценария, по мотивам сентиментальной повести итальянского писателя-социалиста Эдмондо Де Амичиса («Учительница рабочих»), а название фильма, благодаря Маяковскому, вошло в историю: «Барышня и хулиган». Об этом приметном событии в своей жизни Лиле он написал как о чем-то совсем пустяковом: «Единственное развлечение (и то хочется, чтоб ты видела, тебе будет страшно весело). Играю в кинемо. <…> Роль главная».

Лиля знала, как надо себя вести с влюбленными, которые вдруг стали отбиваться от рук. Она не писали Маяковскому целый месяц, и это, конечно, сразу же дало результат. «Не забывай, что кроме тебя мне ничего не нужно и не интересно, — писал ей Маяковский, — Люблю тебя». И в свою очередь, тоже зная слабости женского сердца, попытался разжалобить: «Ложусь на операцию. Режут нос и горло». Операция, к счастью, была чепуховой, но только ли поэтому Лиля не проявила ни малейшей тревоги? «После операции, — весьма спокойно откликнулась она, — если будешь здоров и будет желание — приезжай погостить. Жить будешь у нас».

Письмо жестокое, несмотря на неизменное «обнимаю, детынька моя», и даже «целую». Каждое слово подобрано точно и читалось адресатом именно так, как того желала Лиля. «Приезжай погостить», — пишут только чужому. «Жить будешь у нас», — значит НАШ с Осей дом — это не ТВОЙ дом. Поэтому другая строка из того же письма — «Ужасно скучаю по тебе и хочу тебя видеть» — звучала в этом контексте довольно фальшиво. И, хватаясь за соломинку, Маяковский нашел безошибочно точный ход: «…Хотелось бы сняться с тобой в кино. Сделал бы для тебя сценарий».

Вот на это предложение Лиля откликнулась без промедлений. И вполне деловито: «Милый Володенька, пожалуйста, детка, напиши сценарий для нас с гобой и постарайся устроить так, чтобы через неделю или две можно было его разыграть. Я тогда

специально для этого приеду в Москву. <…> Ужасно хочется сняться с тобой в одной картине». Могла бы, кажется, и без дела приехать в Москву, узнав или заподозрив, что любимый человек «живет с какой-то женщиной». Но в таком порыве, естественном для любящей подруги, надобности не видела. Маяковский понял и это.

За сценарий для них двоих Маяковский взялся сразу же. И потратил на эту работу всего одну или две недели. Для Лили была им придумана роль балерины, для него самого — роль художника. О том, что начинаются съемки картины под названием «Закованная фильмой», сообщили газеты. Не преминули добавить— может быть, с умыслом, а может, и без оного, — что Лиля приезжает в Москву вместе с Осипом.

Только из газет об этом событии узнала Женя Ланг, с которой отношения не просто сохранялись, но, казалось, обретали стабильность и естественно развивались к еще более прочному союзу. «Володя, решай, — твердо сказала Женя. — Выбор за тобой, и он должен быть сделан сразу. Сразу и окончательно».

Маяковский признался честно: «Я не могу с ними расстаться», Так и сказал, по свидетельству Жени: «с ними» — не «с ней». И не лукавил. Его привязанность к Брику, неотторжимость от него, духовная общность, доверие и благодарность — весь этот сложный комплекс чувств, далеко выходивший за рамки традиционной мужской дружбы, был не менее сильным магнитом, чем влюбленность в «женщину его жизни».

Женя все поняла. И отрезала моментально. Сразу. Раз и навсегда. В мае, когда Лиля в сопровождении Осипа приехала на съемки в Москву, Маяковский на самом деле уже не «жил» ни с какой женщиной. Он мог спокойно и честно смотреть Лиле в глаза.

О Жене, похоже, не было сказано ни слова. Словно ее и не было. Не с тех ли пор в отношениях между Лилей и Маяковским установилось непреложное правило: если о своих дежурных увлечениях, сколь бы далеко они ни зашли, он сам ничего не рассказывает, значит, их незачем принимать всерьез?

В июле 1967 года в Москве проходил очередной международный кинофестиваль. Я был аккредитован на нем от нескольких зарубежных газет. Один из коллег, молодой македонский журналист и поэт Георгий (Джоко) Василевски, тоже приехавший на фестиваль, попросил меня устроить встречу с Лилей

Брик, у которой он мечтал взять интервью. Я не был тогда с ней знаком, хотя бы и отдаленно, но знал переводчицу с французского Тамару Владимировну Иванову, жену известного

писателя Всеволода Иванова и мать выдающегося филолога, лингвиста и культуролога Вячеслава Иванова. На их даче в Переделкине жила Лиля. Тамара Владимировна устроила нам эту встречу. Приведу лишь короткий фрагмент той записи, которую я сделал по ходу их разговора.

«Я влюбилась в Володю сразу, — рассказывала Л. Ю. Брик, — можно сказать, моментально, как только он начал читать у нас свою поэму. «Облако в штанах», вы знаете... Он ее посвятил мне, вы это, конечно, знаете тоже. Полюбила его сразу и навсегда. И он меня тоже, но у него и любовь, и вообще, что бы он ни делал, было мощным, огромным, шумным. И чувства были огромными. Иначе он не умел. Поэтому со стороны кажется, что он любил меня больше, чем я его. Но как это измерить — больше, меньше? На каких весах? На какой счетной линейке? Любовь к нему я пронесла через всю жизнь. Он был для меня... Как бы вам это объяснить? Истинный свет в окне».

Тут Л. Ю. Брик прервала монолог и обратилась ко мне: «Переведите вашему другу, что такое свет в окне». «Не надо, я понял, — сказал Джоко, который хорошо говорил по-русски. — Свет в окне, это когда слепит яркое солнце, такое яркое, что вообще ничего не видно». Лиля Юрьевна не возразила».

В ЛЮБВИ ОБИДЫ НЕТ

Съемки картины под странно звучащим сегодня названием «Закованная фильмой» шли в привычном для тех времен темпе. Студия «Нептун» отвела на производство максимум две-три недели. Еще до того как Маяковский начал писать сценарий, исполнители двух главных ролей были уже определены: он сам — и Лиля. Оказавшись в непривычном для себя амплуа, никакого смущения или страха она не испытывала. Вела себя перед камерой так, словно всю жизнь только чтим и занималась. Маяковский, напротив, нервничал, срывался, выходил из себя, хотя он-то как раз уже освоил профессию и считался актером «со стажем». Достаточно было одной лишь реплики Лили, и он тотчас брал себя в руки, успокаивался, входил в общий ритм,

Нервничал он вовсе не оттого, что на съемочной площадке что-то не получалось. Ни один посторонний не мог знать, чем вызваны его ранимость и возбудимость. Но Лиля-то знала... Каждый день почта приносила ей письма из Петрограда. Некий Жак, человек без профессии, хорошо известный, однако, в обеих русских столицах, одолевал ее страстными письмами, требуя признаний в ответной любви и немедленного возвращения «домой» — в его пылкие объятия. Из восторгов своих обожателей Лиля никогда не делала тайны, в данном же случае шквал любовных признаний был особенно кстати, распаляя в Маяковском ревность и окончательно отрезая ему путь назад: она не забыла свой «вещий сон» и ту, которая тогда ей «приснилась», по-прежнему считала разлучницей и соперницей.

О Жаке — подлинное имя Яков Львович Израилевич — известно лишь то, что каждый вечер он посещал богемное кафе «Бродячая собака» и водил дружбу с Горьким, которую любил афишировать при каждом удобном случае. Немногочисленные мемуаристы называют Жака «бретером», «прожигателем жизни», отмечая при этом его культуру и острый ум. Бездельников Горький не мог терпеть, но к Жаку почему-то был расположен, привязался настолько, что верил каждому его слову.

Есть все основания полагать, что первоисточником слуха о «сифилисе» или, по крайней мере, его главным разносчиком был именно Жак, преследуя этим вполне очевидную цель: вызвать у Лили отвращение и страх, принудить ее вычеркнуть «растлите-ля-сифилитика» из своей жизни. По чистой случайности в это же время Чуковский терзался ревностью к Маяковскому, не в силах простить ему Сопку, отношения которой с поэтом давным-давно прекратились. Интересы людей, не имевших друг с другом

буквально ничего общего, мистическим образом сошлись.

Лиля тоже не любила бездельников и пустоцветов. Даже блистательных. Чутье на подлинный дар было развито у нее в совершенстве — убедиться в этом мы сможем еще не раз. Никаким талантом страстный бретер не отмечался — она разгадала это мгновенно. У таких людей не было ни малейших шансов добиться ее взаимности. Но Жак, конечно, про это не знал — ведь он о себе был весьма высокого мнения. Оказавшись с Горьким ка короткой ноге, он еще больше возвысился в своих глазах. Его истерически длинные письма становились все более невыносимыми. Лиля на них не отвечала, но и Маяковскому читать их не позволяла, информируя лишь о том, что она их получает и выкидывает в мусорное ведро. Своей недоступностью эти письма еще больше распаляли его богатое воображение.

Лилина тактика сработала безотказно. Едва съемки закончились, Маяковский вместе с Бриками отправился в Петроград. 17 июня он формально «выписался» из Москвы, а 26-го «прописался» в Петрограде — все на той же улице Жуковского. Пресловутый советский институт «прописки», существующий более восьмидесяти лет, тогда уже начал действовать, но еще носил не полицейско-принудительный, а добровольный характер. «Выписка» из Москвы означала, что на своей свободе Маяковский ставит крест и прочно «записывает» себя в Лилино рабство.

Эльза осталась в Москве. Она по-прежнему жила с матерью в Голиковском переулке, расставшись окончательно с мыслями о Маяковском и отказав Якобсону, который настойчиво домогался ее руки.

Пришла, наконец, «взрослая трезвость», заставив отрешиться от всяких иллюзий и всерьез задуматься о своей дальнейшей судьбе. В те самые дни, когда Маяковский «выписывался» из Москвы, Эльза закончила архитектурно-строительное отделение женских строительных курсов, уже твердо зная, как поступить дальше.

Среди ее поклонников появился человек, к которому она не питала никаких лирических чувств, но который мог ей помочь начать новую жизнь. Находящемуся с военной миссией в Москве французскому офицеру Андре Триоле она дала обещание стать его женой. Где и как Эльза познакомилась с Триоле, когда точно (считается, что еще в 1917 году) между ними завязался роман, сколько времени он длился и как развивался, — все эти подробности никому не известны. В воспоминаниях Эльза нарочито их избегала. Любая нарочитость имеет причину. Об этой нам остается только гадать.

Два человека — Лиля и мать, — по существу, выталкивали

Эльзу из России. Из СОВЕТСКОЙ России… Но к политике это не имело ни малейшего отношения. Сестры любили друг друга и скандалить, деля Маяковского, совсем не хотели. Но и лицемерить, делая вид, что в их отношениях не существует проблем, они не хотели тоже. Пребывание вблизи друг от друга (расстояние между Москвой и Петроградом в расчет, разумеется, не бралось), неизбежные общие встречи могли в любую минуту стать источником новых конфликтов. Сами сестры, скорее всего, нашли бы выход из положения, но ненависть, которой воспылала к Маяковскому Елена Юльевна, исключала любой компромисс.

Чувства матери нельзя не понять. В ее старомодном представлении вызывающе вольное поведение старшей дочери называлось распутством и подлостью, Маяковский же выглядел дьяволом, погубившим обеих дочерей. Вторгся в чужую семью, разрушил ее, не создав никакой другой, совратил и унизил Эльзу… Бегство за границу казалось спасением — не от большевиков, которые лично Елене Юльевне ничем еще не досадили, а от дьявола-искусите-ля и от непутевой Лили.

Андре Триоле к тому времени, выполнив свои служебные обязанности, отбыл в Европу. Чтобы сочетаться законным браком, Эльзе надлежало отправиться вслед за ним. Так она и сделала. Поразительно другое: почему-то этот брак не состоялся в Москве. Как могла рассчитывать Эльза на выезд в Европу из подвергнутой блокаде России, где большевики сами лишили своих сограждан свободы передвижения? Из «совдепии» не выезжали — из нее бежали, рискуя жизнью и не ведая о том, что ждет беглеца впереди. Эльза же уезжала, как уезжают все нормальные люди в нормальные времена. История ее отъезда полна не разгаданных до сих пор загадок. Ни на один вопрос, который, естественно, возникает, нет ответов. Впрочем, и вопросов этих почему-то никто не поставил. Ни тогда, ни потом.

Вот как сама Эльза описывает формальную процедуру своего отъезда: «…В бывшем Институте благородных девиц <Москва, улица Ново-Басманная> мне выдали заграничный советский паспорт, в котором значилось: «для выхода замуж за офицера французской армии». А в паспорте моей матери стояло «для сопровождения дочери». Товарищ, который выдал мне паспорт, сурово посмотрел на меня и сказал в напутствие: «Что у нас, своих мало, что вы за чужих выходите?»

Никаких заграничных паспортов в привычном смысле этого слова тогда не существовало, в каждом индивидуальном случае их выписывали на гербовой бумаге и вручали счастливчику. Исключительным правом выдачи таких разрешений обладала зловещая ЧК, миновать эту инстанцию ни один соискатель

заграничного «паспорта», конечно, не мог. «Товарищ» , который напутствовал Эльзу, мог быть только сотрудником этого ведомства. Когда и к кому конкретно обратилась Эльза за таким разрешением? Как и с чьей помощью удалось провернуть ей столь сложное дело? Обычно эта процедура занимала не одну неделю, для получения разрешения на выезд, уж во всяком случае, требовались рекомендации благонадежных и авторитетных лиц.

Есть еще одна странность, куда более значительная. В марте 1918 года началась англо-франко-американская интервенция с целью свергнуть советскую власть. «Офицер французской армии», ради брака с которым Эльза отправилась за границу, служил, таким образом, в войсках, которые вели войну с властями, выдавшими Эльзе заграничный паспорт. Непостижимым образом они благословили ее на супружество с офицером-противником! Для этой цели отправили за границу. Да еще дали в сопровождение мать...

Все это плохо стыкуется с элементарной логикой, здравым смыслом, известными большевистскими правами. Не оттого ли эта важнейшая страница биографии Эльзы полна «белых пятен»? Не оттого ли в мемуарах Эльзы, изобилующих множеством красочных и важных деталей, нет ни одной, которая относилась бы к этому периоду? Так или иначе, но легальное право на выезд она от советских властей получила. Какой ценой — об этом нам приходится только гадать. И уже через неделю, не подвергая риску ни на день счастливо доставшийся ей лотерейный билет, отправилась в путь. На три-четыре месяца, утверждала впоследствии Эльза. Но квартира была отдана московским властям, в нее по ордеру въехала семья «пролетария», все вещи распроданы. Включая рояль, в котором для Елены Юльевны была заключена вся ее жизнь!.. На какое же пепелище собиралась Эльза вскорости возвратиться? На чью крышу- рассчитывала?

Путь лежал через Петроград — мать и дочь отправлялись в Европу русским пароходом, носившим заграничное имя «Онгерманланд». День перед отъездом провели в пустой квартире на улице Жуковского — Елене Юльевне повезло. Пустой она была потому, что в жизни Лили и Маяковского только что произошли принципиально важные перемены: потайной адюльтер превратился в публично заявленное сожительство.

Все трое (включая Осипа) переехали на лето в дачный поселок Левашово. Маяковский работал, отвлекаясь только по вечерам, меняя письменный стол на картежный. Лиля загорала и читала старые книги. Осип тоже читал, меланхолично наблюдая за тем, как разворачивается на его глазах весьма необычный роман. Там, в Левашове, Лиля и объявила ему, что чувства

проверены, что теперь наконец она убедилась в своей «настоящей любви» и, стало быть,

Маяковскому она уже не просто товарищ и друг, а ироде как бы жена. Осип принял, к сведению то, в чем и так не сомневался. Все трое порешили остаться ближайшими друзьями и, как бы ни сложились в дальнейшем их отношения, никогда не расставаться.

Эта новость была доведена до сведения Елены Юльевны и стала тем финальным ударом, который нанес ей Маяковский еще на родной земле. Маяковский? Нет, скорее родная дочь. Во всяком случае, проститься с ней в Левашове она не поехала, тем паче, что Лиля даже не встретила мать на вокзале. У Эльзы были ключи от квартиры на улице Жуковского, все остальное — встречи, проводы и дежурные поцелуи — считалось условностями, чуждыми новой, революционной морали.

Прощаться с сестрой и «дядей Володей» поехала в Левашово только Эльза. «Было очень жарко, — вспоминала она впоследствии. — Лиличка, загоревшая на солнце до волдырей, лежала в полутемной комнате; Володя молчаливо ходил взад и вперед. Не помню, о чем мы говорили, как попрощались... Подсознательное убеждение, что чужая личная жизнь — нечто неприкосновенное, не позволяло мне не только спросить, что же будет дальше, как сложится жизнь самых мне близких, любимых людей, но даже показать, что я замечаю новое положение вещей».

Наутро Лиля спохватилась — новая «мораль» все же не вытеснила полностью дочерние чувства. Примчалась в Петроград, чтобы проститься. Прощание было сухим и жестким. Гнев на милость Елена Юльевна не сменила, Маяковского видеть не пожелала и, вызвав извозчика, отправилась на пристань вместе с Эльзой без чьего-либо сопровождения.

Лиля примчалась — снова одна! — перед самым отплытием, с кульком собственноручно сготовленных драгоценных котлет. Петроград уже тогда голодал, но Лили это пока еще не коснулось.

Пароход отчалил. С каменным лицом и сомкнутыми губами, без единой слезинки в глазах, Елена Юльевна прощалась на палубе с родиной, но не с отвергнутой ею дочерью Лилей, которая одиноко стояла на заваленной мусором безлюдной пристани и махала рукой. Маяковский прятался где-то на задворках, не смея себя обнаружить. Было 4 июля 1918 года Пи оставшиеся, ни уехавшие — никто не знал, что их ждет впереди.

Новая ситуация, в которой оказался дружеский «треугольник», похоже, никак не повлияла на образ жизни всех его «сторон». Левашово жило привычной дачной жизнью, словно совсем рядом, в нескольких километрах отсюда, не происходили

события, сотрясавшие страну, Европу и мир. У каждого в семейном пансионе была своя комната — Маяковский запирался с раннего утра. Он РАБОТАЛ — это магическое слово чтилось Бриками больше всего. Оторваться от письменного стола — днем, а не вечером — пришлось ему лишь однажды.

Все тот же Жак продолжал штурмовать Лилю любовными письмами. Одно из них, полное упреков и ультиматумов, с грозным приказом о немедленной встрече, каким-то образом попало в руки Маяковского. Никого не предупредив, он ринулся в Петроград. Вслед за ним отправились Лиля и Ося. Дома, на Жуковской, они ждали исхода неминуемого скандала. Маяковский вернулся весь в синяках. Оказалось, он «случайно» встретил Жака на улице, тот будто бы бросился на него, требуя отдать ему Лилю, завязалась драка. Милиция задержала обоих, но Жак потребовал тотчас же вызвать своего «ближайшего друга». Громкое имя ближайшего напугало блюстителей революционного порядка: после кратковременной размолвки с большевиками Горький снова оказался в фаворе. Конфликтовать с такой знаменитостью никто не хотел — отпустили обоих. По иронии судьбы ненавистные Маяковскому Горький и Жак избавили и его самого от нежеланных последствии.

Не только противники большевиков, но и сами большевики — по крайней мере, многие из них — вовсе не были еще уверены в том, что новому режиму удастся удержать власть. Надежда на мировую революцию, правда, еще не иссякла, и это стимулировало новую власть преодолевать любые невзгоды, чтобы продержаться до полной победы «пролетариев всех стран». Однако начавшийся голод и невероятные бытовые лишения, кровавые битвы на фронтах гражданской войны, раскол в самом большевистском лагере лихорадили огромную страну, в одной части которой почти ничего не знали о том, что происходит в другой.

И лишь все те, кто считал себя принадлежащим к «левому», то есть не консервативному, не традиционному, не академическому искусству, чувствовали себя в своей стихии, обрели внутреннюю свободу и восприняли большевистский переворот как уникальный шанс для самореализации. Нечто подобное уже было при Парижской коммуне, когда поддержавшие ее художники, актеры и музыканты, не замечая агонии призрачной власти, творили так, будто власть эта утвердилась навеки.

Уединившись в левашовском заточении, Маяковский создавал первую советскую пьесу «Мистерия-буфф», которой было суждено стать и первой пьесой советского автора, поставленной в

советском театре. За это, естественно, взялся Всеволод Мейерхольд: в мире театра он был таким же «бунтарем», каким был в литературе Владимир Маяковский. Строго говоря, не он взялся — ему поручили. И Мейерхольд с радостью принял это поручение новой власти. Тем более что пьеса, которую Маяковский в присутствии наркома Анатолия Луначарского и еще дюжины именитых гостей впервые читал на квартире Бриков 27 сентября, и впрямь зажгла неистового реформатора театра. Восхищение его было столь велико, что он плохо просчитал вполне очевидную реакцию своих коллег, привыкших к совсем иной драматургии, совсем иной театральной эстетике.

Через несколько дней Луначарский поволок Маяковского в бывший императорский Александрийский театр и заставил автора огласить свое сочинение всей труппе. Однако охотников играть в богохульной пьесе практически не нашлось. Вообще, заметим попутно, агрессивная богоборческая тенденция, присутствовавшая едва ли не во всех творениях Маяковского этого периода, несомненно отражала почти не скрываемый им комплекс неудачника: единственным доступным ему оружием — словом — он мстил Богу за то, что тот обделил его любовью любимой...

Мейерхольду, взявшему на себя обязательство поставить пьесу в рекордно короткий срок (за один месяц) — к первой годовщине «Октябрьской революции», — пришлось приглашать актеров из других петроградских театров. Большинство из них было, увы, актерами далеко не первого ряда, готовыми продаться хоть черту, хоть дьяволу, лишь бы получить деньги: один за другим театры прекращали работу, не имея средств даже на то, чтобы отапливать помещение. Никаких других побудительных мотивов, кроме желания подработать, у этих актеров не было. Они не понимали ни смысла пьесы, ни тем более ее усложненной, совершенно не привычной для них формы.

На помощь пришла Лиля, взяв на себя обязанности помощника режиссера. С превеликим терпением она помогала Маяковскому заниматься с актерами, обучая их непривычной стихотворной ритмике и умению хором произносить со сцены пи на что не похожие строки. Преодолеть актерское сопротивление не удалось даже Лиле. Совсем отчаявшись, она призвала на помощь Мейерхольда. Он смог укротить актеров— занятия продолжались...

Как и было обещано, премьера в помещении театра музыкальной драмы состоялась в первую «священную» годовщину — 7 ноября 1918 года. Главную роль — Человека — играл сам Маяковский. Несколько актеров сбежали в последний момент —

не явились на премьеру, «забыв» поставить об этом в известность дирекцию и режиссера. Снова выручил автор: экспромтом сыграл еще роли Мафусаила и одного из чертей, благо весь свой текст он знал наизусть.

Вступительное слово перед спектаклем произнес Луначарский. Зал был переполнен. Лиля сидела неподалеку от Блока — ревниво следила за тем, как он и его жена (драматическая артистка!) реагировали на непривычный текст и столь же непривычную постановку. Успех был ошеломительным. Блок аплодировал вместе со всеми. Особые лавры достались художникам спектакля — Натану Альтману и Казимиру Малевичу. Лиля сияла... Была ли она не права, считая, что успех спектакля — это еще и ее успех?

Никакие триумфы, однако, не могли заслонить убогость и серость быта. Возвращение в город, когда начались осенние холода, заставило вплотную столкнуться с-постылой реальностью: не нашлось даже денег, чтобы расплатиться с хозяином дачного пансиона. Пришлось продать ту самую картину Бориса Григорьева, на которой Лиля была запечатлена в сверл натуральную величину.

Картину купил Исаак Бродский — молодой художник с приличной тогда еще репутацией, который вскорости станет ревностным аллилуйщиком советского режима и главным певцом «ленинской темы». Портрет оказался в надежных руках известного человека, — он никогда не подвергнется никаким гонениям, никаким превратностям судьбы в кровавые сталинские времена. Все полотна из коллекции Бродского полностью сохранились и после его смерти стали экспонатами его музея-квартиры. Бесследно исчез только Лилин портрет: одна из многих загадок ее удивительной жизни...

Жили в складчину, разными способами доставая исчезнувшие из лавок продукты. Маяковский снял комнату для прислуги с отдельным входом на той же лестнице, где жили Брики. Дневная жизнь Лили в основном проходила там, ночная — в «супружеском доме». Этому правилу, о котором все трое заранее договорились, они не изменяли — ни тогда, ни потом.

В интенсивной культурной жизни Петрограда, главным образом в конференциях и совещаниях, в митингах и дискуссиях, Маяковский неизменно участвовал вместе с Осипом Бриком, часто выезжая — опять-таки с ним же — в Москву. Присутствие Лили было естественным: в самые разные комиссии и комитеты она входила теперь уже не как жена Брика и не как «друг» Маяковского, а вполне самостоятельно — на правах активного участника «фронта искусств». Помехой служила порой ее

беспартийность. Приняв активнейшее участие в создании «коллектива коммунистов-футуристов» («комфут»), она не была допущена до формального членства, ибо не имела партийного билета. (Маяковский, кстати сказать, не имел его тоже, но на него почему-то эти ограничения не распространялись.) Ничто, однако, не могло помешать ей «вести беспощадную борьбу со всеми лживыми идеологиями буржуазного прошлого», как сказано было в манифесте «комфутов», который она сочиняла вместе с Осипом и Маяковским.

Петроградская культура хирела с космической скоростью. После бегства ленинского правительства в Москву (март 1918-го) центр культурной жизни, естественно, переместился в новую, то бишь в старую — допетровскую — столицу. Никто в точности не знает, кто из членов семейного триумвирата первым подал мысль о необходимости жить неподалеку от власти. Зная инертность Брика и зависимость Маяковского, можно, не боясь ошибиться, сказать, что инициатива принадлежала именно Лиле. Так или иначе, в первых числах марта 1919 года все трое покинули увядающий город и отправились за «синей птицей» в Москву. Роман Якобсон, у которого были всюду солидные связи, исхлопотал для пришельцев комнату в Полуэктовом переулке, в одной квартире с их другом, художником Давидом Штеренбергом. Комната эта воспета в известных стихах Маяковского: «Двенадцать / квадратных аршин жилья. / Четверо / в помещении — Лиля, / Ося, / я / и собака / Щеник».

Это была самая трудная зима для постреволюционной России. Беспощадный большевистский террор, с одной стороны, гражданская война и блокада — с другой, обескровили богатую некогда страну и ввергли ее в величайший хаос. Голод и холод царили в советской столице. Водопровод и канализация не работали. Маяковский запечатлел и это в своих стихах, рассказав о том, как в уборную ходили пешком через всю Москву — на Ярославский вокзал.

В квартире в Полуэктовом переулке от старых времен сохранился, по счастью, камин: в нем жгли, согреваясь, карнизы, ящики, доски, все, что поддавалось огню и что можно было достать, каминную трубу однажды «заело» — все обитатели, включая собаку, чудом не угорели. От обледеневшей стены спасал висевший на ней ковер с выпукло вышитой уткой. О реальной утке — на обеденном столе — в этом хлебосольном доме пришлось надолго забыть.

«...Только / в этой зиме, — писал Маяковский восемь лет спустя в поэме «Хорошо», — понятной / стала / мне / теплота / любовей, / дружб / и семей». И совсем прямо: «Если / я / чего

написал, / если / чего / сказал — тому виной / глаза-небеса, / любимой / моей / глаза. / Круглые / да карие, / горячие / до гари». Глаза Лили...

У спекулянтов в голодной Москве все же можно было что-то достать— за баснословные деньги. Но денег-то как раз и не было — гонорары платили настолько маленькие, что жить на них не смог бы никто. Лиля приняла и эту реальность, предпочтя дело нытью. Процветал лишь тот, кому было чем торговать. Что мог выставить на продажу человек ее круга? Такой товар Лиля нашла. Собственноручно переписала «Флейту-позвоночник», не забыв отметить на первой странице: «Посвящается Лиле Брик». Маяковский сделал обложку и снабдил сей уникальный манускрипт своими рисунками. Этот поистине исторический экземпляр Лиля отнесла букинисту, — тот знал толк в раритетах, тотчас нашел покупателя, который щедро расплатился за доставшуюся ему реликвию. Целых два дня Брикам и Маяковскому было что есть...

Лето, как всегда, принесло облегчение: земля спасала изголодавшихся людей своими дарами. Добровольческая белая армия генерала Деникина приближалась к Туле, откуда рукой подать до Москвы. Но здесь, в красной столице, жизнь шла своим чередом. Как и многие москвичи, Брики к Маяковский сияли подмосковную дачу, не изменит давним традициям состоятельных горожан. Выбор пал на поселок Пушкино, где некая гражданка Румянцева отдала им на дачный сезон (не даром, конечно) «избушку па курьих ножках», тоже воспетую позже в стихах ее знаменитого постояльца. Тут же поселился и Роман Якобсон.

Питались грибами — лес с дармовой и однообразной едой подступал почти к самой дачке, отделенный от нее лишь живописным лугом. Маяковский много работал, Лиля безотлучно находилась при нем. Это был, вероятно, хоть и очень короткий, но самый спокойный, не замутненный ничем период их отношений. То и дело поэт отрывался от бумажного листа, и тогда устраивали розыгрыши, дурачились, вели себя так, словно и не шла совсем неподалеку братоубийственная война.

Как-то в саду играли в крокет. Был знойный, солнечный день. Зная, как идет ей смуглая кожа, Лиля избавила себя от излишней одежды, которая, как известно, лишь мешает загару. Какой-то зевака сто-' ял у забора и пялил на нее глаза. Она весело заорала: «Что, голую бабу не видел?» И приготовилась расстаться с остатками тряпок на теле. Зевака срочно ретировался. Маяковский смотрел на нее с восхищением: к зевакам он не ревновал...

Для ревности, похоже, с обеих сторон тогда не было никаких оснований. Старые Лилины воздыхатели отодвинулись на задний план, заслоненные могучей фигурой Владимира Маяковского, ушли в прошлое и его прежние связи. Только чти покончила с собой молодая женщина с трагической судьбой, которая совсем еще, в сущности, недавно занимала в жизни Маяковского заметное место. Предположительно именно она, художница Антонина Гумилина, автор фантастико-эротических картин, была прообразом Марии в четвертой части поэмы «Облако в штанах». Свою ревность к ней Лиля перенесла даже ни человека, который Тоне заменил Маяковского: художник Эдуард Шиман почему-то вызывал у Лили стойкое отвращение. Этот факт заслуживает быть отмеченным только в одной связи: все, что хотя бы косвенно напоминало ей о других женщинах в окружении Маяковского, вызывало бурную, подчас совершенно неадекватную реакцию с ее стороны. Тогда... Вскоре станет совсем по-другому...

Идиллия на то и идиллия, что она краткосрочна, безмятежность подмосковного лета сменилась после возвращения в город суматошным повседневьем. Без всяких видимых причин отношения обострились: Лиля устала от постоянного присутствия Маяковского, и он тоже, чувствуя это, стремился к уединению. На помощь опять пришел Якобсон: помог Маяковскому получить отдельную комнату в Лубянском проезде — ту, которая сохранится за ним до самого конца. Сам Якобсон жил в том же доме — дверь в дверь. Другие жильцы квартиры Маяковскому не досаждали, психологически он чувствовал себя в своей берлоге. Лиля не посягала на его одиночество: в мемуарной литературе о Маяковском нет никаких свидетельств об их совместном пребывании в Лубянском проезде.

Именно в эти дни ранней осени 1919 года у Лили впервые — и, судя по всему, единственный раз — появилась мысль об эмиграции. К политике это не имело ни малейшего отношения. С советской властью она легко находила общий язык, ощущая ее СВОЕЙ властью, открывшей простор для любых экспериментов в искусстве: никаких притеснений от новых хозяев страны не ощущала, испытывая лишь бытовые неудобства. Пример сестры, оказавшейся в Европе и наслаждавшейся — пусть и убогим, послевоенным, но, однако же, несомненным — комфортом, казался заманчивым. Судьба Эльзы разворачивалась тем временем по иному сценарию, совсем не похожему на тот, с которым она покинула Петроград.

Уехала Эльза, как мы помним, к своему жениху лишь для того, чтобы сочетаться с ним законным браком и «месяца через

три-четыре» вернуться домой. Пришлось задержаться в Норвегии, дожидаясь английской визы: советский «паспорт» границы не открывал. Английской потому, что Андре Триоле ожидал невесту на берегах туманного Альбиона. Что мешало ему самому приехать в Норвегию, почему мать и дочь добивались английской, а не французе кой визы, об этом мы никогда не узнаем: в записках Эльзы таких сведений нет. Не узнаем мы и о другом «пустяке»: на какие все-таки деньги две женщины жили несколько месяцев в совершенно чужой стране? Как и еще об одном: зачем Эльза все равно поехала в Англию, хотя к тому времени Андре Триоле давно уже переместился в Париж?

Загадки этого путешествия на том не кончаются. Елена Юльевна осталась в Лондоне и поступила работать в советское учреждение «Аркос» (All Russian Cooperative Society Ltd), которое выполняло тогда функции торгового представительства и одновременно являлось каналом для связи между английским правительством и самозваной властью большевиков, не признанной де-юре ни одной из влиятельных стран. Естественно, «Аркос», работавший отнюдь не только на Англию, с самого начала служил «крышей» для советских спецслужб, энергично начавших внедряться в различные западные структуры.

Каким образом дама непролетарского происхождения, вообще ни одного дня не состоявшая ни на какой службе, — домашняя учительница музыки, и только! — оказалась на столь боевом посту, об этом сведений нет. Даже фальшивых... В некоторых источниках невнятно и глухо говорится о том, что ей помогло знание языков и что устроилась она на эту работу с помощью Лилиных связей. Какие именно связи помогли Лилиной матери получить столь теплое место под солнцем, ответа на этот вопрос мы не имеем. Обе сестры деликатную тему предпочли обойти стороной.

Очевидно одно: возвращаться в «совдепию» Елена Юльевна не пожелала. И за Эльзой, отправившейся в Париж, не последовала тоже, хотя покинула родину вроде бы как раз для того, чтобы сопровождать свою дочь и участвовать в церемонии ее бракосочетания. Андре ждал невесту в Париже, и лишь через год с лишним после того, как Эльза выехала из советской России для регистрации брака, таковая наконец состоялась. Мадемуазель Каган превратилась в мадам Триоле и под этим именем осталась в жизни и литературе.

В эмиграцию отправился и Роман Якобсон, которого Эльза отвергла. Он получил «научную командировку» в Прагу, где осело множество русских изгнанников, главным образом гуманитарных профессий. Научная командировка была тогда самой удачной

формой легального отъезда: больше половины «командировочных» в «совдепию» так и не вернулись. Перед отъездом Якобсон, хорошо знавший о настроениях Лили, предложил ей фиктивный брак, чтобы простейшим способом открыть и для нее дорогу в свободный мир. Впоследствии он говорил, что задуманное мероприятие лишь «случайно не получилось»: формула эта не слишком понятна и позволяет ее комментировать каждому на свой лад.

Год спустя, 19 декабря 1920 года, Роман Якобсон писал Эльзе из Праги в Париж, чуть-чуть приоткрыв завесу над тем, что происходило в жизни ее сестры: «Лиле Володя давно надоел, он превратился в такого истового мещанского мужа, который жену кормит-откармливает. Разумеется, было не по Лиле. Кончилось бесконечными ссорами: Лиля готова была к каждой ерунде придраться <...>. У Лили неминуемо apres le beau temps дождик <...>. К осени 1919 разъехались, Володя поселился со мной <на Лубянском проезде>, а зимой разошлись».

Про «омещанивание» Маяковского Якобсон сообщает конечно же со слов Лили — вот уж что совсем непохоже на этого лютого ненавистника мещанства в любом его проявлении! Нелепым представляется утверждение про «откармливание» жены— когда?! В полуголодное лето 1919 года... Если уж кто кого откармливал, то скорее Лиля Маяковского, а вовсе не он ее.

Очень сомнительно выглядит и другая версия, существующая в мемуаристике: будто бы Маяковский слишком «обольшевел» и вступил в противоречие с Лилиными убеждениями. Таковых в ту пору за ней и вовсе не наблюдалось — она не была ни за большевиков, ни против и, уж во всяком случае, зацикленная на любовных переживаниях, не могла принимать важных решений по мотивам идеологическим.

Скорее всего, разочаровавшись в своем окружении, не видя перспектив для кардинальных жизненных перемен, двадцативосьмилетняя Лиля решила оборвать унылую череду дней и начать новую жизнь в милом ее сердцу западном экстерьере. О том, что это было именно так, свидетельствует стихотворный экспромт Бориса Пастернака на подаренной ей в те дни рукописи поэмы «Сестра моя — жизнь».

Пастернак переживал тогда кратковременное увлечение Лилей — к таким мимолетным вспышкам страстей ей было не привыкать. Влюбленность эта, похоже, не имела естественного развития до «победного» конца, зато вошла еще одной страницей в бурную биографию Лили. Зная цену раритетам, она попросила влюбленного в нее поэта переписать свою поэму от руки и сделать ей дарственную надпись. Вместо посвящения Пастернак

оставил стихотворный экспромт, смысл которого трудно понять, не зная все то, о чем сказано выше: «Пусть ритм безделицы октябрьской / Послужит ритмом / Полета из головотяпской / В страну, где Уитман. И в час, как здесь заблещут каски / Цветногвардейцев, / Желаю вам зарей чикагской / Зардеться».

Из этой сумбурной на первый взгляд надписи можно извлечь богатую информацию. Судя по дате, дело происходит в октябре 1919-го, именно тогда, когда Якобсон готовился к поездке за границу. Лиля собирается покидать «головотяпскую» страну, то есть такую, где не приходится рассчитывать на разумную и цивилизованную жизнь. «Цветногвардейцы» — это эвфемизм «красногвардейцев», ибо «белогвардейцы» не могут быть «цветными»: белое всегда белое, а не цветное. Именно предстоящий «блеск» их касок пугает и поэта, и ту, к которой обращены его строки. И наконец, чикагская заря вкупе с четким указанием «страны, где Уитман», не оставляют ни малейших сомнений относительно того, куда Лиля Юрьевна собиралась держать путь. Почему эта европейская женщина остановила свой выбор на Америке, мы не знаем, да существенного значения это, пожалуй, и не имеет. Возможно, потоку, что именно Америка ассоциировалась тогда с полным отрывом от своего прошлого, с возможностью начать совершенно новую жизнь. С нуля...

С нуля она не начала: если после хорошего времени бывает дождик, то и после дождика — хорошее время. Примирение состоялось. Немалую роль сыграло и то, что Маяковскому было теперь, где от дохнуть от нее, а ей отдохнуть от его присутствия. Повседневное общение в тесноте убивало любые чувства, и вряд ли в этом можно винить кого-либо из них. Каждый являлся по-своему яркой индивидуальностью, тривиальное бытовое сожительство было отнюдь не ко благу.

Она продолжала кружить голову мужчинам, Маяковский этому пе мешал. Один мемуарист, не называя имени очередного обожателя, рассказывает о том, как Лиля отправилась с ним в Петроград. На обоих пришлась одна лавка, легли голова к ногам, и тот — при погашенном свете — «впился ей в ноги». Ничего не добившись, «бегал за ней в городе, как полоумный», надеясь преуспеть на обратном пути. Купе на двоих вселяло надежду— ее разбил случайный попутчик. Лилин знакомый — поэт Борис Кушнер — оказался хоть и с билетом, но без определенного места. Обожателя отослали спать на верхнюю полку, а на нижнюю Лиля легла вместе с Кушнером: по той же «модели»— голова к ногам. Теперь уже Кушнер «впивается в ноги» и получает тот же афронт...

Эти маленькие приключения вносили разнообразие в жизнь, ничего не меняя по сути. Впрочем, они все время позволяли ей чувствовать себя желанной и обожаемой, и это ощущение поднимало жизненный тонус, не давая ей права хандрить. Один из «новеньких», появившийся на ее горизонте, резко выделялся из общего ряда. Это был Николай Пунин, искусствовед и художественный критик. Ему едва перевалило за тридцать, но он уже был хорошо известен своими книгами о японской гравюре, о русских иконах, как и своими эссе о современном искусстве. Революция сделала его комиссаром при Русском музее и Эрмитаже, потом он стал ближайшим сотрудником наркома просвещения Луначарского, ведая работой музеев и охраной памятников культуры. Вскоре (в 1923 году) он станет мужем Анны Ахматовой, которая, мягко говоря, не слишком жаловала Лилю. Одна из причин, несомненно, — «позорная» страница биографии Лунина: он был околдован Лилей и имел мужество никогда этого не скрывать.

«...У нее торжественные глаза, — записал он в своем дневнике, — есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками. <...> Эта самая обаятельная женщина много знает о человеческой любви и любви чувственной». Ахматова впервые увидит ее через два года, уже став женой Лунина. Увидит случайно, в театре, и оставит свои впечатления о ней, совпадающие — даже лексически — с впечатлением Лунина, но окрашенные совсем иным чувством: «Лицо несвежее, волосы крашеные и на истасканном лице наглые глаза».

Еще не расставшись с первой молодостью, Лиля переживала тогда вторую. В нее влюблялись безоглядно, мало кто мог, встретившись с нею, остаться равнодушным к магии ее шарма, который притягивал как магнит людей самых разных вкусов и интересов. Многие годы спустя писатель Вениамин Каверин рассказывал интервьюеру, вспоминая 1920 год: «Как-то <в Петрограде> я был у Шкловского. Туда пришел Маяковский с Лилей Брик — прелестной, необыкновенно красивой, милой женщиной, которая мне очень нравилась тогда. Она была очень молода и хороша».

Примерно такими же словами вспоминали о ней того времени и другие люди из мира культуры, имевшие счастье, хотя бы и мимолетно, встретить ее и свести знакомство. Корней Чуковский попытался загладить вину и всячески демонстрировал свое расположение. После долгих уговоров ему удалось зазвать Лилю и Маяковского в Петроград, соблазнив поэта возможностью жить в комфортабельном «Доме Искусств», славившемся своей бильярдной. Перед таким соблазном Маяковский не устоял.

Лиля «держится с ним, — записал в дневнике Чуковский, — чудесно: дружески, весело и непутанно. Видно, что связаны они крепко — и сколько уже лет: с 1915. Никогда не мог я подумать, чтобы такой ч[елове]к, как Маяковский, мог столько лет остаться в браке с одною. Но теперь бросается в глаза именно то, чего прежде никто не замечал: основательность, прочность, солидность всего, что он делает. Он — верный и надежный ч[елове]к; все его связи со старыми друзьями, с Луниным Шкловским и проч. остались добрыми и задушевными».

Эти восторги имели, увы, мало общего с реальностью. Прочности и солидности в его отношениях с Лилей, к сожалению, не было, как и не было задушевности в «связях» с поименованными «и пр.» друзьями. Но, скорее всего, Чуковский не просто выдавал желаемое за действительное. Он искренне так полагал, поскольку Маяковский старался создать именно такую видимость, и Лиля усердно в этом ему помогала, Во всяком случае, ни малейшего сомнения в том, что Лиля жена Маяковского, у Чуковского не было, и оба московских гостя делали все, чтобы создать о себе именно такое впечатление.

«Прибыли они в «Дом Искусств» часа в 2, — записывал в дневник Чуковский. — Им отвели библиотеку — близ столовой — нетопленную. Я постучался к ним в четвертом часу. Он спокоен и уверенно прост. Не позирует нисколько. Рассказывает, что в Москве «Дворец Искусства» называют «Дворец Паскудства», а «Дом Печати» зовется там «Дом Скучати» <...>».

Чуковский суетился, окружив гостей, перед которыми чувствовал вину, особой заботой. В голодном Петрограде для них был устроен и обед, и ужин, При огромном стечении публики состоялся поэтический вечер, Лилю усадили на «королевское» место в первом ряду. Ее окружали литературные знаменитости бывшей столицы: Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Евгений Замятин, Георгий Иванов, влюбленный Николай Пунин, художники и артисты. Молодежь потребовала читать «Облако в штанах». «Посвящается Лиле Юрьевне Брик», — громко возвестил Маяковский, отвесив Лиле поклон.

...Тем временем в положении семейного триумвирата произошли серьезные изменения. На первый взгляд они не казались значительными: просто Осип получил новую работу. К таким переменам в ту пору было не привыкать: мало кто задерживался на том или другом посту сколько-нибудь долгий срок. Но, как бы к этому ни относиться и сколь бы малое значение ни придавать, должность, нежданно полученная Осипом, никак не относилась к числу рядовых. 8 июня 1920 года политотдел Московского ГПУ выписал ему сохранившееся в

архиве служебное удостоверение, подтверждающее, что Осип Брик назначен юрисконсультом зловещей ЧК, одно имя которой наводило ужас на миллионы людей.

С понятием «юрисконсульт» связано вполне конкретное представление о функциях человека, который занимает эту должность. Он должен способствовать соблюдению законов учреждением, в котором работает, и защищать его интересы — опять-таки с помощью законов — в различных инстанциях и организациях. Насчет соблюдения законов Лубянкой можно говорить, разумеется, лишь с печальной улыбкой, а «интересы» свои она защищала где бы то ни было любыми средствами, но отнюдь не законами. И при чем тут политотдел? Юрисконсульт работает при руководителе ведомства, он связан с его финансовой частью, но отнюдь не с политвоспитателями и пропагандистами-агитаторами.

Какие же функции выполнял на Лубянке юрисконсульт, давным-давно забывший о своем юридическом дипломе и отдавший всего себя изучению языка, то есть ставший профессиональным, причем высокого уровня, филологом и лингвистом? С работы он возвращался чуть ли не за полночь, и Лиля, вспоминают многие мемуаристы, нередко говорила гостям: «Подождите, будем ужинать, как только Ося придет из Чека». При этих словах Пастернака бросало в дрожь.

Видимо, не без оснований. В годы своей чекистской службы, а тем более впоследствии, уже покинув пост, Осип любил рассказывать о кровавых пыточных ужасах, коим был свидетель. Иные слушали, другие предпочитали не вникать в столь живописные подробности. Каким же образом юрисконсульт не только знал об этих пытках, не только был их свидетелем, но вообще находился в том помещении, где экзекуторы занимались своим ремеслом? Ведь его контора — вряд ли это надо доказывать — должна была быть отделена от тех мрачных подвалов, где свирепствовали солдаты «железного Феликса»,

И все же главный вопрос состоит в другом. Он тоже почему-то замалчивается всеми, кто прикасается к этой загадке. Каким образом сторонний человек оказался на таком посту? Ведь на работу в это ведомство не брали по объявлению. Нельзя было постучаться в дверь отдела найма и предложить свои услуги. На Лубянку могли лишь ПРИГЛАСИТЬ, причем правом на подобное приглашение обладал человек, занимавший в этом ведомстве достаточно высокое положение. Напрашивается один-единственный вывод: или Осип, или Лиля, или Маяковский, или, наконец, кто-либо из их самых близких друзей имел тесные связи в лубянских верхах и мог «навести» эти верха на вполне

надежного и достойного кандидата.

О такого рода деликатных контактах Бриков и Маяковского нам предстоит еще говорить достаточно подробно. Все высокоответственные лубянские товарищи появятся в ближайшем окружении этой семьи гораздо позже — во всяком случае, о более раннем знакомстве ничего достоверного не известно. И однако же, вполне очевидно: никак не позже начала 1920 года кто-то из гвардейцев Феликса Дзержинского — по крайней мере один, а возможно, и больше — уже был на короткой ноге с домом Бриков и рекомендовал Осипа на престижный в те годы пост. Занять его мог человек, облеченный высоким доверием большевистских властей.

Не случайно Сергею Есенину приписывали тогда такую эпиграмму: «Вы думаете, что Ося Брик — исследователь русского языка? А на самом деле он шпик и следователь ВЧК». Весьма возможно, что эпиграмму эту сочинил не Есенин. Весьма возможно, что следователем ВЧК Осип не был. Важно то, что такая эпиграмма тогда появилась, отражая отношение литературных кругов к неожиданно возникшему новому статусу коллеги с вполне порядочной репутацией.

Прямым следствием этой метаморфозы — по крайней мере, хронологическим — является переезд Бриков из тесного жилья в Полуэктовом переулке в большую квартиру в Водопьяном: в самый центр Москвы, на угол Мясницкой улицы, напротив Главного почтамта. Квартира была коммунальной — других в Москве тогда попросту не существовало (разве что для самой-самой кремлевской знати).

Брикам и Маяковскому достались две большие смежные комнаты с пятью окнами и красивой изразцовой печью. В первой стоял черный рояль — на нем иногда играли, но чаще он служил столом для рисования. Впрочем, Маяковский предпочитал рисовать плакаты со своими стихотворными подписями прямо на полу. Стены покрасили голубой краской — одну из стен украшала клетка с канарейкой. Ее принес Маяковский, бросая таким образом вызов набившим оскомину штампам: в ходу было твердое убеждение (оно отражено и в литературе), что канарейка, фикус и семейство из семи мраморных слоников являются безусловной атрибутикой махрового мещанства.

На всю квартиру был один телефон, и соседи, имея отводную трубку, не стесняясь, сопели в нее, подслушивая «интересные» разговоры новых жильцов. Подвергшийся уплотнению хозяин квартиры, теперь уже бывший, — «Боб» Гринберг — остался в добрых отношениях и с Бриками, и с Маяковским, стараясь не раздражать влиятельных квартирантов, олицетворявших собою

новую власть. Через несколько лет ему удастся эмигрировать в Америку, где еще позже он станет издателем альманаха «Воздушные пути», который оставит заметное место в истории русской эмигрантской литературы.

Квартира в Водопьяном, где созданный Лилей «творческий» беспорядок тоже по-своему отражал эстетику революции, перевидала великое множество знаменитостей, которые пользовались здесь полной свободой слова и поведения. Борис Пастернак, Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Казимир Малевич я другие виднейшие представители нового искусства покидали квартиру в Водопьяном лишь для того, чтобы уступить место очередным гостям, для которых всегда был здесь и стол, и дом, и постель.

Лиля и Маяковский вместе создавали плакаты РОСТА (Российское телеграфное агентство, будущий ТАСС). Маяковский обычно делал контуром рисунок плаката, а Лиля его раскрашивала. «Наклоняясь над столом, — вспоминал один из очевидцев, — она, то мелко-мелко водя тонкой кистью, то плавным мазком накладывая одну краску, тщательно и ловко заполняла контуры плакатов, сделанные Маяковским. В просветы его рукой было вписано: «красная», «синяя», «зеленая». Иногда Лиля предлагала менять краску, он всегда соглашался, но не сразу, а подумав». Лиля «была для меня, — продолжает тот же мемуарист, — не «простой смертной», — она казалась человеком с другой планеты, ни на кого не похожей: ни лукавства, ни притворства, всегда сама собой», Эти слова принадлежат одной из лучших переводчиц западной литературы на русский язык Рите Райт, утверждавшей, что Маяковский горячо симпатизировал ей именно за то, что она поняла и полюбила Лилю. Скорее всего, так оно и было.

Его отношение к Лиле характеризует и свидетельство Виктора Шкловского. Однажды, вспоминал он, Маяковский был с Лилей в кафе «Привал комедиантов». Уходя, Лиля забыла сумочку, и Маяковский вернулся за ней. Поблизости сидела другая знаменитая женщина тех революционных лет — журналистка Лариса Рейснер. Она печально посмотрела на Маяковского. «Теперь вы будете таскать эту сумочку всю жизнь», — с иронией сказала она. «Я, Лариса, эту сумочку могу в зубах носить, — ответил Маяковский. — В любви обиды нет».

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Служба Осипа в ЧК приносила свои дары. Именно через него Пастернак выхлопотал для своей сестры Жозефины разрешение на выезд в Германию, чем та и воспользовалась, отправившись в Берлин транзитом через Ригу. Вслед за ней, осенью 1921 года, прямиком в Германию отправились и родители Пастернака с его младшей сестрой Лидией. Конечно, «юрисконсульт ГПУ» сам никаких разрешений давать не мог, но эта скромная должность обеспечивала главное: связи. Благодаря им он ее получил, благодаря им же оказывал услуги друзьям. Могущество советской тайной полиции было тогда уже для всех очевидным, тесное знакомство с влиятельными чекистами, а тем более служебная причастность к их среде обеспечивали блага, не доступные простым смертным. В этом вполне понятном желании приблизиться к хозяевам жизни не было никакого фарисейства. И Брики, и Маяковский, и все те, кто входил в их круг, получили от новой власти те возможности для самовыражения, которые они — вполне искренне, между прочим, — считали подлинной свободой. Почему бы в таком случае не сотрудничать с самой мощной организацией, эту власть охраняющей?

Хотелось, конечно, большего. Хотелось приобщиться не только к охранникам, но и к самим охраняемым. Зимой 1921 года в квартире в Водопьяном решили реанимировать увядший петроградский «комфут» — сделать его московским, и уже не на партийной основе. Признав себя «определенным культурно-идеологическим течением», коммунисты-футуристы создали свой комитет под председательством Осипа при секретаре Лиле Брик. Кроме них и Маяковского, туда вошли Мейерхольд, художники Натан Альтман и Давид Штеренберг и другие единомышленники. Всевозможных «комитетов» расплодилось тогда великое множество. Этот отличался лишь тем, что его составили подлинные таланты и что равное место среди них заняла Лиля Брик — человек без какой-либо определенной творческой профессии: не литератор, не художник, не режиссер или артист и, однако же, в этом союзе значивший больше, чем все остальные...

Она, а не кто-то другой, надумала и пробиться в верха. В самые-самые... В апреле «комфуты» отважились сделать Ленину щедрый подарок — новую книгу Маяковского «150 000 000», включавшую поэму с тем же названием. За дарственной надписью «Товарищу Владимиру Ильичу с комфутским приветом» следовала подпись не только автора, но еще и шести других «комфутов», причем Лиля шла сразу же за Маяковским.

До Ленина книга дошла, и — что совсем поразительно — он ее прочитал. Результатом были несколько ленинских записок наркому просвещения Луначарскому и заместителю наркома Михаилу Покровскому с выговором за поддержку футуризма и за издание поэмы, полученной им в подарок. «Это хулиганский коммунизм. <...> Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность» — так оценил вождь революции коллективный комфутский порыв.

Не похоже, чтобы его инвективы очень уж огорчили «комфутов». Впрочем, может быть, об этих ленинских суждениях они тогда и не знали. Просто вождь им не ответил, но ведь он и в самом деле был перегружен работой, тем более в столь судьбоносный момент: еще не полностью завершилась гражданская война, а изголодавшаяся, измученная страна только-только вступила в нэп...

Ни симпатий Лили к коммунистической верхушке, ни восторга перед чекистской гвардией поколебать ничто не могло. Ее преданность власти осталась все той же. Есть мнение, что свою роль сыграл не только житейский расчет, но и эстетический выбор: революция была частью модерна. Эта общая позиция людей ее круга, причислявших себя к левому искусству, дополнялась тем, что имело касательство лично к ней: женщина до мозга костей, она инстинктивно тяготела к победителям. Не просто к властвующим, а к тем, кто настойчиво боролся за власть и сумел ее захватить.

Как истинная женщина, она ревниво следила за самой знаменитой тогда представительницей прекрасного пола, покорившей Москву, за той, чье имя было у всех на устах. В июле 1921 года из Европы в советскую Россию прибыла прославленная Айседора Дункан, по-своему тоже бросившая вызов классическому искусству. Кремлевская верхушка, прежде всего тог же неугомонный нарком Луначарский, носилась с ней как с писаной торбой.

Айседору поселили в роскошных апартаментах на Пречистенке, где теперь помещается Управление по обслуживанию дипломатического корпуса. О богемных похождениях завсегдатаев этих апартаментов — поэтов Сергея Есенина, Анатолия Мариенгофа, художника Георгия Якулова и других — говорила тогда «вся Москва». Водка на Пречистенке лилась рекой, порой вынуждая гуляк терять человеческий облик.

А в тесных комнатенках Бриков — Маяковского в Водопьяном, уже тогда с чьей-то легкой руки брезгливо прозванных литературным салоном, любое проявление богемности вызывало стойкое отвращение. Алкоголем там тоже

не пренебрегали, но пьяных не было никогда: в этом «салоне» жили совсем иными интересами, не видя никакой необходимости растрачивать поэтический талант на загулы и драки.

Ревность Лили к Айседоре была «дважды» естественной: обе не только претендовали на особое место в постреволюционной культуре, но и связали свою судьбу с двумя самыми знаменитыми русскими поэтами, каждый из которых вращался в совершенно различной среде и имел аудиторию, напрочь не совместимую с аудиторией конкурента. Разница состояла еще и в том, что, безоговорочно поддерживая власть и ее носителей, Лиля не теряла голову и руководствовалась точным расчетом, тогда как Айседора полностью находилась во власти романтических иллюзий, внушенных ей богатым воображением.

Случайно встретив во время прогулки одного из представителей советской верхушки, Николая Подвойского (он руководил тогда военной подготовкой гражданского населения), Айседора так отозвалась о нем в одной из своих статей: «Как Прометей, этот человек должен дать людям огонь для их возрождения... Это богоподобный человек, это великая душа, это человек с сердцем Христа, с разумом Ницше, с кругозором человека будущего».

В такой фанатичный экстаз, в такой едва ли не пародийный восторг Лиля никогда не впадала, подобные славословия никому не адресовала, ни к чьим стопам не припадала. Чуждая политической экзальтации, она, при всем ее конформизме, обладала той мерой вкуса, которая ни за что не позволила бы ей унизиться до столь смехотворной риторики.

Существовали между ними и другие отличия: Лиля не была столь знаменитой женщиной, как Айседора, и, похоже, отнюдь не стремилась ею стать. Внутренняя свобода, которой она обладала и раньше, теперь как бы получила опору в том общественном климате, который утверждался новой действительностью. Айседора, при всей ее революционности, связала себя в Москве с Сергеем Есениным узами тривиального «буржуазного» брака, тогда как Лиля, даже будучи формальной женой Осипа Брика, никаких уз не признавала и каждый раз считала своим мужем того, кто был ей особо близок в данный момент. Айседора безумно ревновала Есенина к любой юбке, а юбкам в его окружении поистине не было числа. Лиля относилась к таким дежурным «изменам» совершенно спокойно, не испытывая при этом ни злости, ни мук.

Маяковский только что пережил легкий флирт с художницей Елизаветой Лавинской, которая, как и ее муж, художник Антон Лавинский, работала с ним в «Окнах РОСТа», создавая

агитплакаты. Антон отбыл в длительную поездку на Кавказ, а вернувшись, обнаружил дома новорожденного мальчика, уже получившего ими Никита. Злые языки утверждали, что мальчик — сын Маяковского. Даже если это не так, какие-то основания для подобной молвы, разумеется были. Но на отношениях между Лилей и Маяковским заурядный адюльтерчик никак не сказался. Никак не сказался — по крайней мере, при жизни Маяковского — и на отношениях между Лилей и четой Лавинских. Все они продолжали дружить «домами» — в полной гармонии с теми идеями любовно-семейной коммуны, которые вошли тогда в моду.

Лилю занимали совсем другие проблемы. Она готовилась к поездке в Ригу — это был ее первый выезд за границу за последние десять лет. Латвия только что обрела независимость, стала «нормальной» европейской державой, приютившей у себя огромное число русских эмигрантов, прежде всего из культурной среды. Там обосновались русские издатели и журналисты. Свободная пресса и не зажатые цензурой книги доставляли соответствующим советским службам много хлопот. Именно Латвия — наиболее близкая, наиболее доступная и сильно русифицированная страна — для многих оказавшихся в советской клетке стала истинным окном в Европу.

...Поездка состоялась в начале октября 1921 года. Многие обстоятельства, связанные с ней, до сих пор окутаны тайной. Несомненно одно: Лиля действительно отправилась в Ригу за. английской визой, чтобы навестить обосновавшуюся в Лондоне мать и восстановить отношения с нею. Советская Россия еще не была тогда признана Англией, ближайшее английское консульство находилось в Риге. Лиля заведомо знала, что и в самом худшем случае ждать визу придется не один день, поэтому попутно она взялась найти там издателя для Маяковского. В условиях нэпа, утверждает один из его биографов, и из-за травли, которой его подвергли, Маяковский искал издателей и признания за рубежом.

Между тем именно в условиях нэпа, когда, как грибы после дождя, вдруг расплодились десятки новых издательств, напечататься стало гораздо легче, чем в пиру жесткой государственной монополии. Никакой травле Маяковского еще не подвергли: секретный отзыв Ленина, высказанный двум членам правительства (он стал достоянием гласности лишь в 1958 году), ничуть не повлиял на популярность Маяковского и на его творческую активность. Известны, по крайней мере, тридцать шесть его авторских вечеров в течение года. Он участвовал в грандиозных поэтических манифестациях, которые проходили в

крупнейших аудиториях Москвы и Харькова (тогда столица Украины). «Мистерию-буфф» заново поставили в Москве и других городах, причем всюду она шла при полном аншлаге десятки раз. Пи случаю Третьего конгресса Коминтерна приятельница Маяковского и Лили Рита Райт перевела «Мистерию-буфф» на немецкий язык, и она трижды была исполнена для делегатов и гостей при огромном стечении публики. Несколько странно назвать все это травлей...

Стремление Лили вырваться к матери в Лондон вполне объяснимо. Там к этому времени снова оказалась и Эльза. Она успела провести с Андре год на Таити, написать об этом книгу путевых очерков, вернуться во Францию, развестись с мужем (пока еще фактически, а не юридически), почему-то скрыть этот развод от сестры и осесть на короткое время в Лондоне, чтобы скрасить там материнское одиночество, которым, судя по всему, Елена Юльевна не очень-то тяготилась. Конечно, встретиться с матерью и сестрой в Лондоне было бы для Лили большой удачей. Но, оставшись в Риге на целых четыре месяца, английской визы она так и не дождалась. Зато нашла издателя для Маяковского — тот даже выслал ему в Москву небольшой аванс.

В чем же тогда состоит тайна ее поездки? Приходится поставить вопросы, которые обычно не задают, поскольку они считаются как бы не деликатными. Каким образом, под каким предлогом выехала она за границу? Как любому понятно, без участия «соответствующих» компетентных властей поездка состояться бы не могла, На какие деньги Лиля собиралась жить за границей? Советский рубль все еще представлял собой не более чем клочок бумаги (так называемый «золотой», то есть конвертируемый, червонец ввели годом позже), обменять его на валюту можно было только по специальному распоряжению или кремлевских, или лубянских властей. Даже в самом лучшем случае обмену подлежала лишь крайне ничтожная, едва ли не символическая, сумма. Но никаких денежных затруднений в Риге Лиля, видимо, не имела. И не только потому, что провернула выгодное «дельце», продав за хорошие деньги рижскому филателисту все еще считавшиеся экзотикой советские почтовые марки. И не только потому, что, как писала она Маяковскому, рижане давали ей деньги в долг.

Провожая Лилю на вокзале в начале октября, Маяковский встретился с одним пассажиром, следовавшим в Ригу тем же поездом. И даже в том же вагоне. Это был Лев Эльберт, Маяковскому вроде бы уже известный. Впоследствии этот «меланхолический человек, медлительный и невозмутимый» (так опишет его Василий Абгарович Катанян) войдет в биографию

Маяковского под прозвищем Сноб «за манеру цедить слова». По общепринятой версии, он работал в Главном политическом управлении наркомата путей сообщения (Главполитпуть) и заказывал Маяковскому агитплакаты для своего ведомства (такие плакаты действительно существуют). На перроне Маяковский узнал, что его бывший «работодатель» неожиданно стал дипломатом, работает в наркоминделе и направляется в Ригу по служебным делам.

Эту версию теперь приходится пересмотреть. «Виновником» пересмотра является журналист Валентин Скорятин, который ввел в оборот очень большое количество новых, дотоле никому не известных архивных документов, побудивших иными глазами увидеть многие страницы биографий главных героев этой книги. К сожалению, его упорный и плодотворный поиск был продиктован стремлением во что бы то ни стало найти доказательства в подтверждение априорной версии о том, что Маяковского убили советские спецслужбы. Но ошибочность (или пусть лишь сомнительность) поставленной журналистом цели не лишает ценности те находки, которые сделаны им в ходе своих архивных раскопок. Они существуют сами по себе как объективная реальность, отвечая на одни загадочные вопросы и порождая много других, не менее загадочных.

В архиве Моссовета (почему-то именно там! Никогда не знаешь, в каком именно советском архиве вдруг наткнешься на что-то важное...) Скорятин нашел послужной список Эльберта, написанный им собственноручно. Из него с совершенной очевидностью вытекает, что Эльберт никогда не служил в Главполитпути, а в те годы, когда он якобы заказывал Маяковскому агитплакаты, вообще был далеко от Москвы, находясь на довольно высокой (по провинциальным меркам) милицейской и военной работе в Белоруссии и на Урале. И лишь в 1921 году — непосредственно перед поездкой в Ригу— сделал внезапный карьерный скачок, став особоуполномоченным иностранного отдела ВЧК... Отдел этот создан в последних числах 1920 года с одной исключительно целью: развернуть шпионскую работу и «профессионально» заниматься международным террором, уничтожая за границей неугодных режиму лиц. Естественно, человек, избравший для Себя это поприще, не мог назвать свое истинное место работы и свою должность — дипломатия в таких случаях служила (и служит) лучшим прикрытием.

«У меня складывается <...> впечатление, — подводил итог этой части своих раскопок Валентин Скорятин, — что Л. Эльберт и Л. Брик тогда отправились в Ригу для выполнения обычного

задания ГПУ». Обычными он называет «чекистские операции, направленные на Западную Европу». Для такого вывода сам Скорятин не привел никаких оснований.

Какое шпионское задание могла получить Лиля? Скорее всего, Лубянка просто использовала ее желание добиваться в Риге английской визы, чтобы попутно извлечь из этого выгоду и для себя: мать Лили была родом из Риги, там оставались жить ближайшие родственники (в том числе родная тетя) и знакомые Лили. Они, разумеется, могли способствовать чекисту Эльберту в установлении нужных связей, а возможно, и организации явок для будущих операций. Действовал примитивный закон истинно советского «рынка»: мы — вам (загранпаспорт и визу в Латвию), вы — нам (небольшую услугу). Как это часто бывало, «верные люди», к каковым несомненно относилась и Лиля, сами ничего конкретного не делая и ни во что не вникая, просто помогали славным чекистам во всевозможных операциях. И тем самым работали на ГПУ, не работая в нем...

У «дипломата» Эльберта была еще одна особенность: он беспрерывно «челночил» из Риги в Москву и обратно, служа мостиком связи между Лилей и Маяковским и, естественно, таким образом все больше сближаясь с поэтом, что могло ему пригодиться в дальнейшем. Вероятно, именно он привозил Лиле в Ригу деньги («Спасибо тебе за денежки на духи» — из ее письма Маяковскому). Обменять в Москве рубли на валюту мог только человек со «специальными» связями, а по почте такие переводы за границу из советской России вообще тогда были невозможны. Тот же Эльберт (кто же еще?) обеспечил курьерскую связь с помощью дипломатической почты. Лиля настаивала («Только что приехал из Москвы курьер. Я потрясена тем, что не было письма для меня!!») и сама охотно пользовалась этим способом связи, а Маяковский не захотел («Курьерам письма приходится сдавать распечатанными, поэтому ужасно неприятно, чтоб посторонние читали что-нибудь нежное»).

Из Москвы письма шли по почте или со случайной оказией в рижский отель «Бель Вю», где Лиля остановилась. У тети, у друзей жить не пожелала, значит, средства это ей позволяли. «Без денег оказаться не могу, так как все предлагают в долг сколько угодно», — сообщала она Маяковскому и Брику. Да и Елена Юльевна, работая в Лондоне, явно не бедствовала, ее, пусть небольшие, денежные переводы в Ригу тоже были для дочери очень кстати.

Вопреки необоснованным подозрениям того же Скорятина, Лиля на самом деле стремилась добиться английской визы. Ничего не получалось, скорее всего, потому, что английские

власти ставили перед собой те же вопросы, которые сейчас ставим и мы: чем объяснить то особое положение, в котором оказалась «просительница» и которое столь разительно отличалось от положения других совграждан ? На какие средства она собиралась в Англии жить, а если средства такие есть, то как ею добыты? Оказалось, что существует единственный способ получить визу — придать поездке служебный характер. Если бы Лубянка отправляла Лилю с каким-то своим заданием, создать такую легенду и найти подходящую «крышу» не представляло никакого труда.

Спохватилась, притом с опозданием, сама Лиля: «Волосик, милый, — писала она Маяковскому уже 18 октября, — попробуй взять для меня командировку в Лондон у Анатол<ия> Вас<ильевича>. Здесь они <то есть советское полпредство, которое, стало быть, ее опекало, конечно, с чьей-то подачи !> не имеют права давать: она должна идти из Москвы».

Маяковский кинулся исполнять поручение — без результата! Анатолий Васильевич, то есть нарком Луначарский, сослался на занятость. «И вообще, я думаю, — сообщал Маяковский, — он ничего бы не сделал для меня. Кроме этого с его командировкой была бы снова канитель на недели и едва ли бы она дала результат». Через профсоюз работников искусств Маяковский поднял на ноги наркомат внешней торговли, чтобы отправить «художницу Брик осмотреть в Лондоне кустарную выставку», — затея была настолько шита белыми нитками, что из нее ничего не вышло. Маяковский был прав, сообщая твоему «Лилятику», что он сделал все, «что может сделать человек». Спецслужбы могли бы сделать куда как больше. Но они не сделали ничего.

«Любимый мой Щеник! — писала Лиля Маяковскому в конце октября. Не прошло и месяца, как они расстались. — Не плачь из-за меня! Я тебя ужасно крепко и навсегда люблю! Приеду непременно! Приехала бы сейчас, если бы пе было стыдно. Жди меня!

Не изменяй!!!

Я ужасно боюсь этого. Я верна тебе АБСОЛЮТНО. Знакомых у меня теперь много. Есть даже поклонники, но мне никто, нисколько не нравится. Все они по сравнению с тобой — дураки и уроды! Вообще ты мой любимый Щен, чего уж там! Каждый вечер целую твой переносик! <...> Тоскую по тебе постоянно. <...> Целую тебя с головы до лап. <...> Твоя, твоя, твоя Лиля».

Стыдно ей могло быть разве что за самоуверенность: она не сомневалась, отправляясь в Ригу, что английская виза достанется ей без особого труда. Письмо ее, похожее по лексике и по способу выражения чувств на все другие, отправлявшиеся в Москву чуть

ли не каждый день, отражают отнюдь не вымышленную тревогу. За характерной для обоих корреспондентов любовной риторикой скрывается все еще подлинный страх потерять Маяковского. «Не забывай меня, Щеник, — взывала она в другом письме, — и помни о том, что я тебя просила. Подожди меня, пожалуйста!» Просила она его, конечно, лишь об одном: остаться ей верным. «Не изменяй!» — этот возглас повторяется почти во всех ее письмах, в том числе и в тех, что незапечатанными возил дипкурьер. «...Помни ежесекундно, — отвечал ей Маяковский, — что я расставил лапы, стою на вокзале и жду тебя, как только ты приедешь, возьму тебя на лапы и буду носить две недели не опуская на пол».

Никакого сомнения в искренности его клятв у Лили, видимо, не было, но не было и уверенности в том, что он устоит от проходных романов и увлечений. Пример Елизаветы Лавинской, ей, конечно, известный, мог быть повторен с другими. Возможно, поэтому Лиля клялась в своей АБСОЛЮТНОЙ верности. Вообще-то это было ей совершенно несвойственно, взывать к целомудрию она всегда считала пережитком мещанства, и, однако же, чутье подсказало ей, что на этот раз такая исповедь будет вполне уместна. И даже необходима.

Слух о том, что в Риге у нее «роман с одним советским дипломатом», дошел до Москвы. Не мог не дойти. Именно потому, что был он несправедлив, Лиля поспешила его опровергнуть. Похоже, никакого романа с Эльбертом у нее действительно не было — его имитация защищала агента Лубянки вместе со своей спутницей совсем от иных подозрений. Их «любовные» рижские встречи служили банальной ширмой для сугубо деловых отношений. Опровергнуть молву Лиля могла лишь в письмах, которые возил дипкурьер, но вовсе не в тех, что опускались в почтовый ящик и, стало быть, подвергались полицейской перлюстрации. Отсюда и клятвенные заверения в верности, и маниакальная потребность использовать для связи лишь наркоминдельский канал: боязни того, что «посторонние» прочитают «что-нибудь нежное», у нее, разумеется, не было. Маяковский должен был знать, что она ему АБСОЛЮТНО верна, а латвийская контрразведка — нечто «прямо наоборот».

Ни английскую, ни транзитную германскую визу Лиле так и не выдали. Надежды, видимо, не лишали — об этом свидетельствуют ее письма в Москву, — но тянули время. Промаявшись в Риге четыре месяца и успев сделать множество полезных дел (договорилась об издании книг Маяковского, о его будущих поэтических выступлениях, получила и отправила с оказией в Москву не только его гонорары, но и посылки с

продуктами, с одеждой...), несолоно хлебавши, Лиля вернулась в Москву. Но в том, что все равно доберется до Лондона, уже не сомневалась, появились признаки, что визы она получит — надо лишь запастись терпением.

Ее возвращению предшествовало короткое письмо Маяковского: «Приезжай, целую! Дорогой мой и милый! Люблю тебя и обожаю! Весь твой Щенок». В Москве Лилю ждали не только «милые зверики» — так она обращалась к Маяковскому и Брику, — но и новая поэма «Люблю», написанная в ее отсутствие одним из этих «звериков» и посвященная, естественно, ей же. «Пришла, — говорится в поэме, — деловито, / за рыком, / за ростом, / взглянув, / разглядела просто мальчика. / Взяла, отобрала сердце / и просто / пошла играть — как девочка мячиком». Игра эта «мальчика» отнюдь не обидела, она его восхитила: «От радости себя не помня, скакал, / индейцем свадебным прыгал, / так было весело, / было легко мне...» Скакал и сейчас, когда после столь долгой разлуки вернулась любимая, и между ними опять воцарились мир и согласие, создававшие иллюзию семейного дома.

Ничуть не меньшую радость доставила нежданная высочайшая похвала, сразу же ставшая достоянием гласности. Выступая на съезде металлистов, Ленин, отметив, что не является поклонником поэтического таланта Маяковского, счел нужным поддержать его сатирическое стихотворение «Прозаседавшиеся» — о вошедшей в советское повседневье заседательской суете и демагогической болтовне — непременных спутниках махрового бюрократизма. Эту сатиру и одобрил Ленин «с точки зрения политической и административной». Напечатанный в газете, «го одобрительный отзыв сулил благосклонное отношение властей не только к поэзии Маяковского, но II лично к нему. А значит, и к его близким...

Надежда не была иллюзорной. В апреле Лиля снова отправилась в Ригу уже за готовыми визами: Английской и немецкой. Вслед за нею— 2 мая— в Ригу поехал и Маяковский. Это была его первая заграничная поездка. Подготовленные ею его выступления сорвались— их запретил столичный префект, был конфискован и тираж выпущенной издательством «Арбайтерхайм» поэмы «Люблю», весьма далекой от политики. Дело было, видимо, не в содержании, а в личности авторш и его подруги. Единственное, что удалось,— выступить в том же издательстве, без предварительного оповещения в прессе, с чтением поэмы «150 000 000». Совместное пребывание Лили и Маяковского в полюбившемся ей отеле «Бель Вю» длилось всего девять дней. 13 мая они оба вернулись в Москву.

Визы на въезд были действительны несколько месяцев, поэтому теперь, став их обладательницей, Лиля особенно в путь не спешила. Было решено большую часть лета провести в Подмосковье, на даче, все в том же поселке Пушкино, и лишь потом отправиться в Лондон: тоска по матери, как видно, была не столь уж безумной. Возможно, были какие-то другие причины, побуждавшие ее отложить давно ожидаемую поездку.

В квартиру в Водопьяном снова зачастили друзья. Среди «новеньких» оказался милый, застенчивый человек совсем из другой среды, которого завсегдатаи дома сразу же стали ласково называть «Яня». Яня Агранов (его подлинное имя Яков Саулович Сорендзон) уже тогда занимал очень высокое место в советской государственной иерархии. Несмотря на свои 29 лет, он имел богатую биографию, Побывал в эсеровской партии, потом примкнул к большевикам. Работал секретарем «большого» (то есть в полном составе) и «малого» Совнаркома. «Малый» включал в себя лишь узкий круг особо важных наркомов, фактически и вершивших от имени правительства все важнейшие дела. Работал, стало быть, в повседневном общении с Лениным. И — что окажется потом гораздо важнее — со Сталиным, который тоже входил в состав «малого» Совнаркома, Познакомились они и сблизились еще в сибирской-ссылке— до определенного времени это было самым надежным гарантом успешной карьеры.

Никто точно не знает, когда, где, каким образом произошло знакомство Агранова с кругом Маяковского — Брик. Кто первым и при каких обстоятельствах пожал благородную руку этого высокопоставленного советского деятеля? Кто пригласил его в дом? С мая 1919 года секретарь Совнаркома непостижимым образом сочетал эту, поглощавшую без остатка все время, работу с другой должностью, еще более трудоемкой. Вторая его должность называлась так: особоуполномоченный ВЧК. Именно в этом качестве он вел как следователь множество громких политических дел, одно из которых с большим успехом окончил совсем недавно— весной 1921 года:< дело о мифическом «петроградском заговоре», по которому был расстрелян Николай Гумилев. А в 1922-м, на квартире в Водопьяном, с легкой руки Агранова бывшей жене Гумилева Анне Ахматовой и Осипу Мандельштаму впервые была выдана кличка/ ставшая для них зловещим клеймом: «внутренние «мигранты».

Со слов видного в ту пору партийного деятеля, Федора Раскольникова, его жена Муза писала впоследствии в своих мемуарах: «В ГПУ, затем в НКВД <Агранову> был подлинен отдел, занимающийся надзором за интеллигенцией. <...> Характерная черта эпохи: все знали, что «Янечка» наблюдает за

политическими настроениями писателей». Знали об этом, конечно, и в Водопьяном. Что привело его в «салон» Бриков? Потребность наблюдать за писателями, чья лояльность режиму (если точнее: безграничная преданность режиму) не вызывала ни малейших сомнений? Или что-то еще, тогда более важное?

Во всяком случае, по не совсем понятным причинам отъезд Лили в Англию задержался на три месяца. Не менее загадочно и другое: для этой поездки ей потребовался почему-то новый заграничный паспорт. Соответствующее досье Валентин Скорятин обнаружил в архиве консульского управления наркоминдела. Эту находку следует считать сенсационной.

Речь идет о поистине ошеломительной записи, сделанной чиновником наркоминдела в «выездном деле» Лили, — такие досье заводились на каждого, кто подавал заявление о выезде за границу и кому выдавался заграничный паспорт. Заявление подано, сказано там, 24 июля (1922 года), паспорт выдан 31 июля, Хорошо и достоверно известно, что «обычным» гражданам с такой скоростью паспорта не выдавались и не выдаются. Объяснение этому феномену содержится в другой записи, сделанной в том же досье. В графе «Перечень представленных документов» написано: «Удостоверение> ГПУ от 19/VII № 15073». И ничего больше! В графе «Резолюция коллегии НКИД» ссылки на какую-либо резолюцию нет вообще— при наличии «удостоверения ГПУ» надобности в ней, естественно, не было...

Удостоверение выдано за пять дней до подачи заявления в наркоминдел, и в этом, возможно, уже содержится объяснение: скорее всего, это удостоверение не столько отражало реальную действительность, сколько создавало «правовую» базу для получения заграничного паспорта. Сомнительно, чтобы Лиля была штатным сотрудником, находившимся на официальной службе в ГПУ и пользовавшимся правом на получение служебного удостоверения. Но от этой почти несомненной фальсификации ситуация не становится менее загадочной, — напротив, порождает много новых, не разгаданных до сих пои загадок.

Значит, такая фальсификация была кому-то нужна, значит, кто-то мог позволить себе на нее пойти. Этот «кто-то», как каждому ясно, должен был занимать в чекистском ведомстве очень высокое место (уж наверно, не меньшее, чем то, которое занимал Агранов), чтобы задумать и осуществить такой маскарад. А если все это не было маскарадом? Если Лиля действительно служила (кем?!) на Лубянке? Даже в этом случае представить свое удостоверение в ДРУГОЕ ведомство как единственное основание для получения заграничного паспорта она могла лишь по указанию или хотя бы с согласия высокого начальства все тех же

спецслужб. Таким образом, круг замкнулся.

Мы вступаем здесь в самую темную, в самую таинственную полосу жизни всех «сторон» пресловутого «треугольника». Каким образом и когда именно ближайшими их друзьями стали лубянские бонзы? Что именно сблизило их? Что побудило ближайших соратников «железного Феликса» столь плотно войти в круг литераторов, озабоченных всего лишь созданием «революционной поэзии»? И вроде бы ничем больше...

Потребность оградить Лилю от всяческих подозрений побуждает тех, кто писал о ней, считать Маяковского, а не ее «первоисточником» этих странных связей. Что ж, возможно и это. Почему же о столь важном знакомстве нет в гигантской литературе о поэте никакой информации? Где и как произошла эта первая встреча, так и оставшаяся секретной? В биографии Маяковского прослежен каждый день, если не каждый час, и никакого упоминания о ТАКОМ знакомстве в летописях его жизни найти невозможно. Агранов и другие его коллеги, о которых речь впереди, вдруг, как бог из машины, возникают в бриковском доме и становятся друзьями всех его завсегдатаев. И эти никого не удивляет, словно появление в доме столь чуждых Маяковскому людей совершенно естественно и ни в каких пояснениях не нуждается. Тогда, может быть, вовсе не он ввел их в бриковский дом, а кто-то другой, в чьей биографии каждый день и час просто еще не прослежен? И не Агранов ли устроил Осипа Брика на работу в ЧК?

Нельзя, разумеется, путать эпохи, перенося сегодняшнее отношение к лубянским монстрам на то отношение, которое они вызывали тогда. Тем более в кругу людей, романтически боготворивших «карающий меч революции». Литературный критик Бенедикт Сарнов в своих мемуарных заметках воспроизводит такой эпизод. Дело происходит в семидесятых годах. Мемуарист гостит у Лили в тот момент, когда другой гость приносит ходивший тогда по рукам «самиздатовский» рассказ Солженицина «Правая кисть» — о перетрудившемся на своей работе чекистском палаче. «Я <вслух>, — рассказывает Сарнов, — дочитал рассказ до конца. Слушатели подавленно молчали. Первой подала голос Лиля Юрьевна. Тяжело вздохнув, она сказала: «Боже мой! А ведь для нас тогда чекисты были — святые люди!»

И это, конечно, сущая правда. Именно так и относились к чекистам в ту пору люди ТОГО — бриковского, а не какого-то другого — круга. Общаясь с чекистами, дружа с ними, выполняя их «скромные» просьбы, они поступали по совести, а не вопреки ей. С полной и искренней убежденностью полагали, что делают

правое дело. Извиняет их это или не извиняет — вопрос другой. Важно понять, какие чувства ими тогда руководили. Тогда — не потом...

В начале августа 1922 года Лиля наконец-то двинулась в путь. Задержавшись на несколько дней в Берлине, 18 августа она продолжил его в Лондон. Несколько дней провела с матерью наедине. Устав ее ждать, Эльза вернулась в Париж, но, получив известие о приезде Лили, поспешила на встречу с ней. Только теперь Лиля узнала о переменах в семейной жизни сестры. О том, как встретились Лиля и Елена Юльевна, ничего не известно. И Лиля и Эльза в своих мемуарных записках обходят этот вопрос стороной. Потому, скорее всего, что трещина склеивалась с трудом, напряжение не проходило. Что могло изменить позицию матери? Образ жизни дочери, полностью ей чуждый, не только не стал иным, но лишь приобрел эпатирующую публичность. Имени Маяковского она по-прежнему не могла слышать, но и прессой, и молвой Лиля была с ним связана неразрывно. Мать принимала эту реальность, но смириться с нею не могла. Разведенная Эльза тоже не оправдала надежд— ни у одной из дочерей нормальной семьи не сложилось.

Маяковский и Осип оставались в Москве, приводя почти все время на даче. По соседству жила молодая красавица Тамара Каширина, студентка театральной школы и начинающая актриса, работавшая с Мейерхольдом. Вскоре в нее влюбится Исаак Бабель, и она родит ему сына. Еще позже она станет женой другого писателя — Всеволода Иванова — и останется верной этому чувству на многие десятилетия: до самого конца.

Тамара познакомилась с Лилей перед тем. как та отбыла за границу. Отбыла, наказав Тамаре «следить» за Маяковским «Следила» не столько она за ним, сколько он за ней. Ухаживал настойчиво, но не навязчиво. Катал на лодке по пруду, брал с собою в театр. Такого флирта Лиля никогда не боялась. Считала его нормальным и даже желанным. Тамара и Лиля станут друзьями, и дружбу эту ничто омрачить не сможет.

Перед тем как отправиться в Лондон, Лиля сумела достать немецкую визу для Маяковского и для Осипа. Самым распространенным мотивом для едущих за границу был в те годы мотив «лечебный». Все знали, что с медициной в советской России дела обстоят неважно, и те, кто был у властей на хорошем счету, отправлялись лечиться за границу. Чаще за государственный счет, иногда и за свой. Просьба о визе «для лечения» почти всегда удовлетворялась— особенно немцами.

По легенде, Маяковский и Брик выезжали на лечение в

Баварию, в курортный городок Бад-Киссинген. Это не помешало Маяковскому перед отъездом публично заявить на своем вечере в Большом зале Московской консерватории: «Я уезжаю в Европу, как хозяин, посмотреть и проверить западное искусство». И еще: «Я еду удивлять». Не очень-то похоже на больного, нуждающегося в немецких водах...

Ни в какой Киссинген два друга, разумеется, не поехали. С остановками в Петрограде, потом в Таллине они пароходом добрались до Германии и встретились с Лилей в берлинском «Курфюрстепотеле», который стал с тех пор постоянной их резиденцией при наездах в германскую столицу. Лиля была не одна — с ней приехала Эльза. После четырехлетней разлуки все четверо наконец-то «воссоединились».

Радость встречи омрачали годы, их разделившие, с неизбежностью повлиявшие на характер каждого. «С Володей мы не поладили с самого начала, — вспоминала впоследствии Эльза, — чуждались друг друга, не разговаривали». Эльзу будто бы раздражала его страсть к картежной игре. Но причиной было что-то другое, чему вряд ли легко подобрать точное объяснение. Лиля хорошо понимала чувства сестры и реакцию Маяковского. Оттого и мирила их скорее для вида: она совсем не боялась того что Эльза вдруг «уведет» Маяковского за собой. Былое прошло — с обеих сторон, — и возврата к прошлому быть уже не могло,..

Все дни проводили в гостинице и в одном из любимых тогда русской эмиграцией «Романишес кафе». Обедали и ужинали в самом дорогом ресторане «Хорхер» — в деньгах они не нуждались и жили па широкую ногу. Лилю раздражало, что Маяковский, найдя случайного партнера, целые часы проводил в гостиничном номере за карточной игрой. И все равно у него оставалось время для встреч с «русским Берлином».

В Берлине собралась очень большая часть русской культурной элиты, причем вовсе не только противники большевиков и «великого Октября». С Есениным и Айседорой «зверики» и «лисики» разминулись — те уже отбыли за океан, да и вряд ли этим компаниям, чуждым друг другу, захотелось бы встретиться. Но приехал Роман Якобсон. Виктор Шкловский, бежавший минувшей весной из России по льду Финского залива, тоже обосновался в Берлине и встречался с «Бриками» почти каждый день.

Осип тешил друзей кровавыми байками из жизни ЧК, утверждая, что был лично свидетелем тому, о чем рассказывал. А рассказывал он о пытках, об иезуитстве мастеров сыска и следствия, о нечеловеческих муках бесчисленных жертв. «В этом учреждении, — говорил Осип, — человек теряет всякую

сентиментальность». Признавался, что и сам ее потерял. «Работа в Чека, — констатировал Якобсон, — очень его испортила, он стал производить отталкивающее впечатление». Осип все еще продолжал служить в ГПУ, хотя только что был «вычищен» из компартии как сын купца. Время, когда изгнание из партии ставило полностью крест на судьбе, еще не настало. Даже помехой для поездки за границу оно. как видим, не оказалось. Если лишившегося партбилета сына купца продолжали держать на чекистской службе, значит, в этом качестве он все еще был кому-то нужен.

Времена вообще были пока что достаточно вольными. Маяковский осмелился, никого не спросясь, из Берлина поехать в Париж. Подбили его на поездку Сергей Дягилев и Сергей Прокофьев, с которыми он встретился несколько раз в Берлине. Пошел во французское консульство за визой и, как ни странно, ее получил: помог Дягилев, у которого были большие связи. Лиля почему-то с ним в Париж не поехала. Не потому ли, что не имела инструкций?

Неделя, впервые проведенная в Париже, навсегда влюбила его в этот город. Но тоска по советской «буче», «боевой и кипучей», гнала его назад, в Москву. Почтительно обращаясь в стихах на «вы» к Эйфелевой башне, он приглашал ее: «Идемте! / К нам! / К нам, в СССР! / Идемте к нам — / я / вам достану визу». Слово «виза» уже тогда преследовало всех «советских», как заноза в мозгу. Несмотря на его призывы, Эйфелева башня осталась все-таки в Париже, Маяковский же вернулся в Берлин и с удивлением узнал, что Лиля и Осип, не дождавшись его, хотя он отсутствовал только неделю, уже отбыли домой. В Берлине у него оставались незавершенные издательские дела, он вернулся в Москву лишь 13 декабря.

Не дав себе покоя ни на день, Маяковский сразу же окунулся в бурную общественную жизнь. С интервалом в нисколько дней дважды выступил в Политехническом. Первая лекция называлась «Что делает Берлин?». Вторая— «Что делает Париж?». Одновременно очерки о парижских впечатлениях стали печататься в самой популярной ежедневной газете «Известия» — они имели шумный успех. Лиля присутствовала на первом его выступлении. Пробилась в Политехнический с величайшим трудом: молодежь, которой не досталось билетов, штурмовала зал, заняв все проходы, лестницы и саму эстраду.

Раздражение, которое она испытала, без помощи Маяковского прорываясь через толпу, имело свои последствия. Неожиданно она стала прерывать его обидными (ей казалось, что справедливыми) репликами. Восторженные мальчики и девочки,

до отказа заполнившие зал, тщетно пытались ее остановить. Сразу же после второго выступления в Политехническом (27 декабря), на которое она не пошла, между «Кисой» и «Щеником» наступил внезапный и бурный разрыв. Попытку его объяснить Лиля сделала позже в своих воспоминаниях: «Маяковский < рассказывал о своих впечатлениях> с чужих слов. <...> Длинный был у нас разговор, молодой, тяжкий. Оба мы плакали. Казалось, гибнем. Все кончено. Ко всему привыкли — к любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-оде-ты, живем в тепле. То и дело чай пьем. Мы тонем в быту. Мы на дне. Маяковский ничего настоящего уже никогда не напишет».

Даже при беглом взгляде на эти воспоминания нельзя не заметить, что они лишены какой-либо логики. Почему публичные выступления поэта, его рассказы о заграничных впечатлениях означают, что «мы тонем в быту», что «мы на дне»? С чего она взяла, что у Маяковского не было своих впечатлений, что он рассказывал только «с чужих слов»? Даже если что-то узнал от других — все равно ведь там же, в Берлине.,, Всего за одну парижскую неделю он успел встретиться со множеством людей (в том числе с Жаном Кокто, Игорем Стравинским, Пабло Пикассо, Фернаном Леже, Жоржем Браком, Робером и Соней Делоне), посетить палачу депутатов, аэродром Бурже, «Осенний салон», побывать в художественных галереях и в трех театрах. И это все — рассказ «с чужих слов»?!

Маяковского можно было бы упрекнуть разве что за слишком плоскую, прямолинейно агитпроповскую оценку русской эмиграции. Но это было тогда вполне в духе времени и никак не могло вызвать протеста у Лили. И тем не менее она потребовала расстаться на два месяца. Почему именно на два? Срок, скорее всего, выбран случайно: так решила Лиля, и это, стало быть, обсуждению не подлежит...

«Раньше, прогоняемый тобою, я верил во встречу, — признавался в своем отчаянном письме к ней Маяковский. Он написал его на следующий день после разрыва. Написал, не уединившись в комнате в Лубянском проезде, а в кафе, чтобы плакать на людях, не стыдясь своих слез. — Теперь я чувствую, что меня совсем оторвали от жизни, что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. <..,> Как любил я тебя семь лет назад, так люблю и сию секунду. Что б ты ни захотела, что б ты ни велела, я сделаю сейчас же, сделаю с восторгом».

Значительную часть этого письма Лиля впоследствии опубликует в своих воспоминаниях — только расставит знаки препинания, которыми Маяковский пренебрегал. Зачем она его

опубликовала? Трудно представить себе более рабское, более униженное письмо, никакой провинностью с его стороны — об этом можно сегодня сказать совершенно определенно — не вызванное, И за что он в том же письме несколько раз просит у Лили прощения? «Я не вымогаю прощения»,.. «Я не в состоянии ни писать, ни просить тебя простить меня за все»... «Если ты хочешь попробовать последнее, ты простишь, ты ответишь»...

В чем он провинился? Какой тяжкий— притом им осознанный — грех заставляет его ползать на коленях в надежде на милосердие? Любовь, разумеется, не унижает, объяснение в любви — тем более. В каком-то смысле любовь — это всегда зависимость от любимого. И однако же... «Никто из достоевских персонажей не впадал в подобное рабство» — так прокомментировал это письмо один современный поэт, и был безусловно прав.

Что же на самом деле побудило Лилю столь жестоким образом взять для их совместной любви долгий «тайм-аут» и понудить Маяковского искренне считать, что в разрыве повинен он сам, а отнюдь не она?

Летом 1922 года, незадолго до отъезда в Германию, в полюбившемся Брикам и Маяковскому подмосковном поселке Пушкино Лиля познакомилась еще с одним дачником, который принадлежал тогда к высокочтимому ею кругу ответственных работников, то есть к партийной верхушке. Маяковский встретился с ним впервые еще годом раньше в Москве, так что на летней террасе за рюмкой водки и чашкой чаю оказались люди, вовсе не понаслышке знавшие друг о друге.

Этим человеком был Александр Михайлович Краснощеков, уроженец ныне печально знаменитого украинского Чернобыля. Различные советские источники сообщают, что его подлинное имя Абрам Моисеевич Тобинсон. Архивы Киевского охранного отделения царских времен сообщают другое имя: Фроим-Юдка Мовшев Краснощек. Никто не знает, какое из них сочиненное. Но это, пожалуй, не так уж важно.

Множественность имен характерна для тех, кто в дореволюционной России занимался подпольной деятельностью. Краснощеков ею и занимался, причем, как у многих деятелей подполья, в его биографии множество провалов и темных мест. По официальной биографии он уже в 1902 году, двадцати двух лет от роду, уехал из России и обосновался в США, вернувшись на родину через Дальний Восток лишь в июне 1917 года. По данным же главного жандармского управления царской России, 27 марта 1907 года он задержан в Брянске по обвинению в убийстве

ротмистра Аргамакова. Каких только загадок не задают нам секретные архивы!..

Есть, однако, факты несомненные. В 1912 году Краснощеков окончил юридический и экономический факультеты Чикагского университета. После свержения монархии в Россию возвратился человек, не сменивший свои убеждения, но получивший блестящее образование и освоивший несколько важных профессий. Ему пришлось пробыть какое-то время в колчаковской тюрьме, прежде чем выйти на волю и проводить «линию партии» на Дальнем Востоке. Судьбе было угодно сделать его премьер-министром и министром иностранных дел марионеточной Дальневосточной республики, придуманной Лениным для отвода глаз и создания фикции «независимости» удаленных от Москвы территорий.

Страх от возможного превращения фикции в реальность побуждал «кремлевских мечтателей» даже всех своих ставленников подозревать в измене. Обвиненный в том, что он привлек в свое правительство меньшевиков и эсеров, что стремился к личной диктатуре и к отрыву Дальневосточной республики от РСФСР, Краснощеков в середине 1921 года был отозван в Москву. Будучи без дела, он выполнял «отдельные поручения» кремлевских начальников (одним из таких поручений была поездка с Айседорой Дункан в колонию для малолетних преступников — Краснощеков служил Айседоре и гидом, и переводчиком), охотно посещал различные культурные мероприятия, которыми была так богата зажившая нэповской жизнью столица. Тогда-то Маяковский и Познакомился с ним.

В Пушкино на дачу возвращался по вечерам из Москвы на служебном автомобиле уже обретший новый пост крупный партийный сановник. Краснощеков, которого снова облекли высоким доверием, стал к тому времени заместителем наркома финансов и членом Президиума Высшего совета народного хозяйства. Это были его официальные, публично объявленные должности. Существовала и еще одна— потайная: его назначили членом комиссии по изъятию церковных ценностей, то есть по грабежу имущества различных конфессий, прежде всего Русской православной церкви.

Комиссию возглавлял Лев Троцкий, в большинстве своем она состояла из лиц отнюдь не православного вероисповедания. Ленин повелел им всем «не высовываться», подставляя, когда в том будет нужда, «православного» члена комиссии — Михаила Калинина. Однако от особо доверенных легальные грабители не скрывали своих функций, вызывая у них вовсе не отвращение, а священный трепет и благородный восторг. Кто знает, рассказал

ли Краснощеков своей новой знакомой про все свои должности. Каждого, кто — больше ли, меньше ли — привлекал ее внимание, она обычно умела разговорить...

Краснощекову исполнилось 42 года, он был молод, красив, обаятелен, хорошо образован, говорил на нескольких языках. Его одухотворенное, волевое лицо свидетельствовало о работе мысли и об уверенности в своей силе — эти качества Лиля любила больше всего. Жена его осталась в Америке, дочь Луэлла (такое американское имя дали ей при рождении) жила с отцом, и девочка сразу же привязалась к Лиле — на всю жизнь, как потом оказалось.

Только-только начавшийся роман Краснощекова и Лили был прерван ее заграничной поездкой. Никогда бы она себе не позволила этого, будь на то ее воля! Уж во всяком случае, не отсиживалась бы без дела в Берлине больше двух месяцев после возвращения из Лондона, выслушивая Осины байки и раздражаясь от картежных страстей Маяковского, который часами резался в покер.

Сразу же по возвращении в Москву угасший было роман возобновился. Краснощеков к тому времени поднялся еще на одну ступеньку служебной лестницы, став председателем созданного по его же инициативе Промышленного банка, призванного составить конкуренцию Госбанку. Вероятно, Маяковский позволил себе какую-то резкость в разговоре с Лилей — иначе трудно объяснить, за что он просил прощения.

Так или иначе, 28 декабря по ее прихоти был объявлен принудительный мораторий на их отношения. Они договорились не видеть друг друга, назначив контрольную дату следующей встречи: 28 февраля 1923 года. Лишь тогда, «проверив» за два месяца свои чувства и подвергнув ревизии свое общее прошлое, они должны были решить, как им жить дальше. Маяковский заперся у себя в Лубянском приезде, Лиля осталась в Водопьяном. Маяковский тотчас принялся за новую поэму — потом она будет названа им «Про это».

Лиля «проверяла» тем временем свои отношения сразу с двумя: с Маяковским и с Краснощековым. Верная своим принципам, новую увлеченность она ни от кого не скрывала. От Маяковского — в том числе.

ЗАРУБКИ НА СЕРДЦЕ

Только в стихах Маяковский давал чувствам полную волю — без всяких ограничений. «Запрет» на встречи все время нарушался. Маяковский дежурил под окнами Лили, которая осталась в Водопьяном, посылал ей записки и длинные письма через домработницу Аннушку, через поэта Николая Асеева, искал встреч на улицах. Лиля была непреклонна: мораторий на общение закончится в три часа дня 28 февраля, и ни одной минутой раньше! «Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, — письменно обращался к ней Маяковский, покорно соглашаясь на те мучения, которым она его подвергла, — люблю, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю. Аминь. Смешно об этом писать, ты сама знаешь».

Ничего смешного-то как раз и не было. Безграничная, не подвластная разуму любовь, многократно увеличенная его воображением и органично присущей ему склонностью к гиперболам — ив поэзии, и в жизни, — такая любовь неизбежно обрекала на страдания. Лиля — с безупречно точным расчетом, совершенно сознательно, чего и сама впоследствии никогда не отрицала, — шла на это, побуждая его столь мучительным образом приковать себя цепью к письменному столу. Муки художника (об этом говорит весь мировой опыт) сублимируются в его творчестве, в максимальной степени позволяя ему выразить себя и свои чувства. Лишь благодаря этим мукам человечество получило в дар величайшие образцы любовной лирики. Правда, мало кого «объект любви» подвергал страданиям с единственной целью: выжать из влюбленного автора поэтический шедевр.

«Любишь ли ты меня? — спрашивал Лилю Маяковский в другом письме из своего «заточения».— Для тебя, должно быть, это странный вопрос— конечно, любишь. Но любишь ли ты меня? <Ударение на слове «меня»!> Любишь ли ты так, чтоб это мной постоянно чувствовалось?

Нет. Я уже говорил Осе. У тебя не любовь ко мне <ударение на словах «ко мне»>, у тебя — вообще ко всему любовь. Занимаю в ней место и я (может быть, даже большое), но если я кончаюсь, то я вынимаюсь, как камень из речки, а твоя любовь сплывается над всем остальным. Плохо это? Нет, тебе это хорошо, я бы хотел так любить».

Сколь бы ни была велика его любовь, она не мутила разум и не застила глаза. Маяковский ясно видел всю беспощадную реальность и точно оценивал ситуацию. Свои мысли он доверил

бумаге. Но длинное письмо, где содержатся приведенные выше строки и еще много других безошибочных наблюдений, повергавших его в отчаяние, послать Лиле все равно не посмел, хотя и не уничтожил. Понимал ли, каким бесценным документом, точно отражающим его внутренний мир, его безуспешную борьбу с самим собой, оно является? Лиля нашла это письмо среди других бумаг поэта лишь после того, как тот погиб.

«Я не любила никого другого, только Володю, всегда, всегда, и когда мы были вместе, и когда наши отношения изменились, и когда он ушел из жизни. Всегда. Только его одного». Так говорила при мне Лиля Брик македонскому журналисту Георгию Василевски в июле 1967 года.

Когда поздним вечером 24 декабря 1976 года, прощаясь с Лилей, болгарский поэт Любомир Левчев благоговейно целовал висевшее на ее груди золотое кольцо с инициалами ЛЮБ, Лиля в присутствии Андрея Вознесенского и меня повторила те же слова: «Я любила только его одного. Я говорила ему, что буду так же любить его и в старости, которой он очень боялся. Мне не нужен был никто другой, никто другой...»

Думаю, есть немало людей, которые слышали от Лили те же слова. Особенно часто она повторяла их в последние годы.

«Вся драма в том, — сказал мне Василий Васильевич Катанян, чья безграничная преданность Лиле и памяти о ней ни у кого не вызывает сомнений, — что Лиля любила Брика, а не Маяковского. Возможно, старалась себя убедить в том, что любит его, но не любила».

Как разгадать эту загадку? Как разобраться в том, в чем запутались сами участники той драмы? Как проследить хронологию событий, относящихся к пресловутой «области чувств», не подверженных логике, не допускающих документального подтверждения или опровержения, не поддающихся холодному анализу биографов и историков?

Остались письма, остались противоречивые воспоминания «действующих лиц» той, многоактной, теперь уже давней, драмы, неуклонно перераставшей в трагедию. Остались пристрастные и субъективные свидетельства современников. Остались стихи.

Добровольно заточив себя в «тюрьму» — так называл Маяковский свое сидение за столом в Лубянском в течение двух месяцев (в них вошла и одинокая «встреча» Нового года, приход которого Лиля отметила в привычно веселом обществе в Водопьяном), — Маяковский писал поэму о «смертельной любви поединке». Поэму, про которую он сам сказал, что она написана «по личным мотивам». В ней прямо говорится, что, пока он ее писал, «в столе» (именно так! не— «НА столе») лежала

фотография смеющейся Лили, а он писал про свою боль. Называется поэма «Про это». Маяковский обязал себя завершить работу до конца «моратория», и обязательство это он выполнил. Иначе, впрочем, и быть не могло — ведь не мог же он предстать перед Лилей с пустыми руками!

На окончательном варианте поэмы рукой Маяковского проставлена дата; 11 февраля 1923 года. Но еще пятью днями раньше Лиля писала Эльзе в Париж; «Мне в такой степени опостылели Володины: халтура, карты <...>, что я попросила его два месяца не бывать у нас и обдумать, как он дошел до жизни такой. <...> Прошло уже два месяца: он днем и ночью ходит под моими окнами, нигде не бывает и написал лирическую поэму в 1300 строк». Насчет «нигде не бывает» — это все-таки не совсем так: Маяковский за эти два месяца участвовал во многих общественных мероприятиях, посещал издательства, заключал договоры на издание своих книг. А все остальное — сущая правда. Поэма, так получается, была завершена уже в начале февраля, и Лиля об этом знала. С точностью до числа строк...

Обменявшись записками, они договорились о совместной поездке в Петроград. Билеты покупал Маяковский. Мораторий заканчивался в три часа, поезд отходил в восемь. Встретились на ступеньках вагона. Встреча эта описана множество раз. Достаточно вспомнить самое главное: как только поезд тронулся, Маяковский тут же, в коридоре, не обращая внимания на сновавших взад и вперед пассажиров, прочитал Лиле только что написанную поэму и — расплакался. «Теперь я была счастлива, — написала Лиля годы спустя в воспоминаниях. — Поэма, которую я только что услышала, не была бы написана, если б я не хотела видеть в Маяковском свой идеал и идеал человечества. Звучит, может быть, громко, но тогда это было именно так».

Конечно, Лиля была счастлива. Счастлива оттого, что новая поэма Маяковским написана и что она гениальна. Какой ценой она появилась, — этот вопрос становился уже второстепенным. Вернувшись через несколько дней в Москву, она позвонила Рите Райт: «Скорей приезжай. Володя написал гениальную вещь». Рита тотчас примчалась— и получила в дар чистую тетрадь. «Записывай все, что он скажет, — объяснила ей Лиля свой подарок.— Володечка — гений. Каждое его слово останется».

Тончайшее чутье не подвело и на этот раз. Она хорошо понимала цену его поэзии. Маяковский считал излишним хранить свои рукописи, чтобы не «заакадемичиться». Лиля умолила его подарить ей все, им написанное, прежде всего то, что связано с созданием поэмы «Про это». Так сохранились наброски к поэме и ее черновик.

Возвратившись в Москву, Лиля созвала в Водопьяный друзей — слушать поэму «Про это». Пришел нарком Луначарский с женой, известной в ту пору актрисой Малого театра Наталией Розенель, пришли Борис Пастернак, Николай Асеев, художник Давид Штеренберг и еще много других людей их круга, чье мнение очень тогда ценилось. «Впечатление было ошеломляющее, огромное», — вспоминала впоследствии Розенель. Лиля сияла. Ее портрет работы фотохудожника Александра Родченко украсил обложку первого издания поэмы, состоявшегося уже в начале июня. Поэма вышла с авторским посвящением: «Ей и мне». Для осведомленных — достаточно...

В то же самое время разворачивалась другая, не столь кровоточащая, драма. Но тоже драма любви. Косвенно она опять же имела отношение к Лиле. Безответно влюбленный в Эльзу (и немножечко, рикошетом, в Лилю) Виктор Шкловский выпустил книгу «Zoo, или Письма не о любви». Книге предпослано авторское уведомление: «Посвящаю Эльзе Триоле и даю книге имя Третья Элоиза». Все герои этой книги — подлинные и даже носят свои имена, в том числе и Эльза-Аля. Ее письма к Шкловскому немножко стилизованы, но в основе — полностью или частично — автором использован истинный текст.

Впрочем, первое письмо Шкловский адресовал не Эльзе, а ее «очень красивой» сестре «с сияющими глазами». «Целую тебя, милую, — писал Шкловский Лиле из Берлина в Москву, — самую красивую, спасибо еще раз за любовь и ласку». Письмо датировано 3 февраля 1923 года — мучительный конфликт Маяковского и Лили как раз к этому дню достиг апогея и приближался к развязке. «Я люблю тебя, Аля, — писал в те же время Шкловский своей «Элоизе», — а ты заставляешь меня висеть на подножках твоей жизни». На подножках Лилиной жизни висел Маяковский, и все они были не были влюблены друг в друга, оставляя в стихах и в прозе память о своих подлинных или мнимых страданиях. И еще — оставляя зарубки на сердце: у одних раны заживали легко и быстро, для других становились смертельными.

Казалось, после всего, только что пережитого, должна была наконец наступить полоса покоя — может ли человек даже с воловьими нервами долго выдержать то напряжение, которое оба они испытали? Оба? Кто знает... Один— безусловно. Но, как известно, покой нам только снится...

Роман Лили с Краснощековым разворачивался в полную силу, он бил у всех на виду, о нем судачила «вся Москва» — очень уж были заметны фигуры его участников. Каждая по-своему — и все равно очень заметны. Но Лиля, следуя своему пониманию

свободы, не видела и в этом ни малейшей драмы, полагая, что главное— соблюдать правило, согласованное Бриками и Маяковским еще в 1918 году: дни принадлежат каждому по его усмотрению, ночью все собираются под общим кровом.

Вероятно, именно это имея в виду, она написала Маяковскому: «Неужели не хочешь пожить по-человечески и со мной?! А уже, исходя из общей жизни— все остальное?! <…> Мне— очень хочется. Кажется — и весело, и интересно. <…> Если бы, независимо от того, где были и что делали днем, мы могли бы вечером или ночью ВМЕСТЕ рядом полежать в чистой удобной постели; в комнате с чистым воздухом; после теплой ванны! Разве не верно?»

Прочитав это письмо, скорее Маяковский Лилю, чем она его, мог бы упрекнуть в стремлении погрязнуть в быте — теплая ванна и удобная постель находились на обочине его интересов. Он жил совершенно другим, испытывая как раз в это время необычайный творческий подъем: новые стихи, новые очерки и памфлеты появлялись в печати, выходили отдельными изданиями. Маяковский был нарасхват, на любом поэтическом вечере, на многолюдных литературных дискуссиях он был желанным участником и, уж во всяком случае, желанным гостем.

«И со мной»… Но именно в это время в каких-либо любовных историях он не был замечен. Он тоже хотел «пожить по-человечески» — в любом понимании этого слова. Но сам вряд ли имел возможность заняться квартирным вопросом при той странности и нестабильности отношений, которые продолжали существовать между ним и Лилей. Ее дневная свобода, которая — это с очевидностью вытекает из письма — должна была сохраниться за ней и при создании какого-то «своего», общего с Лилей, и только с Лилей, дома, никак не могла побудить его бросить все дела и отдаться строительству семейного «гнезда».

Между тем над Краснощековым начали сгущаться тучи. Посты, которые он занимал, неизбежно обрекали его на участие в таких операциях, которые при желании легко могли быть использованы для любых компрометирующих его обвинений. Он ворочал огромными деньгами, а это рано или поздно всегда дает повод для более или менее правдоподобных подозрений в махинациях и злоупотреблениях.

В дополнение ко всему остальному, он стал еще и генеральным представителем Русско-американской индустриальной корпорации (РАИК) — будто бы независимой от советского государства «частной» компании, осваивавшей пока еще никем не захваченный советский рынок. Оставшаяся в Соединенных Штатах жена Краснощекова получала от этой

компании его жалованье (двести долларов в месяц), ему тоже что-то перепадало в советской России — и на «мелкие расходы», и по-крупному. Сколько-то тысяч долларов он просто растратил, сколько-то его же Промбанк дал в виде кредита РАИКу, то есть компании, генеральным представителем которой в Советском Союзе опять-таки он и являлся.

Насколько все эти обвинения соответствовали действительности, сейчас сказать трудно, но тогда они выглядели вполне убедительно, тем более что параллельно, с помощью того же Промбанка, возникла и процветала еще одна компания («Американско-русский конструктор»), которую возглавлял родной брат Александра Краснощекова Яков. До определенного времени все эти факты и разоблачительные выводы финансовой ревизии скрывались от публики, поскольку в центре скандальных афер оказался очень крупный представитель советской верхушки, своим должностным положением бросавший тень на всю партийную элиту и вообще на весь советский режим.

Однако, кроме потайных операций, в достоверности которых можно было и сомневаться, большая часть жизни обоих братьев находилась на виду у всех. Слухи, один другого сенсационнее, ползли по Москве и Петрограду. О том, например, что во время своих поездок в Петроград Александр Краснощеков, его брат и их «помощники» занимали несколько апартаментов в лучшей гостинице города «Европейская», где вечерами происходили кутежи с участием ансамблей цыган. Ночью кутилы перемещались в квартиры цыган, куда заранее доставлялись вина и всякая гастрономия — за счет, разумеется, банка. За усладу гостей песнями и плясками цыганки получали золото и огромные пачки червонцев.

Вскоре в обвинительное заключение по делу братьев Краснощековых войдет и такая фраза: «заказывали своим женам каракулевые и хорьковые шубы...» Юридическая жена Александра Краснощекова жила в Америке и, кроме двухсот долларов в месяц, ничего другого от него не получала. На роль жены в этом контексте могла претендовать только Лиля. Но имя ее — черным по белому— в судебных документах не упоминается. Компетентные органы щадили Лилю уже тогда.

В самый разгар финансовых ревизий деятельности Краснощекова, всевозможных экспертиз и вызовов его на допросы в качестве «свидетеля» Брики и Маяковский, заблаговременно озаботившись получением виз, приняли решение не вносить никаких перемен в согласованные ими планы на лето. 3 июля 1923 года они отбыли из Москвы, воспользовавшись редчайшим тогда видом транспорта: рейсовый самолет компании

«Дерулюфт» доставил их с Ходынского поля в Москве прямиком в Кенигсберг, откуда они проследовали в Берлин и, не задерживаясь, отбыли на курорт Бад-Флинсберг, вблизи Геттингена. В безмятежную и размеренную курортную жизнь на водах приятное разнообразие внес приезд из Праги Романа Якобсона, который зримо убедился в том, что никакой надобности бежать от большевиков по фиктивному брачному свидетельству у Лили действительно не было.

Три недели полуотдыха, полулечения имели еще более счастливое продолжение в течение всего августа, который Брики и Маяковский провели на острове Нордернее — популярном балтийском курорте на границе Германии и Голландии. К ним присоединился не только Виктор Шкловский, но и — что гораздо важнее — Эльза и Елена Юльевна Каган, сменившая гнев на милость и решившая, ничуть не изменяя своих взглядов на семью и брак, принять жизнь такой, какая она есть. Присутствие Осипа придавало московской компании хотя бы внешнюю благопристойность, оберегая Лилину маму от душевного дискомфорта.

Погода была превосходной, море теплым, песчаный пляж идеальным, дюны исключительно живописными. Давно уже все, кто собрался тогда на острове, не испытывали такой безмятежности и такого блаженства.

Кроме обрывочных газетных сообщений, доходивших до курортников из Москвы крайне нерегулярно, никаких известий о ходе следствия, начатого против Краснощекова, Лиля не имела. Даже оказавшись в Берлине в начале сентября и имея возможность читать как советские, так и эмигрантские газеты, уделявшие скандалу «в большевистском логове» немало места, Лиля в Москву не поспешила. 15 сентября туда поездом, с пересадкой в Риге, уехал Маяковский, 18-го он был уже в Москве, Лиля и Осип остались в Берлине.

19 сентября арестовали Краснощекова, но Маяковский, отправляя Лиле письмо уже после этого события, которое не могло оставить его безучастным, не счел нужным уделить ему даже одного слова. «Дорогой мой и сладкий Лиленочек! — писал он. — Ужасно без тебя заскучал!! I! Приезжай скорее! <…> Без тебя здесь совсем невозможно! <…> Приезжай скорее, детик. Целую вас всех (Киса + Ося), а тебя еще и очень обнимаю. Твой весь…»

В Москве Лилю ждали статьи, опубликованные, из-за особой важности, сразу в двух центральных газетах: «Правде» к «Известиях». Это, собственно говоря, были не статьи, а официальное сообщение наркомата рабоче-крестьянской

инспекции, подписанное самим наркомом Валерьяном Куйбышевым. «...Установлены, — утверждал нарком, — бесспорные факты преступного использования Краснощековым средств <банка> в личных целях, устройство на эти средства безобразных кутежей, использование хозяйственных сумм банка в целях обогащения своих родственников... <Он> должен понести суровую кару по суду».

Золотая подмосковная осень была в самом разгаре, и так мечталось продолжить пляжное блаженство дачным в обществе любимого человека. Вместо этого Лиля должна была носить ему передачи в Лефортовскую тюрьму. Дочь Краснощекова Луэлла переселилась к Брикам и стала теперь уже дочерью Лили. Не Лили, конечно, а ДЛЯ Лили, но суть от этого не меняется. Краснощеков болел, кроме вкусных вещей ему чуть ли не ежедневно носили лекарства по очереди то Лиля, то Луэлла. А внешне жизнь оставалась такою же, как всегда: все так же собирались в Водопьяном, спорили, рисовали, музицировали, острили, разыгрывали друг друга, читали только что написанные стихи, ссорились и мирились...

Очередная поездка за границу была задумана сразу же по возвращении из Германии. Теперь Лиля, похоже, просто не могла без Европы: к этому образу жизни привыкаешь, как к наркотику, и отказаться от него невозможно... Своих планов и в новой — неожиданной для нее — ситуации Лиля менять не собиралась, оставив Краснощекову, по его просьбе, томик стихов Уитмена. Он собирался его переводить в тюремной камере — тогда это еще позволялось, как в «кошмарные» царские времена. Арестованные революционеры писали, случалось, в крепостных казематах целые книги.

Уже в начале февраля 1924 года, едва отшумели скорбные дни по случаю смерти Ленина (пока они не закончились, советский этикет не позволял думать ни о чем мелком и суетном), Лиля отправилась в Париж через Берлин. Визы выдавали ей без труда — и выездные, и въездные. Со стороны советских властей этому не мешало то обстоятельство, что 31 декабря 1923 года Осип расстался с ГПУ— формально потому, что (так сказано в служебной аттестации) был «медлителен, ленив, неэффективен». Каждое слово этой триады можно понимать и толковать по-всякому. Какая, к примеру, «эффективность» должна и может быть в работе юрисконсульта подобного ведомства?

Впрочем, истинной причиной увольнения, как считают его биографы, стало «буржуазное происхождение» Осипа. Но «происхождение» его ни для кого не являлось загадкой уже в тот

момент, когда Осипа брали на работу, а в краткий период нэпа к социальным «корням» проявляли, напротив, большую терпимость, чем в пору «военного коммунизма». Это происхождение, как мы видим, ничуть не повлияло на дальнейшую карьеру Осипа, как и на судьбу Лили, Возможно, надобность в его лубянском служении просто отпала, а дружба с лубянскими шишками осталась неизменной. И у Осипа, и у Лили, и у Маяковского.

В середине февраля Лиля очутилась в Париже в объятиях любимой сестры, приготовившей ей небольшой, но уютный уголок на улице Ложье, 41. Окунувшись в парижскую жизнь, она не забыла, однако, про московские невзгоды. Отзвуком этого служит одна короткая фраза из ее письма Маяковскому от 23 февраля: «Что с А. М.?» Ответы Маяковского на ее письма известны, но ответа именно на этот вопрос в них нет.

Ответ содержится, пожалуй, не в письмах, а в стихотворении «Юбилейное», написанном вскоре по случаю празднования 125-й годовщины со дня рождения Пушкина. И не только в той строке, где Маяковский считает себя, наконец, «свободным от любви», но и в более драматичных строках: «Их / и по сегодня / много ходит / — всяческих / охотников / до наших жен». Пребывание Краснощекова в тюрьме не было и не могло быть для Маяковского облегчением. Непоправимый удар по тому союзу с Лилей, о котором Маяковский мечтал, уже был нанесен — дело шло к разрыву, хотя, судя по их переписке, ничего в отношениях между ними не изменилось.

Париж подарил Лиле не только себя, но и очень краткий и очень приятный романчик. За ней стал ухаживать художник Фернан Леже, тогда еще вовсе не знаменитый. Но Лиля как раз любила не знаменитых, а тех, в ком она проницательно видела будущую знаменитость. Леже водил ее в дешевые дансинги и скромные бистро, ей льстили его восторги, но, кажется, дальше восторгов дело так и не пошло.

Предполагалось, что с Маяковским они снова встретятся в Берлине, но Лиля (она уже перебралась в отель «Иена») сумела добиться продления просроченной английской визы и отправилась к матери. «Париж надоел до бесчувствия! — убеждала она Маяковского. — В Лондон зверски не хочется! Соскучилась по тебе!!! <…> Я люблю тебя и ужасно хочу видеть. Целую все лапки, и переносики, и морду».

Последнюю декаду апреля и начало мая Лиля и Маяковский провели вместе в Берлине. Германия не была целью поездки — предполагалось их совместное путешествие в Америку. Но планы эти сорвались: не было визы, которую пробивал им в Нью-Йорке

Давид Бурлюк. После трехмесячного отсутствия 9 мая Лиля вместе с Маяковским вернулась в Москву. В судьбе Краснощекова все еще не было никаких перемен.

Столь ненавидимый Лилей «быт» снова напомнил о себе на классический советский манер. Раньше Брики и Маяковский вселялись в комнаты тех «буржуев», кого «уплотняли», чтобы те не жили слишком просторно. Теперь в роли буржуев оказались они сами. Одну из двух комнат в коммунальной квартире в Водопьяном у них отобрали — ту, которая была записана на имя Маяковского, поскольку он считался вполне обеспеченным, имея крохотную комнатушку в Лубянском.

Предстояло найти другое жилье, которое бы жильем вообще не считалось и, значит, могло быть занято без разрешения городских властей. Таковым тогда еще оставались подмосковные дачи. Из всех ближних пригородов выбор пал на Сокольники — этот район по-прежнему считался дачной местностью. Выбор был не случайным: поблизости находилась Лефортовская тюрьма, где все еще томился Краснощеков. Чтобы носить ему передачи, Лиле и Луэлле не требовалось теперь преодолевать большие расстояния при помощи плохо работавшего городского транспорта.

Удобств на даче, естественно, не было, их отсутствие компенсировалось большим пространством: целый дворец! Теперь у Бриков и Маяковского были четыре комнаты: гостиная, спальня, еще одна, миниатюрная, — там в осенне-зимний сезон был угол для Маяковского, потому что четвертая комната, за ним закрепленная по общему уговору, не отапливалась, с окончанием лета ее запирали на висячий замок, забив ящиками и чемоданами. От ближайшей трамвайной остановки к даче надо было идти через безлюдный лес. Всего несколько лет назад огромные апартаменты со всеми удобствами в петроградской квартире на Жуковской никаким дворцом не казались. Советские критерии роскоши быстро вошли в жизнь и стали привычной нормой.

Несмотря на отдаленность от города и трудности I с транспортом, дача в Сокольниках всегда была полна гостей. Особенно часто бывали Пастернак и Шкловский, неизменные «спутники» Маяковского — поэты Николай Асеев и Семен Кирсанов, набивавшийся в друзья корреспондент агентства Гавас в Москве Жан Фонтенуа, которого обитатели и гости сокольнического дома насмешливо величали на русский манер «Фонтанкин». С Фонтенуа Маяковский встречался в Париже однажды, во время довольно загадочного мероприятия, о котором речь впереди, он служил ему переводчиком.

Маяковскому, похоже, дачный простор по душе не пришелся. Сокольникам он чаще предпочитал комнату в Лубянском — не только потому, что это был центр города. Лефортовское соседство все время напоминало о том человеке, с которым он вынужден был делить место в Лилином сердце. Был ли он, впрочем, уверен, что в этом сердце осталось для него хоть какое-то, пусть даже скромное место?

Лето и раннюю осень 1924 года он провел в большой поездке по Кавказу и Крыму, чтобы сменить обстановку, остаться наедине с собою. С собою — и со стихами. Стихи этого цикла отражают его душевные муки. «Ревность обступает скалой» — не просто поэтическая вольность. За каждым камнем ему чудится «любовник-бандит» — это тоже не только метафора... «Вот / и любви пришел каюк, / дорогой Владим Владимыч» — эти строки были написаны еще до его южной поездки, в июне того же года. Даже если бы и хотел, в стихах он солгать не мог.

В конце октября Маяковский снова покинул Москву, отправившись в Париж через Ригу и Берлин. Собственно, даже не в Париж, а почему-то в Канаду— с остановкой в Париже. Транзитную французскую визу ему в Париже заменили на другую — с правом кратковременного пребывания во Франции. Он сам не знал, зачем поехал, метался, ему и хотелось и не хотелось назад. Даже притом что Краснощеков находился в тюрьме, он чувствовал себя «третьим лишним».

Об этом — прямо и недвусмысленно — в его смятенном письме из Парижа: «УЖАСНО ХОЧЕТСЯ в Москву. <...> Хотя — что мне делать в Москве? Писать я не могу, а кто ты и что ты, я все же совсем, совсем не знаю. Утешать ведь все же себя нечем, ты — родная и любимая, но все же ты в Москве и ты или чужая, или не моя. <...> Ужасно тревожусь за тебя. И за лирику твою, и за обстоятельства». Слова эти (лирика... обстоятельства...) — обтекаемые, не поддающиеся точной расшифровке, — были, однако, хорошо понятны и автору письма, и его адресату: ни один Лилин роман до сих пор не имел столь тупикового — тюремного! — финала. В промежутках между своими заграничными поездками она пыталась использовать все свои связи, чтобы помочь Краснощекову, но пока ничего не получалось.

В Париже Маяковский, ожидая то ли визы в Америку (в Канаду? в Мексику?), то ли каких-то дальнейших инструкций, проводил почти все время в «Ротонде» или в «Доме», потягивая американский грог, Илья Эренбург, как он сам признавался, спешил сюда — в то же самое время, — чтобы «побеседовать с тенями Верлена и Сезанна». Маяковский — чтобы услышать русскую речь и вступить в разговор. «Париж, / тебе ль, / столице

столетий, / к лицу / эмигрантская нудь?»— восклицал он в стихах этого цикла. Но общался почти исключительно с эмигрантами: незнание языка делало его немым и лишало возможности иного общения.

Жизнь как-то скрашивала Эльза, интонацией голоса все время напоминая Лилю. Виделись они ежедневно — Эльза поселила его в том же отеле, где жила сама. С тех пор отель «Истрия» на улице Кампань премьер, 29, стал постоянным местом его парижского пребывания и вошел с пунктуальной топографической точностью в его стихи.

Эльза опять «сдружилась» с Андре Триоле, —- на его фирменном бланке Маяковский писал Лиле письма, как бы подтверждая документально, что за дружбой может опять последовать любовь. С его помощью Лиле была куплена модная шубка. Именно так: не шуба, а шубка. В дополнение к краснощековской она приятно обогатила Лилин гардероб. Шубкой, естественно, дело не ограничилось. «Первый же день приезда, — докладывает Лиле Маяковский, — посвятили твоим покупкам. Заказали тебе чемоданчик замечательный, и купили шляпы. Вышлем, как только свиной чемодан будет готов. Духи послал (но не литр — этого мне не осилить) — флакон, если дойдет в целости, буду таковые высылать постепенно. Осилив вышеизложенное, займусь пижамками».

Едва Маяковский отбыл из Москвы, Краснощекова, приговоренного к шести годам лишения свободы, перевели из тюрьмы в больницу. Это значительно облегчило Лиле возможность видеться с ним. Не исключено, что она сама, через какие-то доступные ей каналы, приложила к этому руку. «Что делать? — писала Лиля Маяковскому в отель «Истрия» буквально за день до перевода Краснощекова в больницу. — Не могу бросить А<лександра> М<ихайловича>, пока он в тюрьме. Стыдно! Так стыдно, как никогда в жизни. Поставь себя на мое место. Не могу. Умереть — легче. <...> Живу у тебя <Yo есть в Лубянском>. Когда говорю — дома, сама не понимаю где. Люблю, скучаю, хочу к тебе».

Поставить себя на место Лили Маяковскому было, наверно, не просто. Его отчаянный ответ на по признание — более чем странное, если учесть, кому оно адресовано, — свидетельствовал о том, что дело неизбежно идет к разрыву, хотя все любовные «атрибуты» (тоскую, люблю, целую...) оставались на прежних местах: «Последнее письмо твое очень для меня тяжелое и непонятное. Я не знал, что на него ответить. Ты пишешь про СТЫДНО. Неужели это ВСЕ, что связывает тебя с ним, и ЕДИНСТВЕННОЕ, что мешает быть со мной. Не верю! А если это

так, то ведь это так на тебя не похоже — так не решительно и так не существенно. Это не выяснение несуществующих отношений — это моя грусть и мои мысли — не считайся с ними. Делай, как хочешь. НИЧТО, НИКОГДА и НИКАК МОЕЙ ЛЮБВИ К ТЕБЕ НЕ ИЗМЕНИТ».

Маяковский рвался в Москву — и делал все, чтобы отсрочить день своего возвращения. Никакого противоречия здесь нет. Что ожидало его в Москве? Будет ли Лиле стыдно и перед ним? Какую вину перед Краснощековым она себе не прощала, за что корила себя, чего стыдилась? Не того ли, что в его растратах отчасти была виновата и она? Или того, что печальный поворот в его судьбе, к которому - вольно или невольно — она была тоже причастна, не внес ни малейших поправок в ее привычную жизнь?

За четыре дня до Нового года Маяковский вернулся в Москву, так и не дождавшись виз, чтобы отправиться в какую-либо страну Американского континента. Встреча была теплой и нежной, пробудив надежду на то, что все образуется. Но примерно через две недели Краснощекова неожиданно освободили полностью — выписали из больницы и больше в тюрьму не вернули. Считать это косвенным признанием судебной ошибки, конечно, нельзя: своих «ошибок» советская юстиция тогда еще не признавала, приговор отменен не был, реабилитации не последовало. По чьему-то — несомненно, очень высокому— распоряжению Краснощекова просто отпустили на волю, сославшись на состояние здоровья.

Такой гуманности за властями не замечалось — болезнь была просто удобным предлогом. Решающую роль сыграли связи — десять лет спустя они уже не помогали, только вредили.

Почти сразу же вслед за его освобождением имя Краснощекова снова оказалось у всех на устах. И опять в сочетании с Лилей. Бойкий молодой драматург Борис Ромашов скроил скандальную пьеску «Воздушный пирог», положив в основу сюжета то же громкое судебное дело. Выведенному под именем директора банка Коромыслову (Краснощекову) давалась в пьесе хоть какая-то индульгенция. Он предстал как жертва неких объективных обстоятельств: то ли социальных, то ли сугубо личных, но как бы не зависящих от него. Зато окружение директора — прежде всего его любовницу Риту Керн, актрису и балерину, — автор не пощадил. Она и была в трактовке драматурга исчадием зла, толкнув крупного советского работника на путь преступлений. «Вся Москва» ломилась на премьеру спектакля и на последующие его представления, без труда разгадывая, кто есть кто, и видя в любом фабульном повороте не столько плод авторского воображения, сколько

информацию о подлинных фактах.

Ни Лиля с Краснощековым, ни Маяковский, ни Брики на спектакле не были — их отсутствие там, где успели уже побывать «все», лишь подтверждало ходившие по Москве слухи. Впрочем, ни Краснощекову, ни Лиле действительно было не до театра, Он с трудом возвращался к жизни после условий тюремной больницы, а Лиля вскоре после выхода его на свободу тяжело занемогла. Настолько, что ее почти на месяц уложили в больницу.

Во всех источниках (и письмах тоже) говорится о том, что у нее обнаружили доброкачественную опухоль желудка: такая версия была создана и для Маяковского, и для «всей Москвы». Между тем ее лечил не хирург и не онколог, а самый известный в то время московский гинеколог Исаак Брауде. В конце февраля Лилю перевели на домашний режим: она лежала на сокольнической даче, где, «как нянька» (из письма ее к Рите Райт), за ней ухаживал Маяковский. Отношения между ними не становились от этого более тесными — наоборот, невозможность для Лили видеться с уже свободным Краснощековым лишь усиливала то напряжение, которое выматывало их обоих и требовало какой-то разрядки.

Раскаленную атмосферу этого «дома» фатально дополнило еще одно событие, которого никто, конечно, не ожидал. Вскоре после Нового года в Москву прибыл первый французский посол Жан Эрбет, которого сопровождал довольно известный к тому времени писатель Поль Моран, впоследствии коллаборационист, академик и популярный автор множества книг. Тридцатишестилетний писатель уже успел приобрести большой дипломатический опыт в Лондоне, Риме, Мадриде и должен был помочь послу освоиться в загадочной стране большевиков. Эта помощь была необходима, поскольку Жан Эрбет не являлся профессиональным дипломатом, а сотрудником газеты «Тан», причем ко времени своего прибытия в Москву, как пишет один историк, он уже три года находился «под колпаком ОГПУ», публикуя в своей газете статьи, выгодные советскому режиму.

У Поля Морана была, однако, и своя личная, литературная цель. Российская экзотика и никому толком не ведомый ленинизм в его практическом выражении привлекали писателя богатством потенциальных сюжетов. В поисках таковых он и попал на сокольническую дачу. Его привел Жан Фонтенуа, предварительно рассказавший Морану о ярких личностях ее обитателей и поистине «экзотических» отношениях между ними. Лиля устраняла языковый барьер, что позволило французскому писателю чувствовать себя среди русских коллег, как у себя дома. Гостя приняли с необычайным радушием— иностранцы вообще

были тогда редкостью в советской столице, французский литератор с пятью уже опубликованными книгами, да еще на правах друга семьи, — тем паче.

Несколько месяцев спустя радушных хозяев ждало жестокое разочарование. Если точнее — жестокий удар. Избрав объектом своего изучения «любовный треугольник» Бриков и Маяковского и ближайшее их окружение — завсегдатаев и знакомых, — он опубликовал новеллу «Я жгу Москву» — не столько остроумный, сколько злобный памфлет с откровенно антисемитским душком. Позднейшие исследователи находят в этом памфлете определенные литературные достоинства, стилистическую оригинальность и множество исторических аллюзий, выходящих за рамки локального сюжета; объясняют антисемитскую направленность новеллы поразившим Морана обилием евреев среди советской верхушки. Возможно...

Однако непосредственным «объектам» стилистических упражнений французского писателя было от этого не легче. Подлинные имена и подлинные ситуации были им слегка зашифрованы, но декодировались без малейшего труда. Лиля предстала в образе Василисы Абрамовны, Осип — в странном симбиозе с Краснощековым — получил имя Бена Мойшевича, и даже Маяковского почему-то зачислили в евреи под псевдонимом Мардохей Гольдвассер.

Жизненная драма стала поводом для пошлого зубоскальства и была перелицована в фарс. Обильно посыпав солью открытую рану, автор позволил себе глумиться над чувствами реальных, а не выдуманных им людей, виновных лишь в том, что были доверчивы и впустили его не только в свой дом, но и в свои души. Даже самые заклятые их «друзья» на родине ничего подобного себе не позволяли. Эмигрировавший из Франции в Советский Союз (на свою погибель) польский писатель Бруно Ясенский ответил Морану язвительным памфлетом «Я жгу Париж». Но что это могло изменить? Факт свершился — удар из-за угла литературным гангстером был уже нанесен.

События той зимы подвели Лилю и Маяковского к финальной черте в их драматических отношениях. Навестить дочь приехала из Лондона Елена Юльевна. Едва-едва свыкшись с образом Лилиной жизни и мучительно приняв ее супружество с Маяковским при живом и совместно проживающем муже, Елене Юльевне пришлось пережить новый шок. Вторжение четвертого (Краснощекова) в отношения троих (Лили, Осипа и Маяковского) не могло пройти для нее незамеченным. Ей снова пришлось бороться со своими традиционными взглядами на мораль и на образ жизни семейных людей, принять дочь такой, какою она

была.

В мае Маяковскому представилась возможность снова уехать в Париж: поводом послужила открывшаяся там Международная выставка декоративных искусств. По столь серьезной причине он добивался специальной командировки и отправился в Париж вместе с автором проекта советского павильона на выставке, архитектором Константином Мельниковым, и своим другом, фотохудожником Александром Родченко.

Однако истинная цель поездки состояла в другом: он не терял надежды добиться американской визы. Получив мексиканскую (каким-то чудом ему удалось убедить работников консульства, будто он не поэт, а рекламный агент), Маяковский решил, что оттуда Нью-Йорк все-таки ближе, чем от Парижа, и что там отношение к нему может быть чуть более благосклонным. На этот раз с Москвой предстояла разлука надолго, но это его уже не повергало, как раньше, в тревогу. Похоже, любви действительно пришел «каюк» — или, если точнее, не самой любви, а надежде на взаимность.

Поэтому ли или просто для того, чтобы скрасить свое одиночество и «застраховать самолюбие мужчины», как пелось в популярном романсе Александра Вертинского, Маяковский завел ни к чему его не обязывавший, легонький роман с сероглазой русской девушкой Асей, которую вывез в Париж из голодной Москвы безумно в нее влюбившийся какой-то сумасшедший француз. Сумасшедший не в метафорическом, а в медицинском смысле. Ей тогда было шестнадцать лет. Теперь, в свои двадцать три, при сошедшем с катушек муже, она чувствовала себя свободной, жила одним днем, не обременяя свою совесть никакими условностями.

Роман этот не оставил следов ни в биографии Маяковского, ни в его поэзии — он означал лишь то, что сердечная рана стала слишком глубокой, а образовавшийся вакуум требовал заполнения. Эльза знала об этом романе, значит, знала и Лиля. Свои мимолетные увлечения Маяковский и сам не скрывал. На этот раз в его исповеди не было и вовсе нужды: он понимал, что Эльза исполнит роль информатора. Это не мешало ему по-прежнему обращаться к Лиле в письмах «Дорогой, дорогой, милый, милый, милый и любимейший мой Лиленок» и уверять, что «скучает ужасно». Так оно, конечно, и было: одно не мешало другому.

Он снова поселился в отеле «Истрия» — в соседнем номере с Эльзой. Советским паспорт, по которому продолжала жить Эльза, уже не давал ей возможности свободно поехать в свою страну — для этого, как и всем иностранцам, ей была нужна въездная виза.

Хлопотал Маяковский, но нет оснований считать, что без его хлопот виза не была бы выдана. В Москве все еще находилась Елена Юльевна, и Эльзе хотелось застать ее там. Тем более что и комната в Лубянском, и уголок в Сокольниках оставались свободными на время отсутствия Маяковского — Эльзе было где ночевать.

Комичный, но одновременно и весьма драматичный случай едва не сорвал все планы: Маяковского дочиста обокрали, забрав двадцать пять тысяч франков и оставив ему (вероятно, чтобы смог добраться до полиции) лишь три. Не три тысячи — три франка… Советский посол Леонид Красин, к которому Маяковский бросился в первую очередь, флегматично отреагировал: «На всякого мудреца довольно простоты».

О подробностях он рассказывал Лиле в письме: «Вор снял номер против меня в Истрии и, когда я на двадцать секунд вышел по делам моего живота, ом с необычайной талантливостью вытащил у меня все деньги и бумажники (с твоей карточкой, со всеми бумагами!) и скрылся из номера в неизвестном направлении. Все мои заявления не привели ни к чему, только по приметам сказали, что это очень известный по этим делам вор. Денег по молодости лет не чересчур жалко. Но мысль, что мое путешествие прекратится и я опять дураком приеду на твое посмешище, меня совершенно бесила».

По чистой случайности именно в это время Лиля выбивала для Маяковского деньги в государственном издательстве, которое выпускало собрание его сочинений. Не зная ничего о краже, она подняла на ноги всех, от кого это зависело, чтобы снабдить Маяковского деньгами для дальнего путешествия. В счет будущих платежей издательство отправило для него деньги на адрес советского посольства в Париже, где ему выдали авансом ту сумму, о переводе которой пришло сообщение из Москвы. Приунывший было Маяковский снова стал почти богачом, небольшую сумму дал еще в долг Андре Триоле.

Маяковский успел на отходивший в Мексику пароход, а Эльза, с помощью которой он обивал пороги полицейских участков, безуспешно пытаясь напасть на след вора, наконец-то вздохнула спокойно и уже через несколько дней отправилась в Москву.

Обратно в Париж ее пока не тянуло — ей удастся задержаться в Москве больше чем на год и стать свидетелем конца затянувшегося первого акта драматичной любовной истории. Той истории, свидетелем начала которой и даже ее участницей она тоже была.

Покидая Францию и направляясь к американским берегам, Маяковский уже знал, какие события происходят дома за его спиной. «Как на Волге? — сдержанно спрашивал он в письме, отправленном за два дня до отплытия парохода «Эспань», который увозил его в Мексику. — Смешно, что я узнал об этом случайно от знакомых. Ведь это ж мне интересно хотя бы только с той стороны, что ты, значит, здорова!»

Что же именно он узнал «от знакомых»? То есть, скорее всего, от Эльзы, которая поделилась с ним «секретом», сообщенным Лилей в письме, адресованном ЛИЧНО ей… Он узнал, что Лиля, не сочтя нужным его предупредить, вместе с Краснощековым уехала отдыхать на Волгу. Точное место, где влюбленные укрылись от людских глаз, так и осталось тайной: старый подпольщик Краснощеков еще не забыл правила конспирации.

Разумеется, оба нуждались в отдыхе: Лиля — после какой-то операции, Краснощеков — после нескольких лет, проведенных в тюрьме. В полном уединении они провели на еще не загаженной отбросами Волге, на ее великолепных песчаных пляжах, полных три недели: с 19 июня по 10 июля 1925 года. Те самые три недели, которые Маяковский, ничего не зная о том, где Лиля, провел на океанском пароходе, с остановками по пути в Испании и в Гаване. В тог день, когда Лиля и Краснощеков вернулись в Москву, и он добрался наконец до Мехико-Сити.

Через четыре дня ему исполнялось тридцать два года. Советник советского полпредства принес поздравительную телеграмму из Москвы. Это был первый и последний раз, когда под обращенным к нему посланием всего из двух слов — «поздравляем целуем» — подписались (все вместе!) шесть человек: Лиля, Ося, Эльза, Елена Юльевна и сестры Маяковского Люда и Оля. Пройдет совсем немного времени, и двое последних уже не станут скрывать лютой ненависти к остальным четырем, подписавшим телеграмму вместе с ними.

И мать Маяковского Александра Алексеевна, и сестры (обе были старше, чем он), Людмила и Ольга, конечно, хорошо знали об отношениях между Маяковским и Лилей, и об образе жизни, который вел их брат, залетев в чужое гнездо, вместо того чтобы вить свое, как все «нормальные люди». До встречи с Лилей и Осипом, до того как отношения в этом «треугольнике» приняли особый, ни на что не похожий характер, Маяковский был близок с семьей, в которой прошло его детство. Бывал в материнском доме на Пресне, случалось, и жил там, забегал поесть — Александра Алексеевна готовила вкусные грузинские блюда: ведь он был родом из Грузии, где работал его рано умерший отец.

Войдя в совершенно другую среду с ее духовностью,

культурными запросами, литературными интересами, он стремительно отдалился от родных, с которыми было скучно, во-первых, и дискомфортно, во-вторых. Они осуждали его выбор, Бриков на дух не выносили и вступили с ними в контакт лишь от безвыходности. Материнское отношение с обеих «сторон» было, в сущности, одинаковым: и мать Лили, и мать Маяковского считали, что их дети заслуживали лучшей доли. Обе смирились, и обе — скрепя сердце. В то время как Лиля стремилась к примирению с матерью, к восстановлению отношений, Маяковский на своей «стороне» поступал прямо наоборот.

Сестры особо остро воспринимали это отчуждение, считая, что именно Лиля настроила Маяковского против них. Она же, напротив, пыталась сглаживать конфликты, умоляя его во время скитаний по России и заграницам посылать родным хотя бы открытки: он сам ни малейшей потребности в этом не ощущал. Небольшие суммы, которые они от него получали, при почти полном разрыве человеческих отношений, принимались не с благодарностью, а с обидой. До открытой войны между Бриками и женской частью семьи Маяковских пока еще не дошло, но зерна ее уже были посеяны.

Американскую визу Маяковскому все-таки дали. Он выехал в Нью-Йорк почти в тот же день, в какой Елена Юльевна отправилась из Москвы в Лондон, к месту своего постоянного жительства и постоянной работы. Казалось бы, для Лили наступило полное раздолье — остаться на даче, встречаться без помех с Краснощековым... Ни и это «супружество», фатально надломившее ее отношения с Маяковским, уже утратило прежнюю остроту и немного приелось. Ни «милый, дорогой, любимый Щенит-Волосит» (прозвище Маяковского в письмах Лили к нему), ни сохранивший ей верность после всех своих невзгод Краснощеков не могли поменять ее натуру, требовавшую новых встреч и новых увлечений.

На короткое время она оказалась в плену покорившего тогда Москву солиста Большого театра Асафа Мессерера. Публика ломилась на балет «Корсар», где этот двадцатидвухлетний танцовщик приводил ее в восторг своими умопомрачительными прыжками. Было бы странно, если бы не равнодушная к таланту и к мужской красоте Лиля не воспылала к восходящей звезде мимолетной, но бурной страстью.

Еще короче был крохотный романчик с блистательным молодым филологом Юрием Тыняновым, только что ошеломившим литературную среду своим первым биографическим романом. Злые языки говорили, что взаимность, которой он ответил на ее любовную инициативу, была всего лишь

«гонораром» за какую-то публикацию, устроенную Лилей вовсе не бескорыстно. Всерьез эту версию принять невозможно: в таких «гонорарах» Лиля никогда не нуждалась, любой мужчина считал за честь, если она на него обращала — пусть на день, пусть на час :— благосклонный взор.

Теперь она стремилась в Италию, хотя и писала Маяковскому, что «адски» хочет в Нью-Йорк. По мнению врачей, ей очень бы пригодилась лечебная грязь знаменитых итальянских курортов. Предвидя обычные сложности, Лиля написала хорошо ей знакомому Платону Керженцеву, советскому послу в Риме, прося о содействии. В Америке хлопотать за нее было некому — возможности эмигрировавшего в США Давида Бурлюка, который не смог помочь Маяковскому, были предельно скромны, Визу в Штаты не давали ей, визу в Италию — ему Ни в Америке, ни на Апеннинах их встреча не могла состояться. Каждому предстояло провести какое-то время в разлуке друг с другом.

Теперь уже очевидно, что вовсе не вспыхнувшая внезапно любовь, а потребность в разрядке, стремление избавиться от одиночества и унижения толкнули Маяковского на очередной роман, который оказался вовсе не мимолетным — хотя бы из-за своих последствий. Его познакомили с русской эмигранткой немецкого происхождения Елизаветой Зиберт, которая непостижимым образом из забытой Богом Уфы добралась до Нью-Йорка и, выйдя замуж за американца, превратилась в Элли Джонс. Ей только что исполнился двадцать один год, но она уже успела с мужем разойтись, оказавшись, так же как Маяковский, «свободной от любви».

Роман вспыхнул сразу и был, как обычно в подобных случаях, бурным и страстным. Косвенным, но весьма убедительным свидетельством увлеченности Маяковского служит внезапно оборвавшаяся переписка с Лилей. Вопреки давней традиции, он не писал ей по целым неделям, отозвавшись наконец после нескольких ее телеграмм: «Скучаю Люблю Телеграфируй», «Куда ты пропал?», «Милый мой Щеник, я тебя люблю и скучаю».

Элли могла уделять Маяковскому лишь время, свободное от работы. Ему трудно было с этим мириться: женщина, даже если отношения с ней длились очень короткий срок, должна была принадлежать ему безраздельно. Таким он был всегда, до своей последней минуты. Уязвленный— без всяких к тому оснований — в очередной раз, он заперся в комнате, где жил, не желая ни с кем общаться. Хозяин квартиры знал телефон Элли. Он позвонил ей: «Господин Маяковский не выходит из дому уже три дня. Что делать?» Элли тотчас примчалась. «Не оставляй меня, — попросил Маяковский, — я не могу быть один, Бросай работу,

останься со мной».

Мысль о том, что значит для одинокой женщины бросить работу в чужой стране, ему в голову не приходила. Пять лет спустя он скажет те же слова другой женщине, для которой ее работа тоже значила очень много. Все повторится, только финал будет другим...

В это же время пришла еще одна беда. 27 августа на озере Лонг-Лейк под Нью-Йорком при загадочных обстоятельствах утонули бессменный заместитель Троцкого в годы гражданской войны Эфраим Склянский и председатель правления акционерного общества «Амторг» (по сути, советский торгпред в Соединенных Штатах, с которыми еще не были установлены дипломатические отношения) Исайя Хургин. Якобы под сильным порывом ветра лодка перевернулась, и отличные пловцы пошли на дно...

Сбежавший позже на Запад помощник Сталина Борис Бажанов утверждал, что это был не несчастный случай, а убийство, организованное по приказу Сталина его ближайшими сотрудниками Каннером и Ягодой. Хургин отечески опекал Маяковского в Америке, был ему в Нью-Йорке самой надежной опорой. Это он добился разрешения на въезд Маяковского в страну— после того как Бурлюк потерпел неудачу, — поселил в том же доме, где жил сам, только этажом выше, устраивал его выступления и поездки по стране. Он же пытался пробить ему итальянскую визу. Теперь разом рухнули все планы — эта нелепая смерть пробудила у Маяковского тяжелые предчувствия. Только Элли с ее преданностью и самоотдачей возвращала ему душевный покой.

Маяковский не скрыл от Элли свои отношения с Лилей. Не скрыл и того, до какой степени от нее зависит. Эта исповедь не стала помехой для их краткосрочной любви. Вместе они ездили в кемпинг еврейских рабочих «Нит гедайге», которому суждено было остаться в его поэзии, вместе рисовали (наброски портрета Элли остались в его архиве). Их всюду сопровождал Давид Бурлюк. Только он и знал ту тайну, которая открылась Маяковскому перед его отплытием в Европу (конец октября): Элли беременна и от своего ребенка он отказываться не собирается. Бурлюк свято хранил тайну своего друга несколько десятилетий.

Но от Лили Маяковский ничего не утаил. Они встретились в Берлине, куда он приехал из Парижа, она из Италии, проведя три недели на термальном курорте Сальсомаджиори, специально предназначенном для лечения гинекологических заболеваний. Верный давнему уговору — ничего не скрывать др от друга, —

Маяковский рассказал ей и об Элли, к о будущем ребенке. Не похоже, чтобы это ее испугало. Она знала, что, как и она сама, Маяковский не имел потребности в родительских чувствах и бежал от всего, что могло бы его втянуть в семейный быт. «Если бы я вышла за него замуж,— говорила она годы спустя, — нарожала бы детей, и поэт Маяковский на этом бы закончился».

Ребенок в Америке, рожденный случайно встреченной женщиной, с которой у него не было никакого душевного родства, не мог быть, считала Лиля, помехой его поэзии. Несколько месяцев спустя он выполнил свой первейший долг— оплатил все расходы по родам, переведя в американский госпиталь сумму, которую ему назвала Элли. Нежданное отцовство — родилась дочь, которой мать дала имя Хелен-Патриция (в быту — тоже Элли, в русском варианте— Елена Владимировна), — не только не стало помехой его поэзии, оно вообще не нашло в его стихах ни малейшего отражения. Факт, говорящий сам за себя.

Пробыв в Берлине вместе четыре дня, Лиля и Маяковский вместе возвратились в Москву. На вокзале их встречали Эльза и Осип. Лиля вышла из вагона, сияющая, в новой ослепительно красивой беличьей курточке — Маяковский сделал ей этот подарок в Берлине. Казалось, жизнь возвращается в прежнее русло. Но так только казалось.

ФИЛИАЛ ГПУ

После возвращения Лили и Маяковского вся семья снова собралась вместе. Но это была уже другая семья. Краснощеков и Элли — каждый по-своему — окончательно разрушили тот необычный союз, который существовал целых семь лет. Те отношения, которые принято называть интимными, между Лилей и Маяковским были прекращены: судя по дошедшим до нас письменным свидетельствам, инициатором разрыва была Лиля, и он этому не противился, сознавая, что ПРЕЖНЕЙ любви действительно «пришел каюк». По свидетельству Лили, это решение они оба приняли еще в Берлине — в те четыре дня, которые провели там вместе. Возвратившись, подтвердили его друг другу окончательно и бесповоротно.

Весьма важные изменения произошли и в жизни Осипа. На съемках фильма по его сценарию он познакомился с двадцатипятилетней женой режиссера Виталия Жемчужного — Евгенией Соколовой, и дружеские отношения, завязавшиеся между ними, вскоре перешли в еще более дружеские. По свидетельству самой Жени, этот «переход» состоялся лишь через два года, но так или иначе уже к концу 1925 года, когда союз Лили и Маяковского обрел иные формы, Женя на правах «своего человека» пошла в их общую семью. У нее была своя комната в коммунальной квартире на Арбате, в том доме, где теперь расположился музей Пушкина, так что никаких бытовых неудобств для оставшегося неизменным «триумвирата» появление Жени не принесло.

Если судить по переписке между Лилей и Маяковским, сотрясавшие их союз события и принятое ими решение не внесло перемен в их отношения. Даже тот несомненный факт, что они стали уже иными, переписка тоже не отражает ни одним словом. Неизменными остались обращения: «Дорогой, милый, родной, любимый», одинаковые в обе стороны. Неизменными— заверения в безграничной любви: «Целую тебя обеими губами, причем каждой из них бесконечное количество раз». И в этом не было ни малейшей фальши. Все, что действительно их связывало друг с другом: взаимопонимание, общие интересы, осознание того, насколько каждый из них нужен другому, — все это осталось, выдержав испытание временем, и не могло исчезнуть даже после того, как ушла физическая любовь.

Теперь каждый чувствовал себя еще более свободным, чем раньше. Стабильности новых отношений уже не могли помешать никто и ничто. Маяковский добился для себя и для Бриков

большой — по советским меркам — квартиры в Гендриковом переулке, на Таганке, сохранив за собой рабочий кабинет в Лубянском проезде и вступив в жилищностроительный кооператив я расчетом иметь в перспективе квартиру побольше и покомфортабельней. И опять же — не только для себя, но и для Бриков! Никаких перемен, стало быть, в их союзе не намечалось и впредь.

После солидного ремонта, сделанного при ближайшем участии Лили, все трое переселились в Гендриков из Сокольников. Каждому досталось по ком нате, а общая, объявленная столовой, стала местом постоянных литературных и дружеских встреч. Здесь по вторникам регулярно собирались поэты, художники, деятели кино и театра. Главным образом те, кто группировался вокруг журналов «ЛЕФ», а затем «Новый ЛЕФ» («ЛЕФ» — аббревиатура литературно-художественного объединения «Левый фронт искусств») или был к ним близок по творческим позициям и эстетическим взглядам: кроме Маяковского и Бриков, поэты Николай Асеев, Семен Кирсанов, Борис Пастернак, прозаик и эссеист Виктор Шкловский, драматург и публицист Сергей Третьяков, режиссеры Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Дзига Вертов и многие другие.

Эти собрания высокоталантливых людей, объединенных общими интересами и потребностью в обсуждении актуальнейших проблем литературы и искусства, недоброжелатели и завистники (среди которых, увы, было тоже немало людей весьма даровитых) презрительно обозвали «салоном Лили Брик», ни за что ни про что бросив тень прежде всего на нее, а также на всех, кто спешил в Гендриков переулок, предвкушая всегда интересный, духовно и эмоционально наполненный вечер, С разных позиций Лиле можно было — и тогда, и потом — предъявить немало претензий, но уж в том, что она «держала» этот «салон», никакой вины ее нет. Совсем наоборот: благодаря ее энергии и обаянию, благодаря тому, что, презрев склоки и сплетни, она продолжала делать то, что считала нужным, блистательные представители культуры того непростого времени имели возможность регулярно встречаться в непринужденной обстановке, свободно выражая себя и развивая в острых дискуссиях свой творческий потенциал.

Четырехкомнатная квартира в Гендриковом тогда казалась чуть ли не роскошью. Сегодня мы можем понять по дошедшим до нас подробнейшим описаниям, насколько нищенским, аскетически скромным был в действительности Лилин «салон». Голые стены, дешевенькие половички для утепления,

канцелярские столы и стулья, деревянные скамеечки, древняя тахта, столь же древние кровати, «нарпитовская» посуда, жалкий буфетик... Только ванная, которой они были лишены годами, воспринималась как истинная, а не мифическая роскошь. Собираясь за столом под синим абажуром, Лиля потчевала участников застолий круглыми пирожками, которые делала ее домработница Аннушка Губанова. «Кому пирожок?» — спрашивала Лиля и бросала его через стол— «прямо в руки». Еду подавали самую бедную, зато пиршество духа ощущалось гостями во всей его полноте. Но гостем здесь никто себя не считал— каждый допущенный был полноправным членом этого приватного клуба и чувствовал себя у Бриков и Маяковского не КАК дома, а попросту дома. Создать эту атмосферу и поддерживать ее могла только Лиля, по-прежнему притягивавшая к себе как магнитом и поклонников, и просто друзей. Впрочем, если точнее: все поклонники были друзьями, а все друзья, конечно, поклонниками, не посягая при этом на ее любовь в общепринятом смысле слова.

В 1926 году ни Лиля, ни Маяковский за границу не поехали. Возможно, не было повода. Вероятно, не было денег. Но главное — исключительно важные перемены в их жизни требовали какой-то внутренней сосредоточенности и душевного успокоения. Маяковский стремился не оставаться в Москве — этот год чрезвычайно насыщен его поездками по Советскому Союзу с огромным количеством выступлений в разных городах, неизменно сопровождавшихся шумным успехом.

Летом на короткое время их пути снова пересеклись. Предварительно договорившись, они встретились в Крыму, в курортном поселке Чаир, на берегу Черного моря. Название этого поселка, которое вскоре затмили другие, более громкие курортные названия, было тогда на слуху: во всех ресторанах и на всех эстрадных площадках распевали популярный романс «В парке Чаир распускаются розы.,,». Среди роз и кипарисов около двух недель и провели вместе две пары: Лиля с Краснощековым и Маяковский, который тут же, в Чаире, познакомился с молодой харьковской студенткой Наташей Хмельницкой и начал за ней ухаживать на виду у всех. В том числе и у Лили. Лиля не только не препятствовала этому тривиальному курортному роману — скорее поощряла его: с первой же минуты она безошибочно определила, что чем-то серьезным здесь и не пахнет...

Пытаясь найти для себя какое-то занятие (просто ездить и просто влюбляться — уже приелось), Лиля поступила на неоплачиваемую работу в канцелярию Общества землеустройства еврейских трудящихся (ОЗЕТ), которое было тогда одержимо

созданием еврейских колоний (позже — колхозов) в степной части Крыма. По сценарию Виктора Шкловского режиссер Абрам Роом снял документальный фильм «Евреи на земле», титры к которым написал Маяковский, а Лиля работала какое-то время на съемках в качестве ассистента режиссера. Ее поездке в Чаир предшествовало посещение еврейских колоний в западной части Крымского полуострова, возле Евпатории, которые показались ей «ослепительно интересными». Много позже, когда Сталин приступит к решению на свой лад пресловутого «еврейского вопроса», от этих колоний не останется и следа.

Краснощекова вновь допустили до прежней работы в наркомате финансов, и он, чтобы оправиться от затяжной и мучительной болезни, обострившейся в тюрьме, поехал в Крым набираться сил перед предстоящими ему служебными буднями. Но, в сущности, это было прощание с подходившей к концу любовной историей. Она и так уже длилась непомерно долго — по Лилиным меркам. Впереди маячила новая и тоже, разумеется, кратковременная любовь. Объектом ее очередных, внезапно вспыхнувших, чувств стал очень известный в ту пору кинорежиссер Лев Кулешов, активный лефовец, друг Маяковского и Осипа Брика.

...Льву Владимировичу Кулешову, которого позже справедливо назовут патриархом советского кино, было тогда двадцать семь лет (Лиле — тридцать пять). Он был мужественно красив, поражая женщин не только талантом, но и своеобразной внешностью: серо-синие глаза, каштановые волосы, белозубая улыбка в сочетании с благородной спортивностью (он увлекался охотой, мотоциклом, пластикой движений) заставляли трепетать не только Лилино сердце...

К тому времени Кулешов успел уже стать знаменитостью после громкого успеха его эксцентрической кинокомедии «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» по сценарию другого лефовца Николая Асеева. До этого Кулешов был кинохудожником, фронтовым оператором, создал свой коллектив (нечто вроде экспериментальной киностудии), где ведущую роль играла его жена, актриса Александра Хохлова, снимавшаяся практически во всех его фильмах.

Хохлову отличали не только исключительный актерский талант, но и столь же исключительная наследственная интеллигентность По отцовской линии она происходила из известнейшей в России семьи Боткиных (один брат был крупнейшим терапевтом, второй художником, третий писателем и критиком), по материнской из семьи создателей Третьяковской

галереи — самых знаменитых русских коллекционеров XIX века братьев Третьяковых. Возможно, именно генетические корни и незыблемые традиции русского интеллигента особенно мешали ей принять чуждый всему ее существу «новый» образ жизни, который осуществляла на практике Лиля Брик.

В отличие от романа с Краснощековым очередное увлечение Лили нарастало постепенно, вызывая страх перед неизбежным у Шуры Хохловой и очередной приступ ревности у Маяковского, которому, казалось бы, уже пора было смириться: привычки Лили были ему хорошо известны, а любовные отношения с ней прерваны... Но сердцу, как видно, действительно не прикажешь! В очередное заграничное путешествие он отправился как раз тогда, когда отношения между Лилей и Кулешовым стремительно приближались к «высшей фазе».

На этот раз Маяковского пригласили для встреч с писателями и для публичных выступлений четыре национальных центра Международного ПЕН-клуба. По такому случаю он получил командировку от Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (БОКС), которое возглавляла Ольга Каменева — жена ближайшего сотрудника Ленина Льва Каменева и сестра уже впавшего в немилость Льва Троцкого. Впервые при поездке за границу Маяковского снабдили весьма неплохими деньгами. Обеды и ужины в его честь, проходившие с огромным успехом многолюдные поэтические вечера в Праге, Париже, Берлине, Варшаве несколько отвлекли Маяковского от тревожных дум — при полном отсутствии информации о событиях в новом семейном кругу.

За все это время он получил от Лили лишь одно — сугубо деловое — письмо, в котором главная просьба выражена предельно четко: «Очень хочется автомобильчик. Привези, пожалуйста. Мы много думали о том — какой. И решили — лучше всех Фордик. 1) Он для наших дорог лучше всего, 2) для него легче всего доставать запасные части, 3) он не шикарный, а рабочий, 4) им легче всего управлять, а я хочу обязательно управлять сама. ТОЛЬКО КУПИТЬ НАДО НЕПРЕМЕННО Форд ПОСЛЕДНЕГО ВЫПУСКА, НА УСИЛЕННЫХ ПОКРЫШКАХ-БАЛЛОНАХ; с полным комплектом всех инструментов и возможно большим количеством запасных частей».

Маяковский, конечно, знал, чем вызвана эта внезапная потребность Лили в «автомобильчике». Кулешов был тогда обладателем единственного, наверно, во всей Москве личного «форда». Он катал на нем Лилю по городу, приезжал — иногда вместе с Лилей — на дачу, которую традиционно снимали в поселке Пушкино. Однажды, отправившись с Лилей в Москву,

прихватил по дороге и Маяковского. Так что Лилина просьба, за которой незримо стоял Кулешов, хотя бы только поэтому не могла вызвать у Маяковского бурного энтузиазма. Во всяком случае, выполнять ее он не спешил.

Никогда еще в Париже Маяковский не чувствовал себя столь желанным и привечаемым, как в этот раз. Остановившись снова в отеле «Истрия», он все дни проводил с давно вернувшейся из Москвы Эльзой, не без хлопот которой был устроен его грандиозный вечер в не существующем ныне кафе «Вольтер», неподалеку от «Одеона». После вечера вместе с Эльзой, Эренбургом и еще несколькими друзьями все отправились в ночное кафе, где играл оркестр и где его снова чествовали, теперь уже в узком кругу. Никаких последствий просьба Лили об «автомобильчике» на этот раз не возымела. Возможно, он воспринял ее просто как прихоть.

Это была, вероятно, самая краткая его поездка — из всех заграничных за последнее время. Неудержимо влекло в Москву. Лилю тревожила нежданная реанимация уже, казалось бы, укрощенного чувства. Как раз в это время ее отношения с Кулешовым достигли своего пика. Шура Хохлова, потрясенная предательством мужа и коварством «подруги», пыталась покончить с собой.

Подобная реакция вызвала у Лили несказанное удивление. Она искренне не понимала, к чему такие театральные страсти?! Ну, сойдутся люди, кому с кем и как хочется, потом вместе соберутся за общим столом... Зачем же стреляться? Позже, когда перевернется и эта страница ее жизни, она скажет — не в оправдание, а в подтверждение своей неизменной позиции: «Вот видите — все благополучно закончилось, никто не пострадал, все снова дружат домами. А что было бы, если бы и вправду из-за таких пустяков люди стали накладывать на себя руки?!»

В июле 1927 года Лиля, ни от кого не таясь, отправилась с Кулешовым в поездку на Кавказ. Сначала они побывали в Тбилиси (тогда Тифлис), потом поехали в маленький курортный поселок Малинджаури под Батумом, у турецкой границы. В это же время Маяковский готовил очередную свою поездку на Украину и в Крым. По чистой ли случайности — а скорее всего, сознательно, по точному расчету — его маршрут и путь Лили с Кавказа в Москву пересеклись в Харькове.

Глубокой ночью Маяковский встречал на вокзале московский поезд. «Неужели тебе не хочется, — спросил он, — остаться на день в Харькове и послушать новые стихи?» Лиля тотчас решилась. Передав чемодан через окно, она успела спрыгнуть со ступеньки двинувшегося вагона, очутившись в объятиях

Маяковского. Кулешов возвращался в Москву один. Спираль их бурного романа уже по шла вниз.

Ночью, в унылом гостиничном номере, Лиля слушала главы из новой поэмы Маяковского «Хорошо». На следующий день продолжила путь, пожелав Маяковскому в Крыму «вести себя именно хорошо, а не плохо». Понять столь прозрачный намек сложности не представляло.

Уже давно, и не только ей одной, было известно про очередное увлечение Маяковского — на этот раз, кажется, более сильное, чем те, что случались раньше. Еще в мае предыдущего года он познакомился с двадцатилетней сотрудницей библиотеки Госиздата Наташей Брюханенко— высокой, крупной, ему под стать, девушкой с гордо посаженной небольшой головкой и румяными щечками. Вскоре он стал с ней встречаться — сначала время от времени, потом все чаще и чаще. Катал ее на извозчике (тогда это считалось не только способом передвижения, но и дорогим развлечением), приглашал в рестораны на обед или ужин, просто гулял по улицам, читал свои стихи

Их тянуло друг к другу, отношения стали более тесными. Маяковский приводил ее не только к себе в Лубянский, но и — в отсутствие Лили — в Гендриков и даже на дачу, где она часто оставалась на ночь. От Осипа не таился, от других дачных гостей тем более. Но перед Лилей «флирт» открыто не демонстрировал. Возможно, это было условием, которое поставила ему Наташа. Секрет был призрачным, абсолютно условным, — Лиля все знала и не вмешивалась до тех пор, пока отношения не переступили ту черту, которую она считала предельной. Запредельной, в ее понимании, была готовность жениться. Именно к этому дело вроде бы и шло.

Маяковский настолько ни от кого не таился, что все завсегдатаи бриковского дома ждали сообщения о предстоящей свадьбе. Друзья отмечали, заставая его вместе с Наташей, их «красивые, встревоженно счастливые лица» (по свидетельству одной из мемуаристок), потребность в проявлении взаимных чувств у всех на виду. В мемуарной литературе о Маяковском отмечен такой эпизод: на террасе пушкинской дачи он, не смущаясь приехавших гостей, гладит руки Наташи, перебирает ее длинные пальцы, прижимает ладонь к своей щеке…

Есть много свидетельств, подтверждающих, что Лиля самым пристальным образом следила за тем, как развивались отношения между Маяковским и Наташей, настолько пристально, что из разных источников получала информацию о каждой их встрече. В первых числах августа он послал Наташе телеграмму из Крыма: «Очень жду. Выезжайте тринадцатого. Встречу Севастополе». Не

получив ответа, два дня спустя отправил вторую: «Приезжайте скорее. Надеюсь пробудем вместе весь ваш отпуск. Убежденно скучаю». Это не мешало ему в тот же день отправить телеграмму и Лиле: «Целую. Люблю».

Каким образом, однако, Лиля узнала о вызове, который Маяковский послал не ей, а сопернице? Каким образом узнала, что встреча в Крыму состоялась и что влюбленная пара отпуск проводит вместе? А узнала она это со всей несомненностью. Подтверждением служит письмо, отправленное ею Маяковскому 17 августа в Ялту: «Ужасно крепко тебя люблю. Пожалуйста, не женись всерьез, а то меня ВСЕ уверяют, что ты страшно влюблен и обязательно женишься!»

Письмо это опубликовано. Только в нем, в отличие от всех других опубликованных писем ее к Маяковскому, после приведенных слов сделана купюра, никак не оговоренная публикатором — выдающимся шведским славистом, крупнейшим знатоком жизни и творчества Маяковского Бенгтом Янгфельдтом. Кто не знает, что умолчания бывают порой красноречивее слов?!

Более двух недель Маяковский и Наташа провели вместе в Ялте, поселившись в гостинице «Россия» — одной из крупнейших на этом модном курорте. Их видели неразлучными много людей • — знакомых и незнакомых. 2 сентября пароходом выехали на Кавказ — за день до сильного землетрясения, разрушившего чуть ли не половину Ялты. У Маяковского были назначены выступления на курортах Кавказских минеральных вод. Наташа была с ним, они жили в «Гранд-отеле» Кисловодска, главного города курорта.

Счастливая молодая пара обращала на себя внимание даже тех, кто не знал в глаза Маяковского. Лиле было известно место его пребывания — телеграммы исправно шли в обе стороны, — но никакого упоминания о Наташе в них, естественно, нет. Зато о своем возвращении в Москву — после двух недель, проведенных в Кисловодске, — Маяковский известил Лилю, точно указав день и час приезда. Это означало, что он просит о встрече.

Они оба хорошо знали тот условный язык, на котором общались друг с другом. Эта телеграмма свидетельствовала, по крайней мере, об одном: их отношения неизменны. Лиля отправилась встречать Маяковского на вокзал вместе с Ритой Райт, сознавая, конечно, что встретит не только его: личного знакомства с Наташей у нее все еще не было.

«Лилю на вокзале я видела секунду, — вспоминала впоследствии Наташа Брюханенко, — так как сразу метнулась в сторону и уехала домой. Я даже не могу сказать, какое у меня осталось впечатление об этой замечательной женщине».

Воспоминания эти были написаны в пятидесятых годах, когда Наташа, давно уже ставшая к тому времени Натальей Александровной, со всей достоверностью знала, кто воспрепятствовал ее браку с Маяковским. Тем не менее Лиля так и осталась для нее «замечательной женщиной», которая умела, околдовывать, как мы знаем теперь, не только мужчин, но и женщин.

Впрочем, тогда, в сентябре 1927 года, на отношениях с Маяковским Наташа еще не поставила крест. Лиля же безошибочно тонким чутьем поняла однозначно: опасности потерять Маяковского из-за ЭТОЙ девочки больше не существует. Когда два месяца спустя, в конце ноября, Маяковский выехал в очередное турне, не предупредив Наташу, но прислав ей с дороги поздравительную телеграмму ко дню рождения, она позвонила все еще не знакомой Лиле: «Дайте, пожалуйста, точный адрес Владимира Владимировича, мне надо послать ему ответную телеграмму». И адрес был немедленно дан без излишних расспросов. Лиля признала в ней будущую приятельницу, ко никак не соперницу.

...В конце 1927 года Лиле предстояло познакомиться с еще одной, но уже бывшей, любовью Маяковского — с той самой Сонкой, из-за которой, вопреки ее воле, разразился почти десятью годами раньше скандал. Тот, что спровоцировал Корней Чуковский и усугубил своим вмешательством Горький. Любви уже не было — остались только воспоминания. Соня Шемардина успела за эти годы сделать партийную карьеру. Работала в Сибири, потом вернулась в Минск, откуда была родом, там тоже занимала ответственные посты. Ее муж Иосиф Адамович возглавлял тогда правительство Белоруссии. Бывая в Москве, Сонка виделась с Маяковским, слышала его восторженные рассказы о Лиле, но знакомства с ней не удостоилась. В Гендриковом бывала только в отсутствие Лили.

Теперь мужа перевели на работу в Москву, и сама Сонка стала большим человеком: членом руководства профсоюза работников искусств, обладавшего очень большим весом. На правах давнего друга Маяковский счел возможным обратиться к Сонке за помощью. По вполне понятным причинам Лиля пыталась войти в съемочный коллектив, который под руководством режиссера Кулешова приступил к работе над новым фильмом. Административными функциями режиссер не обладал, а дирекция воспротивилась претензиям дилетантки. Главе профсоюза Лебедеву ничего не стоило решить этот пустяковый вопрос. Но Маяковского, которого Сонка к нему привела, он сначала унизил вопросом: «А вам-то до этого какое, собственно,

дело?» Маяковский вспылил: «Лиля Юрьевна моя жена».

Его реакция произвела на Сонку огромное впечатление — она ценила такую преданность и открытость со стороны мужчины. И ее ничуть не смутило. что Маяковский год спустя попросил Адамовича помочь Лиле с валютой, когда в очередной раз она поехала за границу. Адамович устроил для Лили денежный перевод. Оба эти события открыли дорогу Сопке в крут Лилиных друзей. Друзьями они и останутся — до конца.

Осенью 1927 года отмечалось десятилетие Октябрьской революции. Маяковский написал к юбилею поэму «Хорошо», с огромным успехом читал ее в разных аудиториях. Главы из поэмы, а потом и вся она печатались в разных газетах и журналах. Это был пик его славы. Именно в ней, в этой поэме, написанной уже после того, как — по бытовым стандартам — любовным отношениям с Лилей пришел «каюк», он снова говорит о своей неизменной любви. О «глазах-небесах» любимой — тех самых, которые «круглые да карие, горячие до гари».

Как раз в эти дни на юбилейные торжества съехалось в Москву много иностранных гостей, в том числе писатели, люди искусства. Квартира в Гендриковом была в те дни местом их встреч. Пришли его парижские знакомые писатели Жорж Дюамель и Люк Дюртен, познакомившийся с ним в Мексике художник Диего Ривера, известный ему по Нью-Йорку писатель Теодор Драйзер. Все они сочли необходимым — кто пространнее, кто короче — записать свои впечатления о Лиле. И во всех отзывах неизменно фигурируют.ее глаза— сияющие, манящие, бездонные, завораживающие, очаровательные...

По мнению многих биографов, в эти осенние дни 1927 года в квартире в Гендриковом появляется и обаятельный чекист, зловещая роль которого во многих кровавых операциях Лубянки ныне хорошо известна. По другим данным — и об этом уже сказано выше, — в круг Бриков — Маяковского Яков Саулович Агранов («милый Яня», как здесь его называли) вошел еще шестью годами раньше. Никто с точностью не знает, как, когда, при каких обстоятельствах это случилось.

Косвенным ориентиром считаются созданные в 1927 году поэтические панегирики Маяковского в адрес чекистов. «Солдаты Дзержинского Союз берегут», «ГПУ— это нашей диктатуры кулак сжатый», «Бери врага, секретчики!», «Плюнем в лицо той белой слякоти, сюсюкающей о зверствах Чека», «Зорче и в оба, чекист, смотри!»— эти и другие стихотворные афоризмы Маяковского были тогда в ходу и цитировались повсеместно. Не обошел поэт своим вниманием «славных чекистов» и в поэме «Хорошо»: «Лапа / класса / лежит на хищнике — Лубянская / лапа / Чека». И там

же: «Юноше, / обдумывающему / житье, / решающему— сделать бы жизнь с кого, / скажу, / не задумываясь,/ — «Делай ее с товарища Дзержинского».

Случайно ли все эти восторги совпали с нашествием «солдат Дзержинского» в дом Маяковского— Бриков? Стихотворение «Солдаты Дзержинского», написанное к десятилетию создания карательных органов советской власти, посвящено «Вал. М.», то есть Валерию Михайловичу Горожанину, тому видному чекистскому деятелю, с которым Маяковский сочинил киносценарий «Борьба за нефть» — об истории захвата Англией иранской нефти.

Скорее всего, Маяковский познакомился с ним в Харькове, где Горожанин был крупной чекистской шишкой. Настолько крупной, что от щедрот своего сердца тут же сделал Маяковскому необычный подарок: револьвер с удостоверением к нему «на право ношения». Считается, что именно Горожанин на правах приятеля и соавтора (никакого участия в работе над сценарием он, видимо, не принимал, а был поставщиком материалов, собранных лубянской разведкой) привел Агранова в Гендриков. Но если вся чекистская братия появилась там лишь в 1927 году, то кто же устраивал Брика на работу в ГПУ и кто выдавал Лиле удостоверение сотрудника этих органов шестью годами раньше?

Дружба всей семьи с Аграновым была на виду, и многие современники, в том числе и те, кто был близок к дому, не сомневались в характере его отношений с Лилей. В некоторых свидетельствах прямо употребляется слово «любовники». Самый близкий из всех здравствующих к Лиле человек, Василий Васильевич Катанян, основываясь на рассказах самой Лили и сокровенно личных ее письменных свидетельствах, утверждает, что никаких иных отношений, кроме платонических и чисто дружеских, между ними никогда не было. Вполне возможно... И все же многие годы спустя, в беседе с литературоведом Дувакиным, она не отвергла, а промолчала, когда тот сослался на молву, что Агранов был ее любовником. Если бы молва была только молвой, и ничем больше, Лиля, вне всякого сомнения, решительно заявила бы, как не раз это делала в других случаях, что речь идет всего-навсего о сплетнях.

Скрывать свои любовные связи Лиля всегда считала делом ханжеским и никчемным. Кого хотела, того и выбирала для любовных утех, и не видела надобности оправдываться перед современниками и потомками. Но как раз этот альянс, пусть даже и не любовный, имела основания скрывать. Возможно, по просьбе Агранова, вызванной причинами сугубо делового порядка. Но, возможно, и потому, что понимала, насколько и чем фигура

Агранова выделяется из общего ряда ее обожателей и друзей. Если банально-любовных отношений все-таки не было, то на чем строилась их особо тесная дружба? Чем — поставим вопрос иначе — он привлек в таком случае расположение Лили? Ведь в тесный круг Бриков допускались только люди определенного интеллектуального уровня, главным образом из мира культуры.

Агранов стал не только завсегдатаем дома. Лиля проявляла большую нежность к его дочери от первого брака Норе, баловала ее, задаривала приятными вещами. Очень вероятно, что за всем этим скрывалась отнюдь не любовь в каком угодно смысле этого слова, а «служебные» отношения или, что еще вероятней, простой и всем понятный расчет: Агранов был очень влиятельным человеком и мог помочь в устройстве самых различных дел. Ему самому, в свою очередь, пресловутый Лилин «салон» был интересен как объект служебных наблюдений: ни для кого не являлось секретом, что он приставлен к интеллигенции и патронирует ее с Лубянских, разумеется, позиций. Наконец, вряд ли случайно, что в позднейших своих мемуарах, когда с имени Агранова уже был снят и формальный и моральный запрет, Лиля ни разу не упомянула о нем — ни в каком контексте, ни в каких интервью или воспоминаниях.

Не упомянула и других очень крупных лубянских бонз, тоже зачастивших в дом в Гендриковом. Наиболее видным из них был Михаил Сергеевич Горб (его подлинное имя: Моисей Савельевич Розман), в то время заместитель начальника иностранного отдела ОГПУ, руководивший работой советской резидентуры во Франции. С 1921 по 1926 год он, пребывая в глубоком подполье, возглавлял сеть лубянских агентов, обосновавшихся в Германии, жил по подложным документам в Берлине и почти наверняка встречался там и с Лилей, и с Осипом, и с Маяковским.

Появление Горба в Гендриковом и легкое вхождение в привычный круг друзей дома, несомненно, как раз тем и объяснялось, что отношения с хозяевами «салона» уже имели свою историю, а поездки Лили и Маяковского (всегда порознь!) в Париж представляли теперь для Горба, с учетом его новой служебной ориентации, особо большой интерес. По крайне скудным, но все же дошедшим до нас свидетельствам тех, кто его знал, Михаил Горб был поразительно бесцветной личностью («тщедушный физически и морально», как характеризует его один мемуарист) и ни в каком отношении не мог представлять интереса для обитателей квартиры в Гендриковом и для их гостей. Присутствие его там объяснялось явно другими причинами и было для Маяковского — Бриков не столько желанным, сколько принудительно вынужденным.

Еще более тесные, приятельские отношения Лиля установила со второй женой Агранова Валей — дружба с женами своих друзей вообще составляла одну из самых характерных черт ее личности и являлась надежнейшим способом избежать нежелательных конфликтов. Валентина Александровна Агранова (в девичестве Кухарева), которой исполнилось тогда двадцать семь лет, очень юной вышла замуж за одного из организаторов восстания против гетмана Петлюры на Украине — Федора Конара, Позже он стал заместителем наркома земледелия СССР. Сама она работала в аппарате треста «Цветметзолото» и однажды была вызвана в качестве свидетеля по делу одного из своих сослуживцев. Допрос вел Агранов. Он не только получил от свидетельницы нужные ему показания, но и, как принято говорить, положил на нее глаз. Итогом явились два развода и счастливое супружество Валентины с Аграновым, который уже тогда был одним из самых влиятельных людей на Лубянке. Да и в стране...

Существующее в литературе стремление представить всех лубянских бонз из окружения Маяковского именно как первично ЕГО знакомых и лишь поэтому ставших знакомыми Лили вполне очевидно. Доказательств для таких утверждений нет никаких, но есть тенденция, последовательно проявляющаяся у всех, кто о Лиле писал до сих пор. Так ли уж это важно — кто и с кем познакомился первым и кто ввел эту публику в литературную среду на правах друзей, исполнявших под благопристойной личиной свои служебные функции?

С уходом Маяковского они не исчезли, оставшись, пока это было возможно, друзьями Лили. Уже тогда, в середине и в конце двадцатых годов, они привлекали к себе внимание всех, кому было странно видеть их за общим столом и за дружеским разговором. Много позже Борис Пастернак доверительно сообщил драматургу Александру Гладкову, что «квартира Бриков была, в сущности, отделением московской милиции». Уж он-то хорошо знал квартиру Бриков и всех ее посетителей! И кто чем занимался в этой квартире, знал тоже.

Но можно ли все это слишком прямолинейно ставить Лиле в вину? И таким ли пассивным созерцателем в этой компании был Маяковский? В стремлении отделить его «чистое» имя от «грязного» имени Лили ее обвинители, увлекшись поиском подтверждений загадочных связей с Лубянкой, нарочито уходят от другого вопроса, ничуть не менее важного. Что побуждало самого Маяковского тесно дружить с лубянской компанией, весьма далекой от его творческих интересов, и какие связи он сам в действительности имел с крупнейшими функционерами этого

ведомства? Что означает, к примеру, загадочная фраза из письма Маяковского Лиле из Парижа от 9 ноября 1924 года: «...Ничего о себе не знаю — в Канаду я не еду и меня не едут, в Париже пока что мне разрешили обосноваться две недели, <...> Как я живу это время, я сам не знаю. Основное мое чувство — тревога, тревога до слез и полное отсутствие интереса ко всему здешнему (усталость?)».

Допустим, пробыть в Париже лишь две недели ему разрешили французские, а не советские власти, поскольку он приехал с транзитной визой. Допустим, «тревога до слез» у него из-за романа Лили с Краснощековым, хотя тот и находится в это время в тюрьме. Допустим... Но почему он поехал во Францию с транзитной визой, не имея визы в страну, куда будто бы собирался? И действительно ли он собирался — ОН, а не те, кому это было нужно, — в Канаду? Ни малейших признаков того, что такие намерения у него были, обнаружить не удалось. Что означает: «в Канаду я не еду и МЕНЯ НЕ ЕДУТ», то есть в переводе с хорошо понятного жаргона па нормальный язык — не отправляют. Кто этим занимался— в Париже?! И особенно обратим на это внимание, почему же поэт «ничего о себе не знает»? Стало быть, «знает» кто-то другой, чье имя и функции называть в письме он не решается?

Все эти вопросы станут еще более загадочными в свете того, что, будучи на непонятном положении в Париже, Маяковский имел неофициальную, никак не афишированную, нигде не отраженную встречу с председателем сенатской комиссии по русским делам Анатолем де Монзи, который тремя месяцами раньше посетил Москву и был принят на очень высоком уровне. Будущий министр считался (кажется, не без основания) страстным «симпатизантом» большевиков, и определенные службы не могли не рассчитывать на его, хотя бы косвенную, помощь в установлении отношений между Москвой и Парижем. Он слыл горячим сторонником признания советской России де-юре, что вскоре и было осуществлено.

Маяковский ездил к нему в сопровождении двух молодых французов, одним из которых как раз и был пресловутый «Фонтанкин» (Жан Фонтенуа), тогда как до сих пор неизменным и постоянным переводчиком Маяковского была Эльза. На этот раз он даже не поставил ее в известность о предстоящем визите, а после визита не рассказал о содержании беседы, что прямо вытекает из ее воспоминаний. Можно предполагать, что, выполняя данное ему поручение, Маяковский вел не формальные переговоры с де Монзи. О чем? О расширении франко-русских контактов? Или о чем-то еще? Через каких-то два месяца после их

совместного визита к де Монзи Фонтенуа привел в Гендриков Поля Морана — в его представлении (точнее, в представлении тех, кто стоял за его спиной) Маяковский, видимо, был уже полностью «свой»...

Конечно, даже из совокупности всех этих фактов никак нельзя сделать вывода о какой-то «службе» Маяковского в лубянских структурах. Но, несомненно, отношения, о которых идет речь, в основе своей имели деловой, а вовсе не дружеский характер. Под «дружбу» мимикрировались самые разные интересы обеих «сторон», каждая из которых извлекала для себя из сложившихся отношений большую или меньшую пользу. Ничего предосудительного в этом Лиля не видела: менталитет тех кругов, к которым она принадлежала, был в ту пору совершенно не тем, какой сложился после Большого Террора, а тем более после позднейших разоблачений многообразной деятельности лубянских товарищей «на благо трудящихся всех стран».

1927 год— очень важная веха в жизни Лили и ее семьи, Маяковского прежде всего. Для поэта — высшая точка его признания при жизни, самые большие его творческие успехи на этом поприще, как и осознание им потребности определиться в личной жизни. Для Осипа — закрепление отношений с Евгенией Соколовой (Жемчужной) и его активная работа в кино в качестве сценариста художественных и документальных фильмов, которая открыла новые грани его литературных возможностей. Для Лили — завершение романа и с Краснощековым, и с Кулешовым и, видимо, первый в ее жизни любовный крах.

Очередным объектом ее внимания стал уже признанный, несмотря на свои тридцать четыре года, классиком советского кино режиссер Всеволод Пудовкин. Через посредство своего ближайшего друга и сподвижника Льва Кулешова он познакомился с Лилей и Осипом, вошел в их круг. К 1927 году Пудовкин был уже автором, по крайней мере, двух фильмов, которые смотрела вся страна— «Шахматная горячка» и «Конец Санкт-Петербурга», — и третьего, который обошел весь мир, — экранизации романа Горького «Мать».

К тому же он был заядлым теннисистом, бегло шпарил по-французски и отличался светским лоском, — словом, обладал всеми достоинствами, которые обычно пленяли Лилю. Теперь она вознамерилась украсить Пудовкиным великолепную компанию своих обожателей. Это намерение, по всем отработанным и привычным канонам, имело, казалось бы, основания быть реализованным, тем более что семейный союз Пудовкина чисто внешне как бы соответствовал Лилиным стандартам: с женой,

весьма известной в ту пору киноактрисой и журналисткой Анной Ли (в жизни — Анной Земцовой), знаменитый режиссер проживал раздельно.

На этот раз, однако, магические чары Лили эффекта не возымели. Никакого романа в плотском понимании этого слова не возникло. Пудовкин устоял, что не помешало им остаться друзьями. Год спустя Пудовкин поставит еще один фильм, которому суждено войти в историю мирового кино, — «Потомок Чингис-хана». Сценарий для него напишет Осип, и это еще больше сблизит их всех. Но отказ блистательного мужчины откликнуться на порыв блистательной женщины, всех сводящей с ума и не знавшей до сих пор ни одного поражения, не мог не ранить самолюбия Лили. Она стойко выдержала этот удар.

«ТЫ В ПЕРВЫЙ РАЗ МЕНЯ ПРЕДАЛ»

Весной 1928 года Лиля снова собралась за границу. Собралась вместе с Маяковским — их союз не распался и распасться уже не мог: слишком многое связывало этих двоих людей, чья духовная близость ни у кого не вызывала сомнений. Ни у кого, кроме недругов, разумеется: те — ни раньше, ни позже — не могли смириться с их образом жизни, не подпадавшим ни под какие известные до тех пор стандарты, даже литературные, и с добровольным «рабством», которое Маяковский сам на себя наложил — сознательно и добровольно.

Совместная поездка, однако, не состоялась: Маяковский тяжело заболел — грипп, которому он вообще был очень подвержен (эта его слабость вскоре окажется роковой), на сей раз был осложнен «затемнением» в левом легком, что грозило опасностью туберкулеза. Болезнь, которую тогда еще не умели лечить, наводила на Маяковского панический страх.

В середине апреля Лиля, оставив Маяковского лечиться у московских врачей, отправилась за границу одна, надеясь на скорую встречу с ним в Берлине, Это была, пожалуй, ее первая действительно деловая поездка. Кинодебют, осуществленный благодаря вмешательству Маяковского и его жесткой беседе с профсоюзным вождем, имел продолжение. Лиля (скорее всего, не без помощи Осипа, возможно, и Маяковского) написала сценарий пародийного фильма, нацелившего свои язвительные стрелы против «нравов буржуазного общества» (против кого же еще?!). Назывался он «Стеклянный глаз», его ставили совместно Виталий Жемчужный и Лиля. Личное снова теснейшим образом сплеталось с работой: Жемчужный, как мы помним, был все еще формальным мужем подруги Осипа Жени Соколовой — фактически всеми признанной его реальной жены. Право же, столь многоликих и столь крепко завязанных семейно-творческих узлов история еще не знала.

На одну из главных ролей была приглашена пи-кому тогда еще не известная молоденькая и необычайно прелестная Вероника Полонская, дочь одного из известнейших актеров дореволюционного русского кино Витольда Полонского. Лиля очень ей протежировала, как всегда это делала, встречая способных и нуждавшихся в поддержке людей, и, вероятно, была не прочь, чтобы Маяковский слегка приударил за хорошенькой — не более того, как ей казалось, — к тому же замужней актрисой. Маяковский на съемочной площадке не появлялся, а надобности в специальном знакомстве не было никакой: отношения

Маяковского с Наташей Брюханенко все еще продолжались, хотя обоим было ясно, что конец уже близок.

Едва Лиля уехала в Берлин, он позвал Наташу в Гендриков, где лежал с высокой температурой. Разговор не клеился, что-то уже надломилось. «Почему вы мне не говорите, что меня любите?» — напрямик спросила Наташа. Маяковский ответил ей с той же прямотой: «Я люблю Лилю. Ко всем остальным я могу относиться только хорошо или ОЧЕНЬ хорошо». И добавил: «Хотите — буду вас любить на втором месте?» У Наташи хватило гордости отказаться: «Нет! Не любите лучше меня совсем!»

В Берлине Лиле предстояло закупить несколько фрагментов из западных кинобоевиков — в соответствии со сценарием в фильме «Стеклянный глаз» предполагалось использовать их для осмеяния западного образа жизни. Было у Лили и множество других разных заданий: издательских, сценарных, театральных и прочих, связанных с творческими планами двух ее «мужей».

Дела «служебные», как обычно, сочетались и с личными: из Лондона, чтобы встретиться с дочерью, в Берлин прибыла Елена Юльевна. На одну неделю общения с ней Лилю как-то хватило, потом оно стало ее раздражать: «Хорошо, что мама уезжает!!»— призналась она в письме Маяковскому, отнюдь не случайно поставив в конце этой фразы два восклицательных знака. Приезд Маяковского был бы для нее куда более кстати, но его болезнь затягивалась, врачи настаивали на том, чтобы их пациент воздержался от каких бы то ни было дальних поездок. Мнительный Маяковский мог ослушаться всех, но только не врачей, которым подчинялся и полностью доверял.

Лиля, однако, не теряла надежды. «Волосит, — писала она из Берлина, — когда поедешь, привези: 1) икры ЗЕРНИСТОЙ; 2) 2—3 коробки (квадратные металлические) монпансье; 3) 2 фунта подсолнухов и 4) сотню (4 коробки по 25 штук) папирос <…>». В ожидании его приезда с заказанными ею подарками Лиля ходила в театры, в кино, гуляла по улицам, наслаждаясь всем заграничным, хотя Германия к тому времени уже впала в тяжелый экономический кризис, побудивший множество русских эмигрантов переселиться в Париж. И еще дальше — в Америку. «Видела Чаплинский «Цирк» — совсем разочарована! — сообщала Лиля Маяковскому. — А Писка-тор — такая скучища, что даже заснуть трудно! Мрак! Купила себе темно-синий вязаный костюм, туфли, часики и 4 носовых платка, по случаю насморка. <…> Берлин замечательный. Такси дешевые».

И все же пребывание в Берлине большой радости ей на этот раз не доставило. Маяковский не приехал. Для покупки фрагментов из кинофильмов — в том количестве и именно тех,

которые она отобрала, — московская кинофабрика не нашла денег. Режиссеров, которым она хотела продать написанный Осипом киносценарий, не оказалось в Берлине. И даже прокоммунистическое издательство «Малик», которое четырьмя годами раньше выпустило поэму Маяковского «150 000 000» в переводе Иоганнеса Бехера, не спешило связывать себя контрактами на издание новых его сочинений.

Не дождавшись Маяковского и поняв, что встреча не состоится, Лиля почти через месяц после отъезда из Москвы уехала на десять дней в Париж: во французском консульстве ей давали теперь визу без особых хлопот. Эти поездки, кстати сказать, неопровержимо свидетельствуют о том, что обитатели квартиры в Гендриковом переулке имели тогда, в отличие от миллионов своих сограждан, не только возможность беспрепятственно покидать страну и в нее возвращаться, но еще и без всяких проблем, никого и ничего не боясь, пересекать границы по своему усмотрению и иметь на то пусть не слишком большие, но вполне приличные средства. Они особенно не шиковали и все же могли позволить себе не менять устоявшихся привычек, не жаться, не экономить, получая от жизни то, что хотели бы получить.

Случайна ли, однако, такая странность: бывая в Париже порознь не один раз, Лиля и Маяковский никогда там не пересеклись, не провели вместе в городе, который оба страстно любили, ни одного дня? Вряд ли кто-то сознательно мешал им собраться в Париже, и все равно в этой странности есть какая-то мистическая закономерность.

По возвращении Лили в Москву вся семья вновь собралась на даче в Пушкино. На некоторое время воцарилась атмосфера относительного покоя. Осип и Женя, проведя начало лета на даче вместе со всеми, уединились (впервые вдвоем!) в частном пансионе под Ленинградом — в бывшем Царском Селе, которое теперь стало почему-то называться Детским. Отчаявшись в своих попытках сблизиться с Пудовкиным, Лиля смирилась с его положением «просто друга» и очень тепло привечала его, как и всех гостей, слетавшихся в подмосковное Пушкино «на огонек».

Как раз в это время Пудовкин ставил свой шедевр «Потомок Чингис-хана», обошедший вскоре экраны всего мира под названием «Буря над Азией». Сценарий, повторим и это, написал Осип Брик, а одну из главных ролей исполняла молодая Адель Судакевич, с которой у Маяковского завязался небольшой, никого не обременивший роман. Впоследствии Адель Судакевич станет женой Асафа Мессерера, у которого, в свою очередь, как мы помним, незадолго до того был роман с Лилей. Семейно-

творческий узел станет тем самым еще более многоликим и еще более тесным.

Вряд ли все участники осознавали, что они в точности осуществляют Лилин сценарий жизни, только и достойный, как она считала, современных интеллигентных людей: днем каждый располагает самим собой, не держась ни за какие условности, зато вечера и ночи проводит всегда под домашним кровом. По доброй воле, то есть сознательно, по привычке или в силу договоренности, как бы то ни было, но все они поступали именно так.

Воспоминания Лили и людей ее круга, их письма, которые нам известны, заполнены информацией о множестве разных забот, личных и деловых. Но тщетно искать там даже намека на ту обстановку, которая — хочешь не хочешь — их окружала, на бурные события за стенами их квартиры или подмосковной дачи. Словно жизнь проходила вне времени, и социальные бури, сотрясавшие всю страну, непостижимым образом обошли их всех стороной.

1928-й... Начались массовые раскулачивания. Нэп доживал последние дни, а тем, кто поверил басням про «всерьез и надолго», в самое ближайшее время предстояло расплатиться за свою святую наивность. С барабанно-пропагандистским шумом прошли первые «вредительские» процессы. Концентрационные лагеря были переполнены заключенными. Пока что их скопом еще не расстреливали, а лишь подвергали «социальной перековке», но звуки грядущих выстрелов уже были слышны каждому, кто нарочито не затыкал свои уши. Впервые после эпохи «военного коммунизма» ввели карточки на хлеб. Левая оппозиция была только что разгромлена, Троцкий находился в ссылке, ему предстояла вот-вот высылка из страны. Словом, за стенами городской квартиры и дачного дома происходили события, которые с полным на то основанием принято называть судьбоносными. Но ни малейшего отражения не только в письмах, а и в биографии Лили они не получили. У нее хватало своих забот.

Забитой номер один были съемки и монтаж «Стеклянного глаза» — работа шла успешно и уже близилась к концу. Заботой номер два — вожделенная машина, которую мог купить лишь Маяковский. Для этого ему надо было снова ехать в Париж, имея при этом разрешение на ввоз машины в Советский Союз и, конечно, достаточно денег. Маяковский собирался совершить кругосветное путешествие, о чем уже появились сообщения в печати. Но тогда покупку машины пришлось бы отложить по крайней мере на год. Возможно, и по этой причине (но не только,

не только...) проект кругосветного путешествия так и не был осуществлен.

Всегда доводившая до конца любое начатое дело, Лиля твердо решила овладеть автомобильным рулем и вскоре освоила тогда еще вовсе не женское, экзотическое по тем временам ремесло. Уехавшему в Париж осенью 1928 года Маяковскому Лиля послала вдогонку письмо, строго-настрого наказав: «ПРО МАШИНУ не забудь: 1) предохранители спереди и сзади, 2) добавочный прожектор сбоку, 3) электрическую прочищалку для переднего стекла, 4) фонарик с надписью «stop», 5) обязательно стрелки электрические, показывающие, куда поворачивает машина, 6) теплую попонку, чтобы не замерзала вода, 7) не забудь про чемодан и два добавочные колеса сзади. Про часы с недельным заводом. Цвет и форму (закрытую... открытую..,) на твой и Эличкин вкус. Только чтобы не была похожа на такси. Лучше всего Buick или Renault. Только НЕ Amilcar».

Разрешение на ввоз машины Маяковский •— при его связях, — разумеется, получил, хотя и после бюрократических проволочек. С деньгами было куда как хуже. Немецкие режиссеры и издатели, на которых была надежда, по разным причинам заключить контракты не смогли или не захотели. В Париже, куда он приехал в октябре, Маяковский начал переговоры с Рене Клером, предложив ему снять фильм по своему сценарию, замысел которого уже был в его голове. Переговоры поначалу шли, казалось, успешно, но и из этой затеи ничего не вышло. Лиля отреагировала незамедлительно:

«Щеник! У-УУ-УУУ-УУУУ!..!..!.. Волосит! Уууууу-у-у-у-!!! Неужели не будет автомобильчита! А я так замечательно научилась ездить!!! <...> Пожалуйста, привези автомобильчик!!!!!!!!!!!!!!!! <рисунок кошечки>!!!!!!!!!!!!!!! <рисунок кошечки> Прежде чем покупать машину, посоветуйся со мной телеграфно, если это будет не Renault и не Buick. У-ууууу-у-у .....! <...> Мы все тебя целуем и ужасно любим. А я больше всех».

Как старательно ни откликался Маяковский на все эти призывы, мысли его были тогда далеко.

По всей вероятности, главной помехой его кругосветному путешествию, которое так и не состоялось, был не столько «автомобильчик», сколько «американская тайна», о которой Лиля что-то знала, а что-то не знала. Элли Джонс с «малой Элли» — дочерью Маяковского — приехала в Европу, во Францию, несомненно, с единственной целью: показать дочь ее отцу и как-то определиться. Переписка Элли и Маяковского была не слишком обильной, но все же она была (письма из Нью-Йорка

приходили в Москву в Лубянский проезд). Маяковский знал, когда мать с дочерью приезжают во Францию и где именно будут.

Нет никаких оснований предполагать, что Лилю он поставил об этом в известность. Напротив! Обе Элли ждали его в Ницце, и он еще в Москве легко убедил Лилю, что нуждается в отдыхе после перенесенной им тяжелой болезни и напряженной работы. «ПОЕЗЖАЙ КУДА-НИБУДЬ ОТДОХНУТЬ! <…> Поцелуй Эличку, скажи, ЧТОБЫ ПОСЛАЛА ТЕБЯ ОТДОХНУТЬ», — написала Маяковскому Лиля в Париж 14 октября 1928 года, вполне приняв, таким образом, его версию за чистую правду.

Ответ не замедлил: «К сожалению, я в Париже, который мне надоел до бесчувствия, тошноты и отвращения. Сегодня еду на пару дней в Ниццу (навернулись знакомицы) и выберу, где отдыхать. Или обоснуюсь на 4 недели в Ницце, или вернусь в Германию. Без отдыха работать не могу совершенно!»

Без отдыха ему действительно было туго, но отдыхать в собственном смысле слова он вовсе не собирался. Из приведенных строк с очевидностью вытекает, что Лиля, как он полагал, об истинном цели его поездки не знала. На всякий случай он игриво ввернул фразочку об анонимных «знакомицах», невесть как ему повстречавшихся, рассчитывая при необходимости (вдруг в Ницце его «засечет» кто-то из общих знакомых!) отшутиться, сведя все к пустяковому флирту. Такое баловство не возбранялось. Он оставлял за собой возможность и быстро вернуться, и остаться в Ницце надолго под видом отдыха, если возникнет желание. Но желания не возникло.

Маяковский вообще никогда не умилялся детьми, потребности в отцовстве никто за ним не замечал. Эго был человек, совершенно неприспособленный к роли семьянина, отца семейства в общепринятом смысле слова. Перспектива оказаться в таком положении его отпугнула. Приезд в Ниццу для свидания с дочерью, сам по себе, уже мог бы косвенно означать, что он готов к исполнению этой роли. И кто в точности знает, какие слова он услышал от Элли? Что она ему предлагала? На что толкала?

Ничего общего в смысле духовном у них, разумеется, не было. Свершившийся «факт» — общий ребенок — мог стать искусственным мостом между ними. Мостом по необходимости. И значит — обузой. Маяковский бежал сломя голову. Уже 25-го он вернулся в Париж и сразу же отправил в Москву телеграмму: «Очень скучаю целую люблю». Отправил, еще не зная, какая встреча ему предстоит всего через несколько часов.

Эта встреча со всеми подробностями описана множество раз — возвращаться к ней снова необходимости нет. Речь идет, конечно, о том, что 25 октября во второй половине дня в

приемной частного врача доктора Жоржа Симона, невдалеке от Монпарнаса, Маяковский познакомился с двадцатидвухлетней русской эмигранткой Татьяной Яковлевой, стремительно и властно вторгнувшейся в его жизнь. А значит, и в жизнь Лили.

Встречу устроила Эльза, которая сама Маяковского туда привела, зная, что Татьяна будет там в это время. Свою роль «сводницы» Эльза объясняла так: с этой рослой, красивой соотечественницей она познакомила Маяковского лишь для того, чтобы избавить его от языковых проблем, а себя от обременительной необходимости постоянно быть рядом с ним в качестве переводчицы. Без консультаций с сестрой, а возможно, и без ее просьбы она никогда на это бы не решилась. Шальная идея — сводить Маяковского с барышнями в его вкусе — принадлежала Лиле и использовалась ею не раз. Скорее всего, Лиля и подбросила ее Эльзе. Ведь Агранов, Сноб или кто-то другой из того же ведомства отлично знали, зачем Маяковский поехал в Ниццу. Только очень наивный человек мог предполагать, что Маяковский за границей был свободен от лубянского глаза.

Возможные последствия рисовались чекистским бонзам в самом мрачном виде, традиционном для них: в каждом они видели потенциального предателя и невозвращенца. Отвлечь Маяковского от дочерней привязанности, избавить от опасности превратиться в эмигрантского мужа мог, по мнению Лили, которую, вероятней всего, поставили в известность о грозящей опасности, только новый «романчик». Лиля, естественно, обратилась за помощью к сестре. Как иначе понять ту стремительность, с которой Эльза устроила это знакомство в тот же день, когда Маяковский вернулся из Ниццы? И как объяснить этот странный способ знакомства: в приемной врача? Кто мог знать, что оно приведет не к очередному флирту, как было множество раз, а обернется чем-то куда более серьезным?..

Татьяна Яковлева, которую выписал с большим трудом из Пензы под предлогом лечения (она действительно болела туберкулезом и от него излечилась во Франции) ее дядя, известный в то время художник Александр Яковлев (за год до встречи Маяковского с Татьяной его даже удостоили орденом Почетного легиона), уже была избалована успехом у мужчин и всеми прелестями светской жизни. Она служила топ-моделью в фирме «Шанель». За ней ударяли такие богачи из эмигрантской элиты, как нефтяной магнат Манташев, и такие знаменитости из мира искусств, как композитор Сергей Прокофьев. Дни и вечера Татьяна и раньше проводила в обществе артистов, писателей, музыкантов, поэтому появление Маяковского само по себе не было для нее способом перехода в иную социальную среду. Она и

так в ней вращалась, появляясь вместе с Маяковским всюду, где были ее давние знакомые и друзья.

Эта пара, ставшая завсегдатаем монпарнасских кафе, сразу обратила на себя внимание литературной и артистической богемы Парижа. Волею поразительных обстоятельств именно в это время произошло знакомство Эльзы с Арагоном и — соответственно — Арагона с Маяковским. Так что октябрь 1928 года можно вполне считать знаменательной вехой в жизни сразу нескольких людей, входивших в тот «семейно-творческий круг», о котором уже шла речь.

Несомненное влияние на Маяковского оказал один, пустяковый в сущности, но все-таки тоже «мистический» факт. Еще в марте 1914 года, когда он, совершая «турне футуристов», заехал в Пензу, ему повстречалась молодая женщина Любовь Яковлева, за которой Маяковский слегка приударил. У женщины этой была восьмилетняя дочь — та самая Татьяна, с которой четырнадцать лет спустя его свела Эльза в Париже,., Дед Татьяны, кстати сказать, то есть отец пензенской знакомой Маяковского Любови Яковлевой, Николай Аистов, был главным балетмейстером императорского Мариинского театра в Петербурге, сменившим на этом посту Мариуса Петипа. У парижской эмигрантки, таким образом, была совсем неплохая родословная.

Этот роман стал сразу же развиваться не в соответствии с тем банальным сценарием, который сочинили в Москве. Маяковский влюбился отнюдь не на шутку. Об этом свидетельствует хотя бы один непреложный и бесспорный факт: Татьяна Яковлева вошла в его поэзию. И тем самым в его жизнь, притом отнюдь не ярко вспыхнувшей, но быстро погасшей кометой... Все другие, кроме Лили и тех, кто был до нее, сохранились в его биографии, но не оставили никакого следа в стихах.

Уже одно то, что появилась еще одна героиня его стихов, — тех, что наперед были обещаны только ей, — было для Лили тягчайшим ударом. Для нее это с непреложностью означало, что у Маяковского появилась не очередная барышня для любовных утех, а серьезная и опасная соперница. Безошибочным своим чутьем Лиля ощутила, что ЭТА опасность куда более велика, чем та, от которой Татьяне предстояло отвлечь Маяковского. То есть, попросту говоря, Лиля своими же пуками, сама того не желая, толкнула его в объятия реальной, а не воображаемой соперницы, в объятия, которые оказались куда более крепкими, чем она могла предполагать.

Все начало романа Маяковского и Татьяны проходило под бдительным оком Эльзы. И он и она по-прежнему жили в отеле

«Истрия», на крохотной территории которого разминуться было невозможно. А. хотелось бы! Ему— во всяком случае... Ведь очень скоро отношения двух влюбленных перешли в иное «качество». Татьяна приходила к нему в отель — это «документально» подтверждают сохранившиеся записи Маяковского и Татьяны в блокноте с золотой окаемкой, запечатлевшем их письменные диалоги за столиком кафе «Веплер» на площади Клиши, или кафе на вокзале Кэ д'Орсэ, или в каком-то еще вдали от любопытных глаз. Именно письменные — они оба предпочитали их устным, вовлекаясь в понятную только им любовную игру.

Он: «Люблю обсолютно». Она— в ответ, с симпатией и издевкой: «Теперь неизменно писать «обсолютно». Он: «Завтра у меня?» Она: «В Istria». Еще одна фраза, принадлежащая Татьяне: «Любите, и любимым будете». Тут же, рядом, записи красными чернилами, сделанные в Москве рукой Лили о том, что заказано ему купить для нее в Париже: «Рейтузы розовые 3 пары, рейтузы черные 3 пары, чулки дорогие, иначе быстро порвутся». И дальше: «Духи Rue de la Paix, Пудра Hubigant и вообще много разных, которые Эля посоветует. Бусы, если еще в моде, зеленые. Платье пестрое, красивое, из креп-жоржета, и еще одно, можно с большим вырезом для встречи Нового года».

Читала ли Татьяна эти записи, знала ли про Лилины поручения? Может быть, не в деталях, но знала несомненно! Он честно рассказал Татьяне и про свою привязанность к Лиле, и про роль, которую та играла и играет в его жизни. И про машину тоже. Татьяна помогала Маяковскому ее выбирать, ходила вместе с ним за покупками «Лиличке», была вынуждена терпеть повседневную Эльзину опеку. «Роман их, — признавалась впоследствии Эльза, — проходил у меня на глазах и испортил мне немало крови... <Еще бы: ведь все развивалось совсем не так, как было поручено Эльзе! > С Татьяной я не подружилась, несмотря на невольную интимность. < Интимность состояла всего-навсего в том, что Эльза была именно невольной свидетельницей их совсем не яла-тонической любви.> Она также не питала большой ко мне симпатии». Остается лишь добавить, что и малой не питала тоже...

Возвращение Маяковского в Москву 8 декабря 1928 года внесло кардинальные перемены в жизнь Лили. Не только, разумеется, оттого, что в ее обладании появилась поистине диковинная редкость — свой автомобиль «рено». Достался он Маяковскому тяжело: с трудом удалось наскрести денег, с трудом уладить таможенные формальности (без помощи того же Агранова вряд ли это могло получиться). Самому Маяковскому

автомобиль был напрочь не нужен — водить машину поэт не умел и учиться этому не хотел. Ему лишь приходилось оправдываться перед своими читателями в стихотворении «Ответ на будущие сплетни»: «...Простите, пожалуйста, / что я / из Парижа / привез Рено, / а не духи / и не галстук». Галстук, кстати, он привез тоже, как и духи: и то, и другое для Лили. Но «рено» затмил все остальное.

Лиля каталась на нем по Москве и даже — нечаянно, разумеется, притом по вине зазевавшейся мамы, — сбила маленькую девочку, без тяжелых, к счастью, последствий. Судебной ответственности ей удалось избежать — вряд ли и на этот раз обошлось без вмешательства все того же всесильного Яни. Агранов тогда был настолько влиятелен, что для следователей, прокуроров и судей его просьба (или рекомендация) фактически означала приказ.

И все же главная перемена произошла в самом Маяковском. Косвенно Лиля была уже уведомлена им о появлении в его жизни какой-то новой фигуры: письмо Маяковского из Парижа от 12 ноября содержит просьбу перевести телеграфно в Пензу тридцать рублей некой Людмиле Алексеевне Яковлевой. Это была родная сестра Татьяны. Запрос о причине нежданного внимания Маяковского к неведомой женщине был тотчас отправлен Эльзе в Париж, и ответ вскорости же получен...

Таинственное поручение дополнялось такими загадочными строками из того же письма Маяковского: «Моя жизнь какая-то странная, без событий, но с многочисленными подробностями, это для письма не материал, а только можно рассказывать...» К тому времени, когда он вернулся в Москву и действительно начал рассказывать, Лиля уже многое знала. Советская почта работала тогда не так, как стала работать спустя несколько лет, письма в пути не задерживались, информационные сводки Эльзы поступали в Москву своевременно.

Стихи, посвященные Татьяне, обнажали характер их отношений («В поцелуе рук ли, / губ ли, / в дрожи тела / близких мне...») и «письменно» подтверждали то, о чем Лиля уже знала. Но «дрожь тела» какой угодно особы, повстречавшейся Маяковскому, никогда ее не пугала. Пугал новый, непривычный доселе характер отношений с той, про чью «дрожь» Маяковский так смело писал. «Ты в первый раз меня предал», — сказала Лиля Маяковскому, выслушав его рассказ, а главное, стихи, адресованные Татьяне.

Еще больше пугало ее стремление Маяковского, вскоре осуществившееся, как можно скорее вернуться в Париж. Вряд ли и лубянские друзья, и Эльза оставили ее без информации о букетах

цветов, которые по его предварительному заказу еженедельно доставлялись на дом Татьяне. И — пусть даже и без деталей — о его письмах и телеграммах в тот же адрес.

До нас дошли только семь его писем и двадцать пять телеграмм. Их было, несомненно, гораздо больше. Ответные письма доставлялись в Лубянский проезд, от Лили он их скрывал. Она обнаружила эту корреспонденцию лишь после смерти Маяковского, разбирая его архив. Понимала ли она то, о чем впоследствии писал Роман Якобсон: «Маяковский сломался <...> в год встречи с Татьяной Яковлевой. <...> Это было в момент, когда ему стало жить одному уже совершенно невтерпеж и когда ему нужно было что-то глубоко переменить».

Был фасад — и были кулисы. Внешне ничего не переменилось. Правда, распался ЛЕФ — после того как в сентябре 1928 года из него вышли Маяковский и Брик, а значит, и Лиля. Пятью месяцами раньше ЛЕФ покинул Пастернак, так объяснив в письме к Маяковскому причину своего поступка: «Ваше общество <Лиля, напомним, играла в нем ведущую роль>, которое я покинул и знаю не хуже Вас, для Вас ближе, живее, нервно-убедительнее меня». Лишь шесть с лишним десятилетий спустя стали известны подлинные причины, побудившие его к разрыву. «ЛЕФ удручал и отталкивал меня, — писал Пастернак, — своей избыточной советскостью, то есть угнетающим сервилизмом, то есть склонностью к буйству с официальным мандатом на буйство в руках».

Не будь у Бриков и Маяковского тех связей, которые они тогда имели, никаким «мандатом на буйство» им обзавестись бы не удалось. Но к тому времени сталинский аппарат уже полностью разделался с «левизной» в политике. Естественно, та же судьба не могла не постичь «левизну» в литературе: на стало время совсем для других игр.

Вернувшись из Парижа, Маяковский, явно не врубавшийся в крутые повороты на советском политическом Олимпе, попытался оживить литературную жизнь, создав РЕФ (Революционный фронт искусств). И опять в новой затее, окончившейся неудачей, Лиля принимала самое активное участие. Эго совпало с победой над инакомыслящими группировками, которую одержала Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), то есть, иначе сказать, Агранов и его непосредственный лубянский шеф Генрих Ягода.

Литературная возня, за кулисами которой шла жестокая борьба различных сил, стремившихся к власти, была у всех на виду. Но для Лили куда важнее была другая борьба, о которой могли знать только очень близкие люди. Оторвать Маяковского

от эмигранток, тянущих его в свое болото и грозящих благополучию того уникального семейно-дружеского союза, который она создала, она могла только с помощью высокопоставленных и могущественных друзей дома.

Но можно ли было в реальности воздействовать на поэта с его гипертрофированной влюбленностью и стремлением сломать все преграды, стоявшие на его пути ?

Телеграммы Маяковского в Париж говорят сами за себя: «Очень затосковал», «Тоскую невероятно», «Абсолютно скучаю» (все-таки «а», а не «о»), «Тоскую по тебе совсем небывало», «По тебе регулярно тоскую, а в последние дни даже не регулярно, а еще чаще»... Могли ли эти любовные заклинания остаться вне контроля спецслужб? Как и письма: «...Мне так надо каждую минуту знать, что ты делаешь и о чем думаешь. Поэтому телеграммлю. Телеграфь, шли письма — вороха того и другого».

Но, кроме любовных переживаний, существовало еще главное дело его жизни — работа, Татьяна

Пыла далеко и вряд ли могла соучаствовать в ней, даже если бы оказалась близко: слишком чужими были они друг другу во всем, что происходило за пределами сердца. 26 декабря 1928 года Маяковский впервые читал в Гендриковом переулке своим друзьям только что завершенную пьесу «Клоп». Пришли Мейерхольд и его жена, прима театра Зинаида Райх, пришел молодой поэт Семен Кирсанов, тоже с женой, пришли Жемчужные и Катаняны — ближайшие к Маяковскому люди. Но главное — были Лиля и Осип.

Лиля слушала чтение, не сводя с Маяковского восхищенных глаз. Кто другой мог ТАК отнестись к его творчеству, вне которого не существовало и его самого? Как только Маяковский закончил чтение, Мейерхольд рухнул на колени с возгласом: «Гений!» Он гладил его плечи и руки, крича: «Мольер! Какая драматургия!» В глазах у Лили стояли слезы. За них Маяковский отдал бы все свои увлечения, все порывы и страсти.

Два дня спустя Лиля сопровождала его в театр Мейерхольда, где чтение повторилось. В театре уже были расписаны роли и назначены репетиции. На чтение пришел совсем еще молодой, двадцатитрехлетний, Дмитрий Шостакович, которому была заказана музыка. Пришли художники и артисты из того же круга. Восторгу слушателей не было предела. И опять Лиля разделила с Маяковским его истинный триумф. Могла ли Татьяна понять боль и сарказм того человека, который был «обсолютно влюблен», его беспощадную сатиру на партмещанство, его язвительный смех над тупостью, глупостью, пошлостью тех, кто был у руля, его глубокое разочарование в былых идеалах, те аллюзии, которыми

были насыщены реплики персонажей и узнаваемость которых приводила в восторг собравшихся на читку единомышленников автора? А главное — могла ли понять, сколь велика будет ненависть властвующих, на которую автор себя обрекал?

Повседневную опору и понимание Маяковский находил в той — единственной за отсутствием какой-то иной — семье, где полноправной и безраздельной хозяйкой была Лиля. Как каждый человек, он стремился к «обыкновенной» любви, к своему дому даже в самом прямом смысле (несколько его попыток вступить в жилищный кооператив и получить свою квартиру пока оказались безуспешными), но без Лили ему было бы, наверно, еще тяжелей. А то и попросту невозможно...

Заколдованный круг заключал в себе и неизбежную драму, но Лиля, похоже, в полной мере приближение катастрофы все же не ощущала. Чем же объяснить эту ее глухоту — глухоту человека, наделенного тончайшей интуицией и чутко следящего за любым изменением чувств близких людей? Не иначе как инстинктивной потребностью выдавать желаемое за действительное, стремлением оградить себя от излишних волнений и убежденностью в своем всемогуществе.

В январе 1928 года было опубликовано «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» — стихотворение Маяковского, посвященное Татьяне. Впрочем, впрямую адресат стихотворения нигде не упомянут, но Лиля и знала, и понимала, какие подлинные события вызвали его к жизни и какими реалиями оно насыщено.

Одновременно было написано стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой», так и не отданное им ни в одну редакцию для опубликования. Впоследствии делались попытки его опубликовать, но они натыкались на жесткий запрет. Оно стало достоянием гласности лишь в 1956 году. Запрет последовал потому, что адресат в этом стихотворении уже был назван по имени, а «пролетарский поэт», «трибун революции» права на любовь к эмигрантке, разумеется, не имел.

Хотя стихотворение и отличается пламенным советским патриотизмом (его лейтмотив — страстный призыв к любимой вернуться на родину, связать свою жизнь с автором не где-нибудь, а только в советской России), хотя, вдобавок ко всему, оно полно веры в победу своей любви, неотрывную от победы мировой революции («я все равно / тебя / когда-нибудь возьму — /одну / или вдвоем с Парижем»), на какие-либо чувства к невозвращенке Маяковский прав не имел. Так что Лилины интересы — по крайней мере в данном вопросе — полностью совпадали с интересами надлежащих советских властей. Ей от этого было не

легче: Маяковский явно отбивался от рук.

Сохранились воспоминания Лидии Гинзбург (впоследствии видного литературоведа), близкой в ту пору к кругу Маяковского — Бриков. Лиля, по ее рассказам, часто жаловалась тогда на скуку. Скукой, видимо, именовалось вдруг наступившее чувство неуверенности в себе, душевный дискомфорт. «Как тебе может быть, Лиличка, скучно, — утешал ее Виктор Шкловский. — Ведь ты такая красивая!» «Так ведь от этого не мне весело, — возражала Лиля. — От этого другим весело».

Другим тоже не было весело: тучи над некогда веселым и гостеприимным домом явно сгушались. Свою роль играли не только личные драмы, раскалывавшие сложившиеся и казавшиеся прочными отношения. Неизбежно влияла и общая атмосфера, воцарившаяся в стране, воздействие которой обитатели дома старались не замечать или хотя бы ей не поддаваться. Маяковский старательно делал вид, что ничего не произошло, что все осталось по-прежнему, что Лиля не только главенствует, как всегда, но чуть ли не водит его рукой, пишущей стихи. Так они обманывали других, но могли ли обмануть самих себя?

Маяковский рвался в Париж. С превеликим трудом он выдержал на родине чуть больше двух месяцев. 13 февраля в театре Мейерхольда состоялась премьера «Клопа». И уже на следующий день, не дождавшись рецензий и даже устных откликов, Маяковский выехал в Европу.

Формальным поводом для поездки послужило желание протолкнуть эту пьесу на зарубежную сцену. Но с границы Маяковский послал телеграмму в Париж, уведомляя Татьяну о скорой встрече. После коротких остановок в Праге и Берлине 23 февраля он приехал в Париж и снова поселился в своем любимом отеле «Истрия». Эльза уже сменила обитель, переместившись к Арагону в крошечную мансарду на улице Шато. Все равно жизнь Маяковского и Татьяны проходила у нее на глазах, боевые сводки об этом регулярно отправлялись в Москву.

В отличие от всех прежних поездок Маяковского, эта практически не отражена в его переписке с Лилей. Переписки попросту не было, если не считать ее телеграммы с информацией, что деньги, обещанные ему московским Госиздатом, переведены не будут. И еще одной телеграммы Лили, весьма любовного содержания: «Телеграфируй разрешение переделать твое серое пальто». За все время их совместной жизни и любви подобного отчуждения не наблюдалось ни разу.

Впрочем, нет, одно содержательное письмо «твоя кошечка» все же отправила «милому Володику» в Париж: список запасных частей к автомобилю, которые повелел привезти нанятый Лилей

ее личный шофер Афанасьев (сидеть за рулем самой ей уже надоело, да и боязно было после того несчастного случая). «Двумя крестиками, — писала Маяковскому Лиля 5 апреля 1929 года, — отмечены вещи абсолютно НЕОБХОДИМЫЕ, одним крестиком — НЕОБХОДИМЫЕ и без креста очень нужные. Лампочки в особенности — большие, присылай с каждым едущим, а то мы ездим уже с одним фонарем. Когда последняя лампочка перегорит — перестанем ездить. Их здесь совершенно невозможно получить — для нашего типа Рено».

Вряд ли Маяковскому было тогда до лампочек. Если воспользоваться лежащим на поверхности каламбуром, ему было все до лампочки, все, кроме его отношений с Татьяной. Надо было как-то определиться: Париж или Москва? Перейти на положение эмигранта он, безусловно, не мог, это был бы для него самоубийственный шаг: без советской атмосферы, в которую он вжился, без Лили и Осипа поэт существовать не мог. Оставалось «взять» Татьяну и увезти ее в Москву, но неосуществимость этого замысла становилась для него все более и более очевидной, «Я его любила, — рассказывала Яковлева своим собеседникам ровно полвека спустя, — он это знал, но я сама не знала, что моя любовь была недостаточно сильна, чтобы с ним уехать».

Он звал — она не отказывалась и не соглашалась. Бесконечно эта ситуация длиться не могла, а выхода из нее не предвиделось. К тому же в Европу снова приехали обе Элли — о встрече в Ницце, видимо, был предварительный уговор. Маяковский поехал туда, но ни мать, ни дочь не застал: как раз на эти дни они почему-то уехали в Милан.

Встреча, судя по всему, так и не состоялась. Но Элли-старшая попросила Маяковского в письме, отправленном в Москву в Лубянский проезд (корреспонденция, шедшая по этому адресу, гипотетически должна была миновать Лилину цензуру), чтобы тот сделал в своем блокноте загадочно зловещую запись: «В случае моей смерти известить такую-то (Элли Джонс) по такому-то адресу». Маяковский-— не странно ли? — текстуально занес в свой блокнот эту просьбу вместе с нью-йоркским адресом Элли. Но его воля Лилей впоследствии исполнена не была, — весьма возможно, по указанию того же Агранова.

Чем была она вызвана, эта просьба? Какие обстоятельства побудили мать его дочери смоделировать ситуацию, для которой вроде бы не было никаких оснований? Точного ответа на этот загадочный вопрос не существует. Да и — тоже странное дело! — его никто до сих пор не ставил. Лишь Валентин Скорятин, следуя версии о насильственной смерти поэта, считал, что Маяковский допускал возможность своего убийства и этим подозрением

поделился с Элли. Никаких — ни прямых, ни косвенных— доказательств, позволяющих принять эту Версию, никаких разумных для нее оснований не существует. Загадка, увы, так загадкой и остается.

В те два или три дня, которые Маяковский понапрасну провел в Ницце, с ним случайно повстречался известный русский художник-эмигрант Юрий Анненков: они были очень хорошо знакомы еще по блаженным петроградским временам. Впоследствии Анненков описал эту встречу' в своих мемуарах. Маяковский, по его словам, разрыдался, не обращая внимания на других посетителей ресторана. Он объяснил свои слезы тем, что «перестал быть поэтом» и превратился в чиновника.

Весьма возможно, что Маяковский действительно испытывал в это время творческий кризис и глубокую неудовлетворенность собой как поэтом. Но рыдания его, разумеется, объяснялись совершенно иным. Тупиковая личная ситуация предвещала трагический исход. В свои метания он Анненкова не посвящал, скрыв от него и причину приезда на Лазурный берег. Конечно же Маяковский оказался там вовсе не ради рулетки в казино Монте-Карло — это его «объяснение» Анненков по наивности принял за истину. Но азартные игры он любил до беспамятства, так что, возможно, не встретив двух Элли и оказавшись в полном одиночестве на бесконечно ему чуждом шикарном курорте, он искал утешения в тотализаторе. По словам Анненкова, все деньги были проиграны, и Маяковский возвращался в Париж с пустым кошельком.

Жизнь Маяковского в Париже проходила у всех на виду. Это значит, что о каждом его шаге и о каждом слове шел донос в Москву: в эмигрантской среде уже и тогда были тысячи завербованных Лубянкой глаз и ушей. Маяковского и Татьяну каждый день видели то в «Ротонде», то в «Доме», то в «Куполи», то в «Клозери де Лила», то в «Гранд-Шомьер» или в «Дантоне». Иногда они уединялись в вокзальных кафе или в квартальных бистро вдали от сборищ эмигрантской элитной богемы. Почему-то и об этих уединенных встречах тоже узнавали в Москве. И могли с точностью проследить, как поднималась все выше и выше «температура» их отношений. О Лиле говорили все меньше. За покупками для нее ходили все реже.

Трудно поверить, что Лубянка уже и тогда не перлюстрировала письма из-за границы, тем более тех, кто ее специально интересовал. А то, что Маяковский был «под колпаком», что разворачивавшийся роман с Яковлевой весьма тревожил лубянских начальников, — в этом нет ни малейших сомнений. Так что они не могли не прочитать ее февральское

(1929) письмо матери в Пензу, где были и такие строки: «Я совсем не решила ехать или, как ты говоришь, «бросаться» за М<аяковским>, и он совсем не за мной едет, а ко мне и ненадолго. <...> Стихи, которые тебя волнуют, написаны, когда ему было 20 лет. А «Лиля» — женщина, которую он любил 10 лет. Для всего этого достаточно прочесть его биографию. Вообще, все стихи (до моих) были посвящены только ей. Я очень мучаюсь всей сложностью вопроса, но мне на роду написано «сухой из воды выходить». В людях же разбираюсь великолепно и отнюдь их не идеализирую. <...> Замуж же вообще сейчас мне не хочется. Я слишком втянулась в свою свободу и самостоятельность. <...> Но все другое, конечно, ничто рядом с М<аяковским>. Я, конечно, скорее всего его выбрала бы. Как он умен!»

Лубянские товарищи разбирались в людях ничуть не хуже, чем Татьяна. Они понимали, что Татьяна на распутье и что ее отказ от возвращения в советскую Россию мог побудить Маяковского принять самое нежелательное для них решение. Это, во всяком случае, не исключалось. Трудно представить себе, чтобы такая информация— в прямой или завуалированной, но достаточно понятной форме — не дошла бы до Лили: и Агранов, и Сноб, и другие их коллеги продолжали оставаться завсегдатаями дома на правах закадычных друзей.

Непосредственно в Париже, под псевдонимом Янович, работал— юридически в качестве сотрудника посольства, а фактически в качестве Лубянского резидента — еще один друг дома Захар Ильич Волович (он же Вилянский — для товарищей-чекистов, он же Зоря для родных и друзей). Зоря поддерживал тесные отношения с Эльзой, которая, по утверждению Валентина Скорятина, через Воловича-Яновича и его жену Фаину, регулярно переправляла Лиле в Москву французскую парфюмерию. Так что в Гендриков переулок по самым разным каналам шла очень подробная информация о развитии сюжета «Маяковский — Татьяна». Дошло, вероятно, и то, что было почерпнуто из открытки, которую Татьяна отправила матери в апреле: «В<ладимир> В<ладимирович> забирает у меня все свободное время».

Впрочем, у Лили был еще более важный информатор, чем лубянские перлюстраторы и парижский резидент спецслужб: сестра Эльза. О том, что все время Маяковский проводит с Татьяной, сообщала в Москву она.

Верный прежнему уговору ничего не скрывать друг от друга, Маяковский, вернувшись из Парижа, признался Лиле, что отношения с Татьяной зашли достаточно далеко, что он намерен осенью жениться на ней и привезти в Москву. Разговор, вероятно,

был слишком бурным, доводы «против» На него не подействовали, и в сердцах Лиля разбила какую-то драгоценность; то ли шкатулку, то ли чашку из китайского фарфора. Но Маяковский не отреагировал даже на это. Было совершенно очевидно, что он и Лиля стремительно разлетаются в разные стороны.

Лиля переживала в это время свой очередной роман — последний при жизни Маяковского. Последний, которому он был свидетель. Не похоже, что это его тогда хоть как-нибудь задевало. Новым избранником оказался некий Юсуп Абдрахманов — какая-то киргизская шишка, выдвиженец, занимавший в своей горной республике высокий государственный пост.

Маяковский вернулся из Парижа 2 мая 1929 года, Лиля отправилась с Юсупом в конце июня на своем «рено» в Ленинград — показывать «дикому киргизу» красоты Северной Пальмиры. За рулем сидел шофер Афанасьев, все лампы на машине горели — о них позаботился Маяковский, а формальной целью поездки была покупка двух пар модных туфель, специально изготовленных для нее каким-то петербургским умельцем; найти для себя подходящую обувь в уже отринувшей нэп Москве Лиля не могла.

Вместе с Юсупом она поселилась на квартире своей подруги Риты Райт и будто бы в ожидании заказанных туфель провела в Ленинграде примерно десять дней, любуясь белыми ночами и наслаждаясь обществом экзотического и любознательного «дикаря», тянувшегося к европейской цивилизации. На один день за это время приезжал в Ленинград Осип по своим «киношным» делам: никому и ничему он не был помехой. «Пришли до 4-го <июля> 250 р<ублей>» — таким было единственное любовное послание Лили Маяковскому из Ленинграда. «Деньги переведу третьего», — с той же любовной деловитостью отвечал ей Маяковский.

Он был беспощадно точен: действительно, «любовная лодка» вдребезги разбивалась о быт.

«ЛИЛЯ, ЛЮБИ МЕНЯ!»

Лето, осень, зима 1929 года не столько самый трудный, сколько самый загадочный период в жизни Лили Брик. Любовные отношения с Маяковским давным-давно были порваны, но отношения дружеские, творческие, духовные становились, похоже, еще прочней. Им было трудно друг без друга, но и вместе не сладко. Она стала чаще раздражаться — порою без повода. Без ВИДИМОГО повода, если точнее... Собственно личная жизнь, в традиционном смысле этого слова, радости не приносила. Лиля была слишком умна, чтобы относиться всерьез к прельстившему ее своей экзотичностью, заведомо «проходному» Юсупу. А Маяковский снова рвался в Париж, и никто не знал, чем могла завершиться эта чрезмерно затянувшаяся, подогреваемая разлукой, преградами и его необузданным темпераментом связь.

Еще несколько месяцев назад уверенная в своей силе, Лиля дразнила Маяковского: «Если ты настолько грустишь, чего же не бросаешься к ней сейчас же?» Теперь она, наконец, поняла, что шутки плохи, а игривый совет может быть истолкован буквально. Еще лучше это поняли на Лубянке. Они-то читали письма Маяковского Татьяне, новые, не под первым впечатлением написанные, где были такие строки: «Тоскую по тебе совсем небывало. <...> Люблю тебя всегда и всю очень и совершенно. Я тебя так же люблю и рвусь тебя видеть. Целую тебя всю. <...> Дальше сентября (назначенного нами) мне совсем без тебя не представляется. С сентября начну приделывать крылышки для налета на тебя. <...> Таник родной и любимый, не забывай, пожалуйста, что мы совсем родные и совсем друг другу нужные».

Но от своих многочисленных осведомителей за рубежом они, скорее всего, знали еще и то, что не доверялось бумаге, но говорилось Маяковским Татьяне с глазу на глаз, а она вряд ли была особо усердным и опытным конспиратором, общалась со множеством людей, которых конечно же интересовал Маяковский и которым она рассказывала о нем. Полвека спустя Татьяна вспоминала о его пребывании весной 1929 года в Париже: «Он хотя и не критиковал Россию, но был явно в ней разочарован».

Есть версия, что Лиля и Осип были официально допрошены на Лубянке обо всем, что им известно про связь Маяковского с Татьяной Яковлевой и про его планы на дальнейшую с ней жизнь. Никаких подтверждений этой версии пока не найдено, да и вряд ли была нужда в официальных допросах. Доверительные отношения между Бриками и лубянскими бонзами позволяли последним получать от них любую информацию, не прибегая к

какой-либо казенной процедуре, унижающей Бриков и потому бесполезной.

Самой стойкой версией, упорно распространявшейся впоследствии заклятыми недругами Лили, оказалась версия о ее прямом вмешательстве, будто бы не позволившем Маяковскому ни в сентябре, ни позже «приделать крылышки», чтобы снова лететь к Татьяне. По этой версии, Лиля использовала свою связь с Аграновым, чтобы Маяковскому было отказано в визе, и тем самым поставила непреодолимый барьер между ним и Татьяной.

Однако усилиями журналиста Валентина Скорятина, проведшего в девяностые годы раскопки в лубянских архивах и в архивах наркомата иностранных дел, было неопровержимо доказано, что за выездной визой Маяковский вообще больше не обращался. Этот факт сам по себе куда более загадочен и непонятен, нежели гипотетический отказ в его просьбе о заграничном паспорте. Отказу было бы легче найти объяснение. Но что побудило самого Маяковского — добровольно! — поставить крест на своих замыслах, похоронить отнюдь не иллюзорные надежды? Почему— на самый худой конец— он даже не попытался хоть как-нибудь объяснить Татьяне столь крутой поворот?

В единственном дошедшем до нас письме, отправленном им Татьяне ПОСЛЕ июля 1929 года, когда уже наступило вроде бы время для «крылышек», нет ни малейшего намека на то, чти его чувство остыло и что Татьяна уже не занимает в его жизни прежнего места. Но в то же время нет ни единого слова о том, почему он запаздывает, как и о том, что вообще собирается ехать — в сентябре, в октябре или позже. Эта тема вдруг просто исчезла из их переписки.

Зато в письме от 5 октября есть такая загадочная фраза: «Нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих меня еще молчаливее». При любой ее трактовке совершенно очевидно, по крайней мере, одно: произошло или происходит нечто такое, что крайне печалит Маяковского и в то же время заставляет его держать язык за зубами. Наиболее вероятная версия: ему никто не отказывал в визе, потому что он и в самом деле за ней не обращался. А не обращался он потому, что кто-то УСТНО, не оставляя документальных следов, посоветовал ему воздержаться от обреченного на провал, неразумного и опасного шага. Даже если это и было сказано мягко, дружески, доверительно, все равно такую рекомендацию правильнее всего считать угрозой и шантажом.

Письмо от 5 октября, возможно, и не было последним. Но в любом случае к этому времени все уже было кончено. Поняв, что

он не приедет, Татьяна перестала ему писать. «Детка, ПИШИ, ПИШИ И ПИШИ, — умолял ее Маяковский в этом, будто бы последнем, письме. — Я ведь все равно не поверю, что ты на меня наплюнула».

И все же буквально через несколько дней ему пришлось в это поверить. 11 октября, как явствует из воспоминаний Лили, основанных на дневнике, который она вела, с вечерней почтой пришло письмо от Эльзы перед тем, когда Маяковский собирался на вокзал, чтобы выехать в Ленинград. Письма из Парижа тогда шли меньше недели, значит, оно было написано как раз в тот день (или на следующий), когда Маяковский убеждал Татьяну, что не верит в перемену ее отношения к себе.

Лиля стала читать письмо Эльзы вслух — в присутствии нескольких человек, которые собрались за столом. Вот отрывок из воспоминаний Лили об этом роковом эпизоде: «Эльза писала, что Т. Яковлева, с которой Володя познакомился в Париже и в которую был еще по инерции влюблен <это «по инерции» красноречиво говорит о том, как не хотелось Лиле смириться со столь нежеланной для нее реальностью - выходит замуж за какого-то, кажется, виконта, что венчается с ним в церкви, в белом платье, с флердоранжем, чти она вне себя от беспокойства, как бы Володя не узнал об этом и не учинил скандала, который может ей повредить и даже расстроить брак. В конце письма Эльза просит по всему по этому ничего не говорить Володе. Но письмо уже прочитано. Володя помрачнел. Встал и сказал: что ж, я пойду».

Сцена эта, так старательно воспроизведенная Лилей, отличается поистине нарочитой театральностью. Она поражает отнюдь не спонтанностью, а толково продуманным замыслом, реализованным талантливым режиссером. И то, что Лиля все читает и читает вслух это письмо в присутствии Маяковского, отлично сознавая, что режет ножом по его сердцу; и то, что просьба «ничего Володе не говорить» заботливо перенесена в самый конец письма; и то, что оно содержит такие подробности (флердоранж, белое платье и прочее), которые совершенно безынтересны для Лили, но зато должны особенно уязвить Маяковского; и то, что оглашению текста, сильно смахивающего на сплетню, внимают пусть и завсегдатаи дома, но все-таки посторонние люди (публичная декламация какого-либо другого письма Эльзы ни в мемуарах, ни в дневнике Лили не зафиксирована), — все говорит за то, что мизансцена тщательно отработана и преследует вполне определенную цель.

К тому же до свадьбы было еще очень далеко (она состоялась 23 декабря 1929 года). В октябре, по свидетельству Татьяны,

виконт де Плесси лишь начал ухаживать за нею, добиваясь согласия на брак, а Эльза, как утверждала впоследствии Татьяна, УЖЕ поспешила заверить ее, что Маяковскому НЕ ДАЛИ визы на выезд... На самом деле, как сказано выше, никто в поездке ему не отказывал за отсутствием самой просьбы о ней. Так кто же тогда и зачем снабдил Эльзу нарочито ложной информацией и попросил ее донести до Татьяны? По логике вещей ответ кажется очевидным, но за отсутствием бесспорных доказательств предпочтительней, чтобы каждый дал его самому себе.

Ситуация, однако, была еще более запутанной, чем кажется на первый взгляд. Снова придется напомнить важнейшие даты. 5 октября Маяковский пишет Татьяне о каких-то загадочных «грустностях», которые делают его «еще молчаливее». Приблизительно в этот же день Эльза сообщает сестре (то есть фактически — через нее — самому Маяковскому!) радостное известие о предстоящем замужестве Татьяны, предварительно разъяснив «невесте», что Маяковскому отказано в визе. 11 октября Лиля «невзначай» зачитывает вслух эту информацию в присутствии Маяковского и каких-то (ни разу не названных по именам) «друзей дома». А 10 октября, то есть НАКАНУНЕ, в Гендриков действительно пришел официальный ОТКАЗ в выдаче выездных виз, но вовсе не Маяковскому, а Лиле и Осипу!.. Заявление, стало быть, было подано ими значительно раньше — точно тогда, когда, согласно заранее намеченному Маяковским плану, его должен был подать он сам. Должен был и, однако, не подал...

По абсолютно загадочным причинам Лиля и Осип, которые давно уже никуда вместе не ездили, вдруг вознамерились прокатиться в Европу, да не куда-нибудь, а в Лондон, чтобы повидать Елену Юльевну, продолжавшую там работать в советском торгпредстве. Можно, разумеется, допустить, что Лиле захотелось продемонстрировать матери неизменность их супружеского союза. Но зачем? Отношения с матерью давно уже стали прохладными, взгляд Елены Юльевны на «свободу» любви, которая была столь дорога ее старшей дочери, ничуть Лилю не задевал, да и сам «разрушитель» семьи давно уже был матерью признан, уважен, обласкан.

Нет, вовсе не для того, чтобы пустить пыль в глаза госпоже Каган, собрались в дорогу Лиля и Осип. Но для чего же? Почему именно в этот, достаточно напряженный, момент? И почему им, многократно проверенным на благонадежность, многократно ее доказавшим, — почему им вдруг перекрывают дорогу при полном попустительстве ближайших друзей, от которых разрешение на выезд как раз и зависит?

Формальным основанием командировки (поездка Бриков почему-то считалась служебной] было желание ознакомиться с культурной жизнью Европы. Звучит почти пародийно... С чего бы вдруг им обоим срочно приспичило это ознакомление, которое затем не нашло никакого отражения ни в творчестве Осипа, ни в деяниях Лили? Еще того более: вопреки заверениям (публичным, в прессе) о служебном характере намечавшейся поездки, там же утверждалось, что она осуществляется за счет самих путешественников. Абсолютно для всех служебных поездок в Советском Союзе тогда находилась валюта, а вот для Лили с Осипом ее не нашлось...

История со злополучной поездкой обрастала загадками как снежный ком, загадками, которым нет точного объяснения и сегодня. Газеты возмущались (честно говоря, не без оснований) намечавшейся поездкой в Европу квазисупружеской пары за государственный счет без малейшей (видимой!) надобности в то время, когда миллионы советских граждан такой возможности были лишены. Именно потому Маяковскому и пришлось печатно вмешаться, разъясняя читателям, что деньги на поездку найдутся отнюдь не в казне...

Вакханалия вокруг этой поездки на том не завершилась. Заграничного паспорта Брикам все не выдавали, и Маяковский будто бы отправился к Лазарю Кагановичу, который только что стал партийным боссом Москвы, сохранив за собой пост секретаря ЦК и выдвинувшись к тому времени на второе место в партийной иерархии после Сталина. Лиля впоследствии вспоминала. «Володя пришел от Кагановича очень веселый, сказал: «Лилечка, какое счастье, когда хоть что-нибудь удается». Каганович, утверждала Лиля в своих мемуарах, пообещал, что заграничные паспорта Брики получат. И они их действительно получили. Более того: по воспоминаниям домработницы Бриков П. Кочетовой, паспорта не просто выдали, а спешно привезли Брикам на дом.

Ходил ли Маяковский к Кагановичу? Никакой другой информации, подтверждающей это сообщение Лили, не существует. Нет и никаких данных о том, что Маяковский был с ним знаком. Как он попал к нему? Почему избрал именно Кагановича для решения вопроса, прямо не относившегося к его компетенции? Тут что ни слово, то загадка. Ни сам Каганович, ни кто-либо другой, ни архивные документы никаких следов об этом визите не оставили. И нам не остается ничего другого, как просто принять сообщение Лили на веру...

Загадочная борьба за заграничные паспорта для Бриков происходила на фоне других драматических событий, до предела

накаливших обстановку вокруг Маяковского и неумолимо ведших к фатальному исходу. Незадолго до того, как пришла весть о предстоящем замужестве Татьяны Яковлевой, Маяковский закончил новую пьесу, предназначенную для Мейерхольда. Читка «Бани» состоялась 22 сентября 1929 года в Гендриковом. Лиля созвала человек тридцать, устроивших Маяковскому хоть и дружескую, но вполне искреннюю овацию. Мейерхольд снова бухнулся на колени, восклицая: «Мольер! Шекспир! Гоголь! »

Через пять дней та же мизансцена повторилась на читке в самом театре, где уже были распределены роли. Роль Фосфорической Женщины, естественно, досталась Зинаиде Райх. Победоносикова должен был играть ведущий комик театра Игорь Ильинский, который исполнял в «Клопе» роль Присыпкина. Тем неожиданней был отказ Ильинского от роли — поступок скандальный и демонстративный. Его заменил Максим Штраух, тоже один из любимейших актеров Мейерхольда, и сыграл свою роль блестяще. Но отказ Ильинского, явно перепугавшегося сатирических красок в образе своего героя, еще более накалил атмосферу вокруг новой пьесы и готовившегося к постановке спектакля.

Беспощадно злой гротеск, бивший по самым болевым местам советской действительности, был понят сразу и всеми! Но не все хотели в этом признаться, выискивая для шельмования не существующие в пьесе «художественные» просчеты и старательно обходя ее политическую острогу. Лиля предвидела скандал, хоть и не столь масштабный. «Фразеология Победоносикова, — сказала она Маяковскому, — это пародия на фразеологию Луначарского <только что отставленного наркома просвещения, в систему которого входила тогда и вся культура>. А он так тебя поддерживает!» Маяковский не захотел ничего менять. «Талантливый бюрократ, — возразил он, — страшнее бездарного, симпатичный оппортунист страшнее отвратительного».

Премьеру запланировали на февраль 1930 года. Ей должна была предшествовать юбилейная выставка Маяковского «Двадцать лет работы», на которую он возлагал большие надежды — не столько подводил итоги, сколько открывал для себя новые рубежи. Два человека не покладая рук работали над сбором экспонатов для выставки и над ее драматургией, стремясь с максимальной полнотой представить Маяковского — поэта, драматурга и общественного деятеля: Лиля Брик и Наташа Брюханенко. В середине декабря Лиля уехала в Ленинград — много материалов о творческом пути Маяковского ей удалось собрать именно там.

Публичной выставке предшествовало домашнее празднество

по тому же поводу — его приурочили к завершению года. 30 декабря в маленькой квартирке в Гендриковом собралось более сорока человек — ближайшие друзья. Среди них Женя со своим — уже только формальным — мужем Виталием Жемчужным, Наташа Брюханенко, дочь Краснощекова Луэлла, Мейерхольд с Зинаидой Райх, художник Давид Штеренберг, неизменные спутники Маяковского — поэты Николай Асеев и Семен Кирсанов, прозаики Сергей Третьяков и Лев Кассиль, все с женами, турецкий поэт-коммунист Назым Хикмет, Лев Кулешов с Александрой Хохловой, лубянские шишки Яков Агранов и Валерий Горожанин— тоже с супругами... И — ни к селу ни к городу, как дерзкий вызов виновнику торжества, — Юсуп Абдрахманов! «Маяковский старался но видеть, — рассказывает со слов отца Василий Васильевич Катанян, — что Л<и-ля> Ю<рьевна> сидела с ним рядом на банкетке и, взяв его трубку, тщательно вытерла черенок и затянулась»...

Настроение было веселое и боевое, много дурачились, разыгрывали шуточные сценки, пели куплеты, сочиненные к случаю. Душой и заводилой всего была, разумеется, Лиля. Под угро, никем не званные, но прознавшие про юбилей, приехали Борис Пастернак и Виктор Шкловский. Оба уже были в ссоре с Маяковским и Бриками — теперь решили мириться Незадолго до того, на одном из Лилиных «вторников», был подвергнут разносу фильм, сценаристом которого оказался Шкловский. Тот стал огрызаться резко и грубо. Вмешалась Лиля — лишь для того, чтобы спор погасить. Шкловский не понял, он уже закусил удила. «Пусть хозяйка, — закричал он, — занимается своим делом — разливает чай, а не рассуждает об искусстве!» Реплика была и без того оскорбительной, но Лиле показалось, что он назвал ее «домашней хозяйкой». Шкловского тотчас изгнали. Теперь, приехавший явно с повинной, он был изгнан снова: обиду, нанесенную Лиле, Маяковский никогда не прощал никому.

Еще безжалостней он поступил с Пастернаком. Размолвка с некогда близким другом произошла только на почве принципиальной — в этом вопросе Маяковский, чуждый фанатизма и догматизма, обычно бывал отходчив. Но нервы уже были накалены настолько, что разум совладать с ними не мог. Все сошлось воедино: и замужество Татьяны, от которой он только что получил отпечатанное в дорогой типографии, официальное приглашение на церемонию бракосочетания с виконтом дю Плесси; и отчуждение Лили; и скандалы с друзьями; и состояние перманентной борьбы, смертельно его измотавшей; и мрачно молчавший Юсуп со своей трубкой, этот инопланетянин, введенный Лилей в их круг...

«Я соскучился по вас, Володя, — миролюбиво сказал Пастернак, едва переступив порог. — Я пришел не спорить, я просто хочу вас обнять и поздравить. Вы знаете сами, как вы мне дороги». «Пусть он уйдет, — ответил на это Маяковский, обратившись к стоявшему рядом Льву Кассилю. — Так ничего и не понял». Пастернак выскочил без шапки, в распахнутой шубе, с отчаянным, растерянным лицом, Шкловский за ним... В столовой повисла напряженная тишина. Эту сцену застала Лиля, которая легла вздремнуть в соседней комнате и была разбужена криками. Исправить что-либо не удалось

Евгений Борисович Пастернак, сын поэта, опираясь на мнение Лили, Шкловского и других участников праздника, ставит под сомнение точность воспоминаний Льва Кассиля, со слов которого мы и знаем теперь детали того инцидента. Но Лиля вряд ли может считаться свидетелем, поскольку, как сказано, вышла к гостям уже — в прямом смысле — к шапочному разбору. Шкловский в данном случае слишком заинтересованное лицо... У других могли запечатлеться в памяти те детали, которые им ближе: воспоминания всегда такой документ, который легко может быть оспорен. Дели, в конце концов, не в деталях. Дело в том, что вообще никем не оспаривается и имеет — по крайней мере для нашего рассказа — особо существенное значение. Маяковский был предельно взвинчен, он не слишком адекватно реагировал на ситуацию, пришедшие под утро гости могли и не знать, в каком душевном состоянии он находился.

Весь январь ушел на подготовку выставки в писательском клубе. Лиля вместе с Маяковским составляла список гостей, приглашенных на ее открытие, рассылала извещения и билеты. В списке, среди прочих, было не только много чекистов и цекистов, но и сам товарищ Сталин. Тот же самый товарищ слушал 21 января Маяковского в Большом театре, где по случаю шестой годовщины со дня смерти Ленина поэт читал вступление к своей новой поэме «Во весь голос». Сталин слушал— и даже аплодировал. Тем основательней казались надежды: почему бы на открытие выставки не прийти и ему, и другим вождям? Никто, разумеется, не пришел. Но зал, отданный выставке, был все равно переполнен. Позже, поддавшись мрачному настроению Маяковского, это мероприятие, к которому он так готовился, назовут почему-то провалом.

Сам он выглядел усталым, его запавшие глаза, бледность лица, отчужденность и молчаливость запомнились всем, кто пришел. По бумажке, упавшим голосом он через силу прочел вступление к поэме «Во весь т’олос» и позволил себя сфотографировать набежавшим на открытие репортерам. Успех

был вполне очевидным. Лиля силилась понять, чем же в таком случае было вызвано его отчаяние. Так и не догадалась. Вопреки своим прежним позициям, вопреки тому, что он обличал в своих пьесах, Маяковский вдруг возжаждал признания не у «массы», а у властей. У тех, кто как раз и породил жестоко осмеянный им бюрократизм! Испугался, возможно, оказаться в немилости, тонко почувствовав приближение грядущих событий и место, которое в них будет ему уготовано.

Имел основания ждать к юбилею ордена. Вместо этого глава Госиздата, горьковский любимец Артемий Халатов, приказал вырезать портрет Маяковского из уже отпечатанного тиража журнала «Печать и революция», самовольно решившего отметить юбилейную дату. Ни одно официальное лицо не удостоило выставку своим вниманием, а он только официальных и ждал. «Ну что ж, бороды не пришли, обойдемся без них», — горько пошутил Маяковский, приступая наконец к своей вступительной речи. Без «бород» переполненный зал казался ему пустым.

Все остальные были «своими» и, стало быть, в расчет не брались.

Никого не предупредив (даже Лилю и Осипа!), Маяковский вступил в Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП), принимавшую участие в травле его самого и близких друзей, и тем самым обрек РЕФ, в котором еще оставались и Лиля, и Осип, на неминуемый распад. Во главе РАППа стоял Леопольд Авербах — родственник прямого шефа Агранова, лубянского главаря Генриха Ягоды. Вряд ли Маяковский мог бы решиться на такой шаг без дружеской «подсказки» Агранова.

Лиля узнала об этом его поступке, находясь в Ленинграде, и, судя по всему, даже не поняла, что в точности произошло. Возмущенные «предательством», Асеев и Кирсанов первыми порвали со своим бывшим кумиром. Еще не утихла шумная кампания против заграничной поездки Бриков, когда Маяковскому пришлось их защищать и хлопотать о выездных визах, — началась новая кутерьма, от которой он не мог уклониться. Вчера еще ходивший в его учениках, совсем молодой Семен Кирсанов опубликовал скандальное стихотворение «Цена руки», грозясь «соскоблить со своей ладони все рукопожатья» учителя. Маяковского явно вызывали на новую драку.

Накануне открытия выставки премьера «Бани» прошла в Ленинграде. Через несколько дней до Москвы дошли разгромные рецензии в ленинградских газетах и отклики очевидцев, в том числе и самых благожелательных. Лиля ездила на премьеру, но о том, что произошло, рассказала Маяковскому в максимально щадящем его варианте. Впрочем, он все понял и так. «Публика

встречала пьесу с убийственной холодностью, — вспоминал впоследствии о премьерном спектакле Михаил Зощенко. — Я не помню ни одного взрыва смеха. Не было даже ни одного хлопка после двух первых актов. Более тяжелого провала мне не приходилось видеть».

Приближалась более важная и — с учетом сложившейся вокруг Маяковского обстановки — более опасная по возможной реакции премьера той же «Бани» в театре Мейерхольда. Но этого события Лиля и Осип не дождались. Они и так уже отложили вожделенный отъезд в Европу до дня закрытия выставки «Двадцать лет работы». Вместо одной недели выставка — по требованию публики — продолжалась две. Но «бороды» все равно не пришли. Свыше пятисот человек приветствовали Маяковского 15 февраля на церемонии закрытия— он все равно был подавлен. Еще больше, чем на открытии.

Не придав значения его состоянию — разумеется, не адекватному реальности ситуации, но все равно безмерно тягостному для него самого, — Лиля и Осип 18 февраля отправились в путь. В письме, адресованном Брикам в Берлин, Маяковский сообщил: «Валя и Яня <то есть Агранов с женой> примчались на вокзал, уже когда поезд пополз. Яня очень жалел, что не успел ни попрощаться, ни передать разные дела и просьбы. Он ОБЯЗАТЕЛЬНО <подчеркнуто Маяковским> пришлет письмо в Берлин».

Эти загадочные строки дали впоследствии основания антибриковской «рати» предложить версию, будто Лиля и Осип отправлялись в Европу как агенты Лубянки, а Агранов должен был передать с ними какие-то задания чрезвычайной важности. Но такие задания вряд ли даются на перроне вокзала перед отходом поезда. И важные секретные документы (предметы?) вряд ли отправляются с курьерами, подлежащими таможенному досмотру по обе стороны границы. Наконец, что же это за шпионский «патрон», который опаздывает к отбытию своих агентов? Уж мог бы тогда, ради столь важного дела, задержать их отъезд на пограничной станции и отправиться им вдогонку.

Но ведь «разные дела и просьбы» все-таки были! И письмо (не для того же, чтобы доверить шпионскую тайну обычной почте!) Агранов почему-то ОБЯЗАТЕЛЬНО должен был отправить в Берлин. Весьма вероятно, что какие-то специальные задания (встретиться... поговорить... довести до сведения то-то и то-то... рассказать впоследствии о реакции...) Брики все же имели. Из письма Лили (Берлин, начало марта) видно, что другие (а может быть, те же?) задания ей дал и другой лубянский товарищ — Лев Гилярович Эльберт. «Обязательно скажи Снобу, — просила она

Маяковского в письме из Берлина, — что адрес я свой оставила <тому, кому было велено! >, но никто ко мне не пришел, и это очень плохо».

Кому — плохо?! Мы вправе — и должны! — задать этот важный вопрос. Чем обременила и обеспокоила Лилю неявка анонимного адресата, если просьбой оставить свой адрес ограничилось полученное ею задание? Почему данные ей поручения, которые она в своих письмах неуклюже шифрует, Лиля принимала так близко к сердцу? Перечень загадок станет еще более длинным, если учесть, что именно Сноб — чекист Лев Эльберт, а не кто-то другой из друзей (впрочем, с ними уже все было порвано) переселился в Гендриков после отъезда Бриков и заменил Бриков в качестве ежедневного общества «осиротевшего» Маяковского. Лубянские иерархи от него просто не отлипали, случайно (или намеренно?) оттеснив от поэта его привычный крут.

Скандал в связи с отказом в выдаче Брикам заграничных паспортов не имел ли целью снять подозрения об их причастности к «службам» и, напротив, подчеркнуть тем самым отсутствие этой причастности? И даже «гонимость» у себя дома? Весьма вероятно.., Логично— во всяком случае. К такому элементарному камуфляжу «службы» и раньше, и позже прибегали не раз. Но это вовсе не значит, что в роковом отъезде Бриков непременно кроется загадка гибели Маяковского, будто бы подготовленной шефами лубянского ведомства.

Загадкой было и остается только одно: как могла Лиля, с ее безошибочно тонким чутьем, легкомысленно отправиться в не слишком ей нужный вояж и оставить Маяковского на столь длительный срок наедине с собою самим? Притом в тот самый момент, когда его нервное напряжение было уже на грани срыва... Пе оттого ли, что эта поездка была прежде всего нужна вовсе не ей и отложить ее она уже не могла, даже если? бы захотела? Впрочем, и эта гипотеза нуждается в доказательствах. Абсолютно достоверных пока не существует.

Как и все туристы с интеллигентными запросами, оказавшиеся в одном из крупнейших европейских центров культуры, Лиля и Осип посещали в Берлине книжные магазины, выставки и театры. Но особый восторг на Лилю производил, как всегда, зоопарк, прославленный Zoo, где «народилось щенят видимо-невидимо! Львячьих, тигрячьих, слонячьих, кенгуровых, обезьяновых». Так сообщала она Маяковскому о своем ознакомлении с европейской культурой. Ждала в Берлине английскую визу — сначала без особых надежд, потом появились надежды, чуть позже уверенность: визы будут! Пообщаться с

московскими гостями приезжали из Парижа Эльза и Арагон: тут и состоялось знакомство Лили с избранником младшей сестры. Новым — и окончательным.

«Скучаем, любим, целуем», — телеграфировал в Берлин Маяковский от своего имени и от имени щенка Бульки. Ничто, казалось, не предвещало печальных событий. Но о той драме, которую переживал тогда Маяковский, в письмах нет ни единого слова. Даже сокрушительный провал московской премьеры «Бани» у Мейерхольда он представил Лиле как несомненный успех.

«Трескучая и холодная болтовня», «издевательское отношение к нашей действительности» — такими были официальные газетные отклики о спектакле. Все понимали, что означают эти политические ярлыки. А тут еще Маяковского настиг тяжелейший грипп, который он всегда переносил мучительно тяжело и которого очень боялся. Но и это, наверно, как-нибудь могло обойтись, если бы не новая любовная история, длившаяся уже несколько месяцев. И в нее он тоже был вовлечен не без участия Лили.

Сразу же после того, как Маяковский вернулся из Парижа, Лиля поставила перед собой задачу пресечь дальнейшее развитие парижского романа — весьма для нее опасного и с непредсказуемыми последствиями. Ни одна другая влюбленность Маяковского не длилась так долги и не была столь интенсивной. Вероятность супружества была на этот раз достаточно велика, так что позволить событиям развиваться естественно — в надежде, что они, как бывало в прошлом, ни к чему конкретному не приведут, — на это Лиля пойти не могла.

Любой брак Маяковского — с кем бы то ни было — автоматически приводил к прекращению его семейного союза с Бриками, и это грозило им отнюдь не только финансовым крахом, как считают и поныне их воинственные недоброжелатели. Сколь бы ни была обаятельна и привлекательна Лиля, как бы ни был умен и талантлив Осип, — все равно стержнем, душой, притягательным магнитом дома в Гендриковом был Маяковский. Любая -его жена никакой «двусемейственности» не потерпела бы. Татьяна, чей психологический портрет Лиля тщательно и почила по рассказам самого Маяковского, по письмам Эльзы, по информации друзей дома, не потерпела бы вдвойне и втройне.

Вполне понятная по-человечески (по-женски — тем более) эгоистичность дополнялась искренней убежденностью Лили в том, что «нормальная» семья Маяковскому вообще не нужна, что для семейной жизни в привычном смысле этого слова он попросту не создан, что, став мужем и отцом, он потеряет себя

как поэта и как трибуна и что лишь тот дом, который она, Лиля, ему создала, лишь та свобода, которой он пользуется, не имея при этом ни малейших забот о быте, — лишь такой образ жизни гарантирует ему творческий подъем и духовную удовлетворенность.

Тринадцатого мая 1929 года Осип Брик неожиданно позвонил артистке Веронике Полонской — Норе, как ее звали коллеги, знакомые и друзья, — и пригласил на бега. Брика она, разумеется, знала, но достаточно отдаленно, и не могла предположить, что он за ней станет ухаживать. Другой причины, побудившей Осипа вдруг вызвать на ипподром малознакомую женщину, Нора представить себе тогда не могла. Куда лучше она знала Лилю, которая вместе с Виталием Жемчужным была режиссером пародийного фильма «Стеклянный глаз», где Нора сыграла одну из главных ролей. Премьера состоялась еще в январе, и после празднеств по этому поводу она с Бриками почти не встречалась. Худенькая, изящная, необычайно женственная артистка Московского Художественного театра, которой только что исполнился двадцать один год, Нора уже четыре года была замужем за артистом того же театра Михаилом Яншиным, не будучи безумно в него влюбленной, но вполне довольная тем, как складывается ее судьба.

Предложение Осипа было, однако, принято, но «на всякий случай» вместе с Норой отправился любоваться бегами и ее муж. Компания собралась, как обычно, большая — присутствие в ней Маяковского никого удивить не могло. Здесь и познакомилась с ним Нора «по-настоящему» — до этого ей приходилось видеть его лишь издали и мельком. Ни он, ни Норд не могли догадаться, какой сценарий разработала Лиля: устроив им «случайное» свидание, она была уверена в том, что на этот раз Маяковский не упустит возможности приударить за барышней, относившейся к его традиционному «типу». Во всяком случае, заметит ее. Большего— для «отвлечения» — Лиле пока было не нужно.

И действительно— он ее заметил. Роман развивался с невероятной быстротой и интенсивностью — Маяковский в таких ситуациях никогда не терял время даром и не слишком затягивал «начальный этап». Эта внезапно в нем вспыхнувшая сильная страсть особенно впечатляет, потому что лишь две недели отделяли его от разлуки с той, которой он клялся: «Тоскую по тебе совсем небывало».

В те самые дни, когда он штурмовал Татьяну в Париже любовными письмами и телеграммами, ничуть не менее бурным его атакам подвергалась в Москве (а в июле — августе — на черноморском побережье, куда она выезжала с театром на

гастроли) Вероника Полонская. В комнате в Лубянском проезде, куда «тайком» приходили письма из Парижа, Маяковский чуть ли не ежедневно — и тоже тайком — встречался с Норой. С пяти часов и до начала спектаклей в театре время безраздельно принадлежало им двоим. Соседи по квартире давно уже усвоили правило не слишком любопытничать.

Впрочем, для Лили эти тайные свидания вовсе не были тайной — их близости, даже и нараставшей, она была только рада: реальной опасностью считалась Татьяна, а вовсе не Нора. И все, что отдаляло Маяковского от Татьяны, было благом, какой бы ценой ни доставалось.

Близость Маяковского и Норы, их встречи наедине — все это оставалось тайной только для ее мужа Михаила Яншина, слишком уверенного в своей неотразимости и в стойкой преданности жены.

Он даже не знал о существовании «рабочего кабинета» в Лубянском проезде и всегда с готовностью откликался на предложение скоротать вечерок втроем в ресторане или в клубе, где Нора и Маяковский нарочито были на «вы», держась достаточно отчужденно.

Совсем еще молодому, но уже замеченному на мхатовской сцене Яншину льстила дружба со знаменитым поэтом. Но как «просто мужчину» он его не воспринимал, о том, что тянуло Маяковского к общению с «ним», не думал вообще, вряд ли допуская, что его красавица жена способна на адюльтер.

Что же касается Лили, то ее взгляды на супружеские «измены» были всем хорошо известны, так что ни малейшего смущения от роли «сводни», которую она играла, Лиля, разумеется, не испытывала, с полной симпатией относясь к Яншину и провоцируя вместе с тем его жену на связь с Маяковским. Ей искренне казалось, что в сложившейся ситуации выигрывают все и не проигрывает никто: Татьяна Яковлева, разумеется, в расчет не бралась.

Заподозривший, однако, неладное Яншин набрался храбрости просить Лилю воздействовать на Маяковского и отвадить его от Норы. Лиля пожала плечами: «А что там может произойти? В самом худшем случае пустенький адюльтерчик. Закройте глаза и не обращайте внимания. Ничего серьезного нет, я вам ручаюсь». Маяковского Лиля знала лучше, чем кто бы то ни было: вполне вероятно, что по большому счету она была права.

«Мне было очень больно, — вспоминала впоследствии Полонская, — что <Маяковский> не думает о дальнейшей форме наших отношений. Если бы тогда он предложил мне быть с ним совсем— я была бы счастлива». Таким образом, замысел

Лили пока что осуществлялся блестяще: Нора отвлекала, но не «умыкала». Для Маяковского— тогда, летом 1929 года — она была не больше чем «барышней на время», которая простейшим, банальнейшим способом заполняла образовавшуюся пустоту.

И все-таки вытеснить Татьяну из его мыслей и сердца было ей не дано: свою дальнейшую жизнь Маяковский все еще представлял только вместе с «родным и любимым Таником», с «дорогим, милым и любимым Таником», с «дорогой, родной, милой любимицей Таник» — так начинались все его письма в Париж. После двух часов торопливых ласк Нора уходила от него в театр на спектакль. Он тут же садился за письмо к Татьяне: «Люблю тебя всегда и всю очень и совершенно».

В письме от 8 июня 1929 года он писал: «Ты спрашиваешь у меня о подробностях моей жизни. Подробностев нет». Но подробности были: разве Нора не являлась важнейшей «подробностью»? Ее, однако, он упорно умалчивал, хотя это был самый пик драматичного их сближения. Сопоставляя даты его любовных писем к Татьяне и даты его любовных встреч с Норой в Москве, на Кавказе и в Крыму, можно легко убедиться в том, что никаких изменений в его дальнейшие жизненные планы Нора так и не внесла. Сколь бы точно замысел Лили ни осуществлялся, все ее усилия до поры до времени пропадали впустую.

Ситуация, однако, решительно изменилась после того, как пришла весть о замужестве Татьяны. В начале 1930 года Маяковский, от которого Нора уже успела сделать аборт, стал домогаться от нее развода с Яншиным и согласия стать его женой. Нет точных данных, знала ли Лиля о таком повороте в их отношениях. Зато вполне очевидно, что эта перспектива ее не пугала, поскольку в женитьбу Маяковского на Норе она попросту не верила. Никогда не видимой ею Татьяны испугалась сразу и сильно, а Нору, которую хорошо знала, серьезной соперницей не считала, как бы ни складывались ее отношения с Маяковским. Иначе уж точно не уехала бы за границу...

Последнее письмо Маяковского Лиле отправлено в Берлин 19 марта, последняя телеграмма— в Лондон, всего из пяти слов, — 3 апреля. Никаких признаков той драмы, которая уже назревала,, неминуемо переходя в трагедию, найти там невозможно: обычные деловые и бытовые мелочи скрывали то, что с ним тогда творилось. Прежде всего он был болен: затянувшийся и тяжело проходивший грипп, которого Маяковский адски боялся, и — еще того хуже — тягчайшее нервное расстройство, граничившее с помешательством. Но те, кто считал его своим другом, не придавали этому никакого значения.

Допрошенный сразу же после трагедии Михаил Яншин, к

тому времени еще ничего не знавший об измене жены, воспроизвел убийственно точную картину той обстановки, в которой Маяковский находился последние недели своей жизни: «Все, кто мог, лягал <его> копытом.<…> Все лягали, и друзья, все, кто мог. <…> После премьеры <«Бани»> рядом с ним не было ни одного человека. Вообще ни одного. Так вообще не бывает. Он попросил заехать к нему актрису А.О. Степанову и завлита МХАТа П. А. Маркова, очень немного с ним знакомых через нас. Позднее приехали моя жена и я. <…> Один Маяковский. Один совершенно!»

Редко встретишь в неизбежно сухой, протокольной записи следователя документ такой эмоциональной силы… Впрочем, сам Маяковский не случайно же любил песенку, где о том же сказано еще короче и пронзительней: «У коровы есть гнездо, / У верблюда дети, / А у меня никого, / Никого на свете». Никого? А как же Лиля?..

Как ни странно, Маяковского всю жизнь — и очень часто — преследовала на любовном «фронте» одна и та же ситуация: ему приходилось отвоевывать у других мужчин предмет своего увлечения. По какой-то роковой случайности «его» женщины чаще всего оказывались принадлежащими другому. Отнюдь не обязательно в формально юридическом смысле. И эта борьба, в которой мужчины другого типа находят удовлетворение, особенно после одержанной победы, изматывала Маяковского и выводила его из себя. Напоследок он уже настолько не мог выносить никакого сопротивления, что любое слово невпопад со стороны дорогой ему женщины могло привести к нервному срыву. Зато отсутствие сопротивления быстро ему приедалось…

Из этого заколдованного круга попросту не было выхода. Очень многое объясняет такой эпизод, рассказанный художницей Валентиной Ходасевич и относившийся к марту или началу апреля 1930 года. Они ехали на извозчике, и Маяковский предложил Валентине, за которой он вовсе и не ухаживал, посидеть в кафе. Валентина отказалась. Маяковский вспыхнул. Со словами «Нет!.. Всегда и везде — нет…» он спрыгнул с извозчика и, не попрощавшись, удалился. Конечно, это была реакция уже тяжело больного, сорвавшегося человека, не вполне отдававшего отчет в своих действиях.

Лиля и Осип тем временем, дождавшись наконец английской визы, укатили в Лондон. На свидание с Еленой Юльевной у них оставались считанные дни: срок действия выданных им заграничных паспортов истекал через два месяца после пересечения границы. Стало быть, самое позднее 18 апреля им предстояло вернуться домой.

Без видимых причин события вдруг обрели фатальный характер к концу первой половины апреля. Маяковский стал требовать, чтобы Нора немедленно бросила Яншина и вышла за него замуж. События последних его дней описаны в литературе множество раз. Обратим внимание лишь на то, что он не внял настойчивой просьбе Лили не общаться с писателем Валентином Катаевым и вечер 13 апреля (впервые!) провел у него. Еще летом 1929 года Лиля писала ему в Ялту: «Володик, очень прошу тебя не встречаться с Катаевым. У меня есть на это серьезные причины. <...> Еще раз прошу— НЕ ВСТРЕЧАЙСЯ С КАТАЕВЫМ <подчеркнуто Лилей>».

Ни одной другой подобной просьбы мы в их огромной переписке не найдем. «С чем была связана эта просьба, — комментирует публикатор письма Бенгт Янгфельдт, — установить не удалось». Это странно, поскольку Лиля, с которой публикатор встречался множество раз и которая сама предоставила ему переписку для печати, могла бы, наверно, если бы захотела, объяснить причину своей необычной просьбы, изложенной, в столь категоричной форме. Причина была, видимо, очень серьезной — тончайшая интуиция не подвела Лилю и тут.

В этот вечер у Катаева много пили, резались в карты. Маяковский то и дело вызывал Нору в соседнюю комнату, в крайнем, возбуждении домогаясь ее согласия немедленно уйти от Яншина. Она возражала — то ли не верила в серьезность намерений Маяковского, то ли просто хотела сделать разрыв с мужем не столь болезненным. Все та же беда Маяковского: опять ему досталась женщина, принадлежавшая другому, он был вынужден воевать за нее или делить с опередившим его соперником. Это мучило, унижало. Та чрезмерная взвинченность, которую отмечали все, кто видел его в тот вечер, та грубость, которую он позволял себе по отношению к Норе, несомненно, подогревалась тем положением, в котором он опять оказался. Только Яншин, сидевший тут же и шпынявший Маяковского обидными шутками, все еще ни о чем не догадывался. А если и догадывался, то явно не обо всем...

Утром 14-го Маяковский привез Нору в свой рабочий кабинет, служивший им комнатой для свиданий. Извинившись за вчерашнюю грубость, он потребовал от нее немедленно бросить и театр, и мужа. Возможно, Лиля права, полагая, что, уязвленный вечными неудачами и унижениями, он просто хотел доказать самому себе, что Нора не устоит под его напором, подчинится его воле. Это был уже тяжко больной психически человек, нуждавшийся в немедленной медицинской помощи.

Но ведь Нора была не врачом, а всего лишь несчастной

женщиной, оказавшейся между двумя жерновами. Она металась в тщетной надежде примирить непримиримое. Театр оставить не могла — в нем была вся ее жизнь и все надежды. Ей только что дали роль— хоть и в никчемной «революционной» инсценировке, но все же большую роль. Репетицию вел сам Немирович-Данченко! Она спешила на репетицию, смертельно боясь опоздать: по извечной традиции МХАТа, Немирович в таких случаях был беспощаден. Но, видя состояние Маяковского, пообещала уже вечером совсем переехать к нему, объяснившись предварительно с Яншиным. А вот бросить театр не могла даже ради него — так прямо ему и сказала. Едва она вышла из комнаты, раздался роковой выстрел.

В этот день Лиля и Осип были уже на пути в Москву — в Амстердаме, откуда отправили Маяковскому веселую открытку: «До чего здорово тут цветы растут! Настоящие коврики — тюльпаны, гиацинты и нарциссы». Открытка пришла через пять дней, но она УЖЕ была адресована мертвому человеку. 15-го Брики были в Берлине, остановившись, как всегда, в «Курфюрстен-отеле». Там их ждала ВЧЕРАШНЯЯ телеграмма, подписанная ближайшим другом Маяковского и Бриков Львом Гринкругом и Яней Аграновым: «Сегодня утром Володя покончил собой».

«Откуда Агранов с такой точностью узнал, что Брики в Берлине и в каком отеле Лилю нужно искать о>— задают вопрос нынешние ее обличители, намекая на какую-то потайную связь между нею и «службами» во время этой заграничной поездки. Между тем ничего подозрительного в такой осведомленности нет. Дата возвращения Бриков в Москву (18 апреля) была известна заранее— об этом сказано выше, ехать они могли только через Берлин, остановившись там как минимум на день, а местом их временного жительства в Берлине всегда был только «Курфюрстен-отель». Так что хоть в этом вопросе загадки и тайны нет никакой.

«В нашем полпредстве, — вспоминала впоследствии Лиля, — все уже было известно. Нам немедленно раздобыли все нужные визы <видимо, транзитные польские>, и мы в тот же вечер выехали в Москву». Вот тут без помощи Агранова, скорее всего, не обошлось. Можно ли его за это винить? Прочитав телеграмму, Лиля тотчас связалась по телефону с Москвой — просила отложить похороны до ее приезда.

Так все и получилось: поезд приходил в Москву 17-го утром, похороны были назначены на вторую половину того же дня. Встречать Лилю на пограничную станцию Негорелое Агранов отправил Василия Абгаровича Катаняна, сына тифлисского врача,

молодого литератора, познакомившегося с Бриками в декабре 1923 года и сразу же превратившегося в близкого друга. И Бриков, и Маяковского... Пропуск, которым Агранов снабдил Катаняна, позволял ему войти в вагон еще до того, как поезд покинул «пограничную зону». Лиля безутешно плакала, уткнувшись в его плечо.

В Москве тем временем разыгрывалась поистине тягчайшая сцена. Полонскую прямо с репетиции вызвали к следователю, куда ее сопровождал Яншин. Через полуоткрытую дверь он слышал, как следователь прямиком спросил ее, «состояла ли она в интимных отношениях с гражданином Маяковским».

Трясясь от страха, она пролепетала «нет», адресуя это слово, конечно, не следователю, а мужу.

Газеты опубликовали предсмертное письмо Маяковского (написанное, правда, за два дня до самоубийства), где были такие, ставшие затем всемирно известными, строки: «Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо».

На следующий день после самоубийства Виктор Шкловский, забывший уже про нанесенные ему обиды, писал своему другу Юрию Тынянову, что Маяковский оставил еще два письма: «одно Полонской, другое — сестре». Письма эти, если они были, до сих пор не известны. Но даже и по этой молве очевидно одно: отдельного письма Лиле оставлено не было.

Имя Норы — уже как «члена семьи» Маяковского — сразу же оказалось у всех на устах. Едва приехав, перед тем как отправиться в Клуб писателей, где был выставлен для прощания гроб с телом Маяковского. Лиля позвонила Полонской: «Нора, не отравляйте своим присутствием последние минуты прощания с Володей его родным». Нора согласилась, но Агранов решил перестраховаться: точно на этот час следователь Сырцов вызвал Нору для очередного допроса.

Трагедия была многократно усугублена немедленно распространившейся по Москве реанимированной сплетней (вопреки просьбе Маяковского в предсмертном письме: «<...> пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил») о сифилисе, который будто бы и вынудил поэта пустить себе пулю в сердце. Этому способствовало официальное сообщение о смерти, где были такие строки: «Самоубийству предшествовала длительная болезнь, после которой поэт еще не совсем понравился». Пошлая клевета, распространенная «друзьями» и «благожелателями» еще двенадцать лет назад, догнала Маяковского уже на смертном одре.

«Великий гуманист» Горький откликнулся печатно на его смерть в статье «О солитере», где по-прежнему гнул свое, недвусмысленно назвав причиной гибели «давнюю и неизлечимую болезнь». Дословно этот позорный горьковский пассаж звучит так: «Каждый человек имеет право умереть раньше срока, назначенного природой его организму, если он чувствует, что смертельно устал, знает, что неизлечимо болен и болезнь унижает его человеческое достоинство». (В письме Бухарину из Сорренто от 10 мая Горький позволил себе откликнуться на гибель Маяковского с еще более непристойным, презрительным укором: «А тут еще Маяковский. Нашел время! Знал я этого человека и — не верил ему». Словно тот совершил какую-то подлость...) Зато «первичный источник» тех давних слухов — Корней Чуковский — писал в скорбные дни прощания жене Василия Абгаровича Катаняна Галине: «Реву, как дурак. <...> Мне совестно писать сейчас Лиле Юрьевне, ей теперь не до писем, не до наших жалких утешений».

Чтобы подтвердить или развеять слухи, один из писательских боссов того времени— Владимир Сутырин — попросил устроить второе вскрытие тела, поставив перед экспертами только один вопрос: болел ли Маяковский сифилисом? Вскрытие провели прямо в здании Клуба писателей в ночь на 17 апреля. (Клуб писателей на Поварской улице, бывший особняк графов Сологубов, широко известный как «дом Ростовых» из толстовского «Войны и мира», по злой иронии судьбы был первым домом ВЧК в 1918 году...)

Как первоначальное, так и вторичное вскрытие проходило в присутствии лубянских товарищей: в первом случае надзирателем был начальник одного из секретных отделов Лубянки Моисей Горб, во втором сам Яня Агранов. Заключение экспертов было единым и категоричным: никакого сифилиса у Маяковского не было — ни раньше, ни в последнее время. Но где и когда даже самые авторитетные заключения пресекали слухи, на которые так падка толпа? Прав был тот же Чуковский, записавший в своем дневнике: «Перед смертью как ясно он видел все, что сейчас делается у его гроба, всю эту кутерьму».

Двадцать семь человек — ближайшие друзья — подписали некролог Маяковского, опубликованный в «Правде». Список — по алфавиту— открывает Агранов, среди остальных еще два лубянских товарища: Моисей Горб и Лев Эльберт. За бортом остались ничуть не менее ему близкие чекисты Захар Волович (он выполнял в это время «спецзадания» за границей) и Валерий Горожанин, спешно приехавший на похороны из Харькова. Подписавший некролог советский «журналист номер один»,

главный редактор популярнейших журналов и прочая прочая прочая Михаил Кольцов служил, правда, не на Лубянке, а в военной разведке (ГРУ), но все равно он с полным основанием может считаться входившим в ту же обойму. Агранов был главным церемониймейстером похорон — до самой печи крематория, а у него на подхвате пребывал Артемий Халатов— тот самый, который только что повелел вырвать из журнала портрет Маяковского: мародеры всегда при деле...

Похоронная процессия растянулась на несколько километров мимо домов с приспущенными флагами. Делегации десятков заводов и фабрик неподвижно стояли вдоль всего пути. Двойной ряд пешей милиции и сотни конных милиционеров безуспешно пытались сдержать натиск толпы, на которую не действовали даже предупредительные выстрелы в воздух. Подобного траурного многолюдья — в похоронах участвовало около ста тысяч человек — Москва еще не видела. «Если бы Маяковский знал, — размышлял много позже один из его современников, — что его так любят, не застрелился бы...» Гроб везли на грузовике, за руль которого сел Михаил Кольцов, вскоре он передал его шоферу, а сам пошел пешком, вместе со всеми. Так же поступили и Лиля с Осипом, выйдя из своего «рено», на котором сначала тронулись в скорбный путь вслед за грузовиком.

Несколько дней спустя Лиля писала Эльзе в Париж: «Если б я или Ося были в Москве, Володя был бы жив. <...> Я проклинаю нашу поездку». Но в том же письме: «Володя был чудовищно переутомлен. <...> Он совершенно израсходовал себя и от каждого пустяка впадал в истерику». Так что состояние Маяковского было ей хорошо известно, но отъезду не помешало. Корила ли она себя за это хотя бы потом или только констатировала вполне очевидное? Не попала ли в хорошо подготовленную ловушку, из которой не могла выскочить, даже если бы и хотела?

Невооруженным взглядом видна бесцельность, абсурдность, бессмысленность этой поездки, притом поездки СОВМЕСТНОЙ, с такой настойчивостью, с таким усердием организованной, словно ни Лиля, ни Осип никак не могли без нее обойтись. Где бы ни искать разгадку случившегося, какой бы позиции ни придерживаться, невозможно отмахнуться от очевидного факта: повсюду торчат вездесущие лубянские шишки, по-хозяйски расположившиеся в доме и около на правах ближайших друзей.

Случайности тут не может быть никакой, служебные интересы у этих людей были на первом месте, а иных, общих — литературных, которыми только и жила семья Маяковского — Брик, — не было вообще, да и быть не могло. Как случилось, что

Лубянка опутала своими цепями этот дом и всех его обитателей, всех посетителей? Чего хотела от них? На что толкала? Даже сейчас, почти семьдесят лет спустя, при, казалось, доступных архивах, концы невозможно свести с концами и заполнить достоверной информацией великое множество зловещих пустот.

На следующий день после похорон Лиля пригласила Нору к себе. Та пришла с Яншиным, поскольку — писала Нора впоследствии — «ни на минуту не могла оставаться одна». Яншина Лиля отправила в другую комнату и осталась с Норой наедине. Выслушав ее откровенный рассказ об отношениях с Маяковским, сказала на прощание: «Я не обвиняю вас, так как сама поступала так же, но на будущее этот ужасный факт с Володей должен показать вам, как чутко и бережно нужно относиться к людям».

Яншин все еще в полной мере не мог представить себе, какую роль пришлось ему играть в этой кровавой драме. Но очень короткое время спустя неизбежный развод состоялся — лишь после этого Нора призналась ему во всем. Рассказала об их любви, о близости, о планах на совместную жизнь с Маяковским. «Какой подлец!» — только и мог вымолвить Яншин.

Татьяна была уже в Варшаве, где виконт Бертран дю Плесси работал во французском посольстве коммерческим атташе и где супруги обосновались после свадебного путешествия по Италии. Она ждала ребенка и чувствовала себя вполне счастливой. Эльзе не пришло в голову известить ее о случившемся — ведь Татьяна теперь была далеко, перестав быть объектом ее интересов. О гибели Маяковского Татьяна узнала из газет. 24 апреля она писала матери в Пензу: «Я совершенно убита. <…> Для меня это страшное потрясение». И тут же в том же письме: «Вообще — это не страшно».

Мысль о случившемся, однако, не покидала ее. 2 мая того же года она снова писала матери: «Я ни одной минуты не думала, что я — причина. Косвенно — да, потому что все это, конечно, расшатало нервы, но не прямая, вообще не было единственной причины, а совокупность многих плюс болезнь». Болезнью она, разумеется, называла тягчайшее психическое расстройство. Так же из газет узнала о свершившемся и Элли Джонс…

Официальные советские власти вообще не отреагировали на гибель Маяковского. Отставной Бухарин, как и отставной Луначарский, публично заявившие о своей скорби, власть уже не представляли, а лубянские бонзы действовали на правах личных друзей, но не должностных лиц.

И все же отзвук в самых высоких верхах эта трагедия получила. Нельзя же считать простым совпадением, что 18

апреля, на следующий день после потрясших Москву похорон, Сталин решил продемонстрировать монаршье расположение к художникам слова. Он позвонил гонимому Михаилу Булгакову (накануне участвовавшему, кстати, в похоронах Маяковского) и заверил его в своем покровительстве. Уже в мае Булгакову дали работу в Художественном театре, создав для него унизительный пост «режиссера-ассистента». Так или иначе гибель одного гения причудливым образом, хотя бы на время, спасла другого, никоим образом к нему не причастного и чуждого ему абсолютно.

Чуждого? Абсолютно? Это еще как сказать...

II. «…и после»

ЖЕНА ПОЛКОВОДЦА

Июль 1967 года. Переделкино. Фрагмент моей записи беседы Лили с македонским журналистом Георгием Василевски:

«Ничто не предвещало трагического конца. Володю очень любила молодежь, его ждали повсюду, его вечера проходили с огромным успехом. Любая газета, любой журнал считали за честь напечатать его новое стихотворение. Выходило собрание сочинений. «Баню» одни ругали, другие восхищались. Но ото нормально, он привык к дракам и даже к брани, в такой обстановке он только и чувствовал себя хорошо. Некоторые до сих пор считают, что в его гибели виноваты женщины. Эти люди просто не знают и не понимают Володю. Он был очень влюбчив и даже самую маленькую интрижку доводил до космических размеров. Он и в любви оставался поэтом, все видел через увеличительное стекло. С Татьяной Яковлевой уже давно было покончено, он понял, хотя и не сразу, что там нет никакого будущего, только тупик. А Нора Полонская — это вообще несерьезно, сколько было у него таких увлечений? Десятки! И они проходили, как только девочка во всем ему уступала, подчинялась его воле. С Норой произошла осечка. Она была замужем и прекрасно понимала, что никакой жизни с Володей у нее не будет, Нет, дело не в Норе. Володя страшно устал, он выдохся в непрерывной борьбе без отдыха, а тут еще грипп, который совершенно его измотал. Я уехала — ему казалось, что некому за ним ухаживать, что он, больной, несчастный и никому не нужный. Но разве я могла предвидеть эту болезнь, такую его усталость, такую ранимость? Ведь с него просто кожу рвали разные шавки со всех сторон. Стоило ему только слово сказать: «Оставайся!», и мы никуда бы не поехали, ни Ося, ни я. Он нас провожал на вокзале, был такой веселый...»

Июнь 1968 года. Париж. Запись моей беседы с Эльзой Трипле в ее доме на улице Варенн:

«Давайте посмотрим, какая фраза предшествует в предсмертном письме Володи перечислению состава его семьи? «Лиля— люби меня!» Почему? Потому что самое главное для него — это Лиля, самое главное — это его любовь к ней. Никто не мог ему ее заменить, и ничто не могло заставить его отказаться от Лили. Теперь.смотрите: с кого начинается список членов семьи? Опять же с Лили, а не с матери, не с сестер и, уж конечно, не с Полонской. Ома вставлена туда только из-за благородства Володи. Он же понимал, что, давайте говорить откровенно... Он же поссорил ее с мужем, разбил семью. Значит, был обязан о ней

позаботиться. Он считал, что это долг любого мужчины. И только поставил Нору в ужасное положение. Ни одна разумная женщина, даже влюбившись в него, не могла поддаваться этому чувству, если ей была дорога своя жизнь. Потому что Лилю он никогда бы не бросил, а какая женщина стала бы делить себя с ней? У Володи было множество влюбленностей— где они все, те, в кого он влюблялся? Кто для них Маяковский и кто они для Маяковского? Встреча с ним — это самая яркая страница в их биографии, в их жизни. Прикосновение к гению, возвышавшее их в собственных глазах. Он выходил из себя, встречая сопротивление, это было очень эгоистично с его стороны, но иначе он не мог, иначе оп не был бы самим собой. А они инстинктивно защищались, боясь сгореть в его огне, как мотыльки. Если бы ему ответили той же гиперболической страстью, он сам бежал бы, потому что ему такое же мощное ответное чувство было совершенно не нужно. Если хотите, его до поры до времени прельщала именно их сдержанность, их холодность, необходимость мобилизовать все свои ресурсы, все свое обаяние, чтобы растопить лед. Когда в этом не было больше нужды, он остывал сам. А с Лилей ничего подобного было не нужно, Лиля была частью его самого, неотторжимой частью. И он для нее тоже. Верность ему и его творчеству она пронесла через всю жизнь».

Декабрь 1976 года. Москва. Монолог Лили за рождественским столом в ее квартире на Кутузовском проспекте и в холле при прощании:

«Володя боялся всего: простуды, инфекции, даже — скажу вам по секрету — «сглаза». В этом он никому не хотел признаваться, стыдился. Но больше всего он боялся старости. Он не раз говорил мне: «Хочу умереть молодым, чтобы ты не видела меня состарившимся». Я его убеждала, что его морщины будут мне дороже чистого лба, что буду целовать каждую из них, что мы будем стариться вместе, и, значит, это не страшно. Но он всегда стоял на своем. Я думаю, эта непереносимая, почти маниакальная боязнь старения сжигала его и сыграла роковую роль перед самым концом. Мне кажется, в ту последнюю ночь перед выстрелом достаточно мне было положить ладонь на его лоб, и она сыграла бы роль громоотвода. Он успокоился бы, и кризис бы миновал. Может быть, не очень надолго, до следующей вспышки, но миновал бы. Если бы я могла быть тогда рядом с ним! <…> Вот эти два кольца, его и мое, я стала носить на шнурке после его ухода и ни разу с тех пор не снимала. И мне кажется, что мы с ним не расставались, что он и сейчас рядом со мной».

В предсмертном письме содержалось и короткое стихотворение, ставшее потом хрестоматийным: «Как говорят—

«инцидент исперчен», любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид». Лишь очень близкие — Лиля прежде всего — знали, что это чуть подправленный черновой набросок стихотворения, датированный летом 1929 года. Только там вместо «Я с жизнью в расчете» было написано «С тобой мы в расчете», из-за чего несколько женщин претендовали потом на то, чтобы считать себя его Адресатом.

«С тобой» — это с кем: с Лилей? с Татьяной? с Полонской? Нора вроде бы отпадает сразу: их «любовная лодка» тогда еще самым счастливым образом плыла по безоглядно-синему Черному морю. Лиля?

Но о какой такой быт разбилась эта «любовная лодка» летом 1929 года? Какой именно «инцидент», связанный с Лилей, оказался тогда «исперченным»? Не было такого инцидента и не было любовной катастрофы в отношениях с ней. Значит, Татьяна? Но летом 1929 года и с ней все еще развивалось вполне нормально: письма летели в обе стороны регулярно, договоренность о встрече ранней осенью оставалась и была многократно подтверждена, в выражении взаимных чувств температура поднималась все выше и выше. Не явились ли эти трагические строки следствием не известного нам разговора («дружеского» совета), который поставил крест на надеждах Маяковского поехать снова в Париж и довести до конца свои планы?

Чуть-чуть перефразировав старую стихотворную заготовку и включив ее в свое предсмертное послание, озаглавленное «Всем», Маяковский невольно заставил близких ему женщин гадать, кого из них он имел в виду. Для Лили, естественно, прежде всего нужно было устранить Нору из числа претендентов на членство в семье. Татьяна, жена французского виконта, была бесконечно далеко, ни на что не претендовала и претендовать не могла.

Решался вопрос об исполнении воли Маяковского, выраженной в предсмертном письме. Строго говоря, обе женщины (невенчанная жена, состоявшая в нерасторгнутом браке с другим мужчиной, и совсем посторонняя, притом тоже чужая жена) в юридическом смысле ни к составу семьи, ни к числу наследников относиться никак не могли. Предсмертная записка Маяковского — опять-таки в юридическом смысле — никаким завещанием не являлась. Но для всех уже было ясно, что вся жизнь Маяковского и его отношения с близкими не вписывались ни в какой закон, что формальные требования закона в данном случае серьезного значения не имеют и что все будет решено на самом верху исключительно волевым образом.

«Лиля Юрьевна, — вспоминала Нора несколько лет спустя, — сказала, что советует мне отказаться от своих прав, поскольку мать Маяковского и сестры считали меня единственной причиной смерти Володи и не могли слышать равнодушно даже моего имени». Прав у Норы, как, впрочем, и у Лили, не было никаких. Но, ясное дело, признавая Лилю «как бы» женой Маяковского, власти не могли предоставить одновременно такой же статус еще и Норе, создавая совсем уж немыслимый для советской морали прецедент узаконенного двоеженства (на Лилино «двоеженство» им волей-неволей пришлось закрыть глаза).

Самого предсмертного письма, которое можно было рассматривать как завещание, в Кремле не оказалось — его забрал себе Агранов. В верхах как-то поладили, потому что решение о наследовании принималось не нотариусом и не судом, а на правительственном уровне — не по закону, а «по совести».

Норе позвонили из Кремля, ее вызывал на беседу чиновник по фамилии Шибайло. Вместо права на наследование он предложил ей путевку в санаторий. Просто по дурости? Или чтобы больней уязвить? Воля Маяковского в отношении Норы исполнена не была, так же как и в отношении Элли Джонс. Ее не поставить в известность о его смерти — ее не поставили.

Что оставалось Норе? Утешиться тем, что самые известные его стихотворные строки были посвящены ей. Ей ли? «Уже второй, должно быть, ты легла, А может быть, и у тебя такое. Я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить». Он и впрямь посылал Норе телеграммы-молнии. Но молнии же шли и Татьяне и Лиле. Обычные телеграммы плелись, по мнению Маяковского, со скоростью черепахи, никаких других, кроме молний, он не признавал.

Те, о которых говорится в стихах, уж никак не могли относиться к Норе, ибо летом 1929-го их роман был в самом разгаре, ни о какой «исперченности инцидента» не могло идти и речи — за отсутствием самого «инцидента». И однако видимая и невидимая борьба за посмертную близость к Маяковскому продолжалась, но вряд ли у кого-либо были шансы на победу, равные Лилиным.

23 июля 1930 года председатель совета народных комиссаров РСФСР Сергей Сырцов подписал постановление республиканского правительства о наследии Маяковского. Как и следовало ожидать, законом пренебрегли, — скорее всего, не потому, что так уж чтили Маяковского и его волю, а под впечатлением той реакции, которую вызвал его уход из жизни. Наследниками признавалась семья из четырех человек: Лиля Брик, мать и две сестры. Каждому из них полагалась одна четвертая часть пенсии в размере трехсот

рублей ежемесячно: тогда это была неплохая сумма.

Распределение же долей в наследстве па авторские права (всем было понятно, что это и есть реальное наследство) было определено отдельным, притом секретным, постановлением, не подлежавшим оглашению в печати Оно закрепляло за Лилей половину авторских прав, а за остальными наследниками вторую половину в равных долях. Таким образом, даже если бы не было других факторов, определявших отношение сестер к Лиле Брик, это постановление неизбежно обрекало признанных властями наследников на жестокий конфликт. Впрочем, тогда ему еще не пришло время.

В середине июня утешать Лилю приехали Эльза и Арагон. Жили они в Гендриковом — в той комнате, что освободилась после гибели Маяковского. По вторникам, и даже чаще, там снова собирались все те же друзья. Приходили и новые, продолжавшие тянуться к хлебосольному — в духовном, разумеется, смысле — дому. Парижские гости были особенно сильным магнитом. Лиля знакомила Арагона с московской литературной элитой, и он сразу почувствовал себя в близком и приятном ему кругу.

Оба гостя привезли в Москву вещественное доказательство своей верности памяти Маяковского— для Лили это явилось самым ценным подарком. По их инициативе был «дан отпор» острокритической, но проникнутой печальной симпатией к Маяковскому (сейчас это видно сильнее, чем тогда) статье критика-эмигранта Андрея Левинсона, опубликованной 31 мая в газете «Нувель литтерер» в связи с его гибелью. Признавая огромный талант поэта, Левинсон отмечал, что и Маяковского не обошла общая участь. «Уничтожение советским режимом всякой свободы мысли и слова, — утверждал критик, — привело к параличу его дара, <...> к падению в штопор в последние годы». 108 «левых» писателей и художников — французских и русских — опубликовали в той же газете протест против «злобного пасквиля», который Эльза и привезла с собой в Москву.

Кроме ее самой, под протестом поставили подписи Робер Деснос, Фернан Леже, Андре Мальро, Пабло Пикассо, Жак Превер, Жак Липшиц, Тристан Тцара вместе со- своими русскими коллегами, находившимися тогда во Франции (Юрий Анненков, Илья Эренбург, Осип Цадкин, Натан Альтман, Георгий Питоев, Людмила Питоева, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и другие). Взбешенный Арагон вместо подписи под письмом решил себя обозначить иначе, предпочитая действовать «по-мужски» и сделать приятное Эльзе, защищая столь необычным для поэта образом честь дорогого ей человека. Он ворвался в квартиру Левинсона и в буквальном смысле слова напал на хозяина, нанеся

ему не столько физические, сколько символические удары.

Восхищению Лили не было конца. Она говорила, что такое проявление солидарности пришлось бы Маяковскому по душе. Огорчало лишь то, что даже в таком контексте полузапретные в СССР имена эмигрантов и «полуэмигрантов» не могли быть упомянуты в советской печати, да и само имя Маяковского рекомендовалось не слишком «мусолить».

Но едва в Гендриковом успели радостно отметить успешную акцию Эльзы и Арагона, из Парижа пришла весть, что «левым» — кратко, но сокрушительно — ответили в той же газете «Нувель литтерер» крупнейшие писатели русского зарубежья: Иван Бунин, Дмитрий Мережковский, Владимир Набоков (Сирин), Нина Берберова, Марк Алданов, Владислав Ходасевич, Александр Куприн, Георгий Адамович, Борис Зайцев, Зинаида Гиппиус и другие. Для круга Лили все это были «реакционные мракобесы», «изменники» и «враги пролетариата». Их протест мог быть зачтен лишь в пользу той борьбы ЗА Маяковского, которую Лиля продолжала вести с его низвергателями в Москве.

Парадокс, одиако, состоял в том, что в своих инвективах ПРОТИВ Маяковского самые левые в Советском Союзе объединились с самыми правыми на Западе… Только сегодня стало возможным назвать вещи своими словами: по справедливому замечанию одного из русских исследователей творчества Маяковского, Андрей Левинсон написал тогда вовсе «не пасквиль, а статью о трагедии большого таланта при политическом режиме тотальной несвободы». Вероятно, многие понимали это уже тогда, но не смели произнести вслух.

Лиле было не до споров с эмигрантами — очернителей Маяковского хватало и дома. Журнал «На литературном посту», издававшийся РАППом, опубликовал подтасованные воспоминания о Маяковском одного из кремлевских сановников, Владимира Бонч-Бруевича. И Лиля не побоялась в присутствии Агранова позвонить главе РАППа Леопольду Авербаху, чтобы выразить свое возмущение. Она кричала на него, срывая голос, а бледный Агранов сидел рядом ни жив ни мертв, в ужасе от того, как смеет она объясняться с родственником всесильного Генриха Ягоды…

Постановление правительства о введении Лили в права наследства отмечали в том же подмосковном Пушкино, на даче, где каждое дерево и каждый куст еще помнили зычный голос Владимира Маяковского. Арагоны уехали, все остались в своей компании и могли предаться ничем не стесненному веселью.

Об этой пирушке напоминает исторический снимок, сделанный драматургом и публицистом Сергеем Третьяковым. На

снимке изображены все участники застолья, уже изрядно поддавшие и потому не ощущавшие потребности придать своим лицам чуть менее восторженный вид. Вот они все поименно, слева направо: Клавдия и Семен Кирсановы, Ольга Третьякова, Михаил Кольцов, Валентина Агранова, Лиля Брик, Лев Эльберт, Яков Агранов и Василий Катанян. Осипа нет— он остался в Москве вместе с Женей. Зато есть оба чекиста — на боевом посту. Один даже в форме с ромбиками в петлицах (они заменяли тогда генеральские звезды на погонах). И все глядятся как одна семья, в дом которой пришла нечаянная радость. Чем счастливее лица, запечатленные фотокамерой, тем тягостнее разглядывать сегодня этот кошмарный снимок.

Кооперативная квартира, за которую безрезультатно бился Маяковский, была наконец получена, и Лиля с Осипом переехали в Спасопесковский переулок, расставшись с Гендриковом, который стал теперь напоминать не о былой радости, а о недавней печали. Вернувшись вместе с Осипом после летнего отдыха (они проводили его на берегу озера Иссык-Куль, в Киргизии), Женя ушла с работы в детской библиотеке и получила статус «секретаря» писателя Осипа Брика, что избавляло ее от обвинений в «уклонении от трудовой деятельности» (годы спустя такое «уклонение» стали называть тунеядством).

Лиля начала новую жизнь. Юсуп вернулся в свою Киргизию. Осип коротко виделся с ним в столице республики — городе Фрунзе — и сообщил об этом Лиле как о самом заурядном, ничем не примечательном факте. И то верно — Юсуп из ее жизни безвозвратно исчез. Зато в дом на правах хозяина вошел человек, имя которого знал тогда каждый школьник.

Ни в одном источнике нет точных указаний, как и когда Лиля познакомилась с Виталием Марковичем Примаковым. Зато есть слухи с большой примесью пошлости, вообще характерной для молвы, сопровождавшей ее всю жизнь. Будто бы Лиля, выйдя из театра и попав в проливной дождь, не сняла свои туфли, как сделали это другие дамы, а пошлепала в них по лужам. И тут почему то рядом оказался Примаков, пожелавший познакомиться со столь смелой и неординарной женщиной. А Лиля ему будто бы сказала напрямик: «Знакомиться лучше всего в постели». Так вот прямо и сказала незнакомому человеку— летом 1930 года. Если эта пошлятина о чем-то и говорит, то лишь об уровне тех, кто сочинял и распространял подобные глухи.

Так ли уж, впрочем, важно, как именно произошло знакомство Лили и Примакова? Произошло, действительно, летом 1930 года, это все, что в рассказанном слухе соответствует истине. Находиться во вдовьем состоянии сколько-нибудь долго

Лиля, разумеется, не могла. Имя этого военачальника, «героя гражданской войны», прославленного командира «червонного» казачества то гремело на всю страну, то вдруг полностью исчезало со страниц советской печати. Объяснялось это его таинственными перемещениями в пространстве для выполнения специальных (как любили в Советском Союзе это патетичное и загадочное словечко!) заданий «партии и правительства» .

В 1925—1926 годах по личной просьбе Сунь Ят-сена Примакова отправили в Северный Китай военным советником маршала Фэн Юй-сяна (таким же советником маршала Чан Кайши на Юге служил Василий Блюхер). В Китае он сдружился с другим «советником», занимавшим формально пост профессора литературы Пекинского университета, Сергеем Третьяковым, драматургом и эссеистом, приятелем Бриков и Маяковского (он-то, наверно, и познакомил Примакова с Лилей), который на материале своих впечатлений от пребывания в этой стране написал очень популярную тогда в Советском Союзе пьесу «Рычи, Китай!».

В сентябре 1927 года Примакова послали в Афганистан (уже и тогда там шла жестокая междуусобная война, Кремлю непременно надо было на ней нагреть руки). Став формально военным атташе в Афганистане, Примаков неформально служил советником афганского эмира в его борьбе с мятежником Бачаи-Сакао, таджиком по национальности и бандитом по своей сути, который, захватив Кабул, несколько месяцев там заправлял под именем эмира Хабибулы Гази.

Военный атташе Примаков чудесным образом превратился в афганца Рагиб-бея и с отрядом псевдоафганцев (советских солдат среднеазиатского происхождения) овладел столицей Северного Афганистана Мазари-Шариф. Запросив шифровкой в Ташкенте эскадрон головорезов («свежие подкрепления»), он продолжил наступление на Кабул.

Но тут центральное афганское правительство, поняв, какова реальная цель «бескорыстной братской помощи» северного соседа, потребовало от Москвы отозвать лихого полководца обратно. За Примаковым прислали самолет, доставивший его прямо в Москву, наступление продолжалось без него и окончилось полным провалом. Бачаи-Сакао повесили в Кабуле без его участия, и никто толком не знает, был ли этот бандит действительно противником наступавших головорезов Примакова или, напротив, их тайным союзником.

Пробыв недолгое время (с мая 1929 года) военным атташе в Японии, Примаков вернулся в Москву в июле или августе 1930-го, и тут, надо полагать, произошла встреча с Лилей, быстро

завершившаяся ее очередным гражданским браком. Во всяком случае, из собранных по крупицам мемуарных свидетельств можно заключить, что еще до своего отъезда в Свердловск, к новому месту службы (Примакова назначили командиром и комиссаром 13-го стрелкового корпуса), то есть до сентября 1930 года, он пребывал в квартире в Гендриковом уже не в качестве гостя.

Именно сюда пришел на встречу с Примаковым его бывший адъютант Илья Дубинский, с суеверным и почтительным страхом отметивший, что беседа идет в кабинете Маяковского, возле стола, за которым тот работал, а сидят они на диване, где покоилось тело поэта, перевезенное сюда днем 14 апреля с Лубянского проезда...

Примаков был на шесть лет моложе Лили — разница, по ее критериям, ничтожная. За его плечами уже была трагически счастливая женитьба на дочери классика украинской литературы Михаила Коцюбинского и сестре главнокомандующего войсками советской Украины Юрия Коцюбинского Оксане, умершей во время родов вместе с новорожденным сыном. В последующие годы судьба подарила ему еще двоих детей. Лиля нашла в нем не только «настоящего мужчину», не только «пламенного революционера» с богатой романтической биографией, но и незаурядного литератора, автора стихов, новелл, трех книг очерков о зарубежных его авантюрах, причем одна, про Японию, издана под псевдонимом Витмар (Виталий Маркович!), другая — про Китай — под псевдонимом лейтенант Генри Аллен.

О советском участии в китайских боях упоминать было запрещено, так что в силу одного уже этого книга, при несомненной даровитости исполнения, была ложью от начала и до конца. Но все равно Примаков оказался человеком, причастным к литературе, — для Лили это имело большое значение. Еще большее, возможно, значение имело то, что одно из стихотворений Примакова даже стало популярной песней: «На степях на широких, на курганах высоких, / У бескрайнего синего моря / Много крови пролито, / Много смелых убито, / Не стерпевших народного горя».

С того момента, как в жизнь Лили вошел Примаков, все ее амурные истории прекратились. Ни одного романчика, ни одного любовного приключения у нес больше не будет. Возраст этому уж никак не был помехой: она сошлась с Примаковым, еще не достигнув и сорока. Просто Примаков — не Маяковский и не Брик: никаких приключений он не потерпел бы, а союзом с ним Лиля действительно дорожила. И никакой теоретической базы под свободу любви она больше не подводила — за отсутствием

потребности в самой этой свободе.

Стало быть, все любовные истории, так шокировавшие ее современников и неотделимые от ее биографии, вовсе не были Лилиной сущностью, а всего лишь образом жизни, притом в определенных условиях и при определенных спутниках — Маяковском и Брике. Похоже, ее неуемная потребность в коллекционировании незаурядных людей своего времени сопрягалась не столько с реальной опасностью, сколько с боязнью кого-либо упустить (как ни странно, но это — своеобразная форма неосознанного комплекса неполноценности!). Гарантию же прочности уз, в ее представлении, могла дать только постель, без которой даже очевидный успех не считался подлинной победой...

Никогда ни за кем не следовавшая, а, напротив, вынуждавшая следовать за собой своих мужчин, Лиля полностью подчинила жизнь Примакову, покойно отправляясь за ним в провинциальное «изгнание», как и подобало во все времена генеральской жене. Пока он был в Свердловске, там же пребывал.1 ii она, довольствуясь информацией о бурной московской жизни из Осиных писем.

«Не думай, что здесь, в Москве, веселей, — утешал ее Осип в ответ на жалобы про свердловскую скуку. — <...> Все люди стали ужасно скучные, не с кем слово сказать,..» Впрочем, возможно, это не были только слова утешения: с уходом Маяковского не столько сама литературная жизнь, сколько жизнь их привычного круга заметно потускнела.

После Свердловска местом пребывания Примакова на короткое время стала Казань— Лиля ездила и туда. В феврале 1932 года его перевели в Ростов-на-Дону, назначив заместителем командующего Северо-Кавказским военным округом. Лиля снова последовала за ним. Здесь ее настигла телеграмма от Осипа: «Киса! 20 лет прошло, как Mase венчал нас. Жили очень хорошо. Хоть начни сначала!» В буре прошедших лет она успела забыть об этой дате, уже ничего, в сущности, не означавшей. А Осип помнил...

Жизнь Брика становилась все интенсивней. В разных своих ипостасях он был нарасхват: писал статьи, сценарии фильмов — художественных и документальных, оперные и балетные либретто, пьесы для театра. Из Лондона вернулась Елена Юльевна. Поселиться с дочерью она не могла, — там, на Спасопесковском, жили Осип с Женей и Лиля с Примаковым, когда наезжали в Москву. Пришлось для нее снимать комнату в общей квартире, и особого желания общаться с дочерью у нее, видимо, не было: иначе и до Ростова добралась бы, и Лиля намного чаще навещала бы Москву, оставляя Примакова хотя бы

на несколько дней.

Снова прикатили Эльза с Арагоном. Он теперь работал для Коминтерна, который его и пригласил, в журнале «Литература мировой революции». Как и все гости этого почтенного учреждения, Арагон получил комнату в гостинице «Люкс». Он уже был. среди многого прочего, автором беспримерного гимна палаческому лубянскому ведомству — поэмы в честь ГПУ, где он призывал чекистов явиться в Париж с карающим мечом в руках («Воспеваю ГПУ, который возникнет во Франции, когда придет его время <.„>. Я прошу тебя, ГПУ, подготовить конец этого мира <...>. Да здравствует ГПУ, истинный образ материалистического величия!»), как и апологетических статей, страстно одобрявших расправу над подсудимыми на фальсифицированных московских процессах мифической «Промпартии» и не менее мифического «Союзного бюро меньшевиков». Вряд ли столь крутое превращение бывшего дадаиста и сюрреалиста в пламенного певца красного террора обошлось без влияния Эльзы.

Теперь по заданию Коминтерна Арагон переводил Маркса с английского на французский, но эта его бурная деятельность почему-то вызвала гнев так называемой французской секции Коминтерна. Пресловутый Андре Марти, которого называли тогда в Советском Союзе не иначе как «легендарным» (он поднял бунт французских моряков в поддержку русских большевиков), написал свой очередной донос в руководство Коминтерна, напирая на то, что «партия не давала разрешения товарищу Арагону покидать Францию». Чтобы не обострять отношений с французской секцией, коминтерновские вожди объявили о своем невмешательстве во внутренние дела братской партии и сочли работу товарища Арагона в журнале законченной. Принуждении» покинуть гостиницу «Люкс», он вместе с Эльзой еще остался на какое-то время в Москве, воспользовавшись отсутствием Лили: Осип не мог не и ото сниться и предоставил в их распоряжение одну комнату. «Эльза с Арагоном живут хорошо, — сообщал Осип Лиле в Ростов. — Эльза веселая, Арагон в почете».

Время от времени Лиля все же наезжала в Москву, проводила там несколько дней — «в тесноте, но не в обиде» — и мчалась обратно. В своем «захолустье» она жила только московскими новостями, о которых сообщал Осип. Новости были неутешительными: издание книг Маяковского кем-то невидимым тормозилось, публикация книг и даже статей о нем тормозилось еще энергичней.

Совсем скандальный эпизод произошел с одной из страстных пропагандисток творчества Маяковского, знавшей его при жизни,

критиком и публицистом Любовью Фейгельман. По настоянию «полит-редактора» (то есть цензора) Клавдии Новгородцевой (вдовы ближайшего ленинского сподвижника Якова Свердлова) Фейгельман была исключена из комсомола и изгнана с работы в одном из журналов «за пропаганду богемного, хулиганского поэта Маяковского». Попытки Лили за нее заступиться окончились ничем: сама она значила тогда очень мало, а Агранов умыл руки и вмешиваться не захотел.

Стихи Маяковского действительно печатались с трудом, даже самые «невинные» с политической точки зрения. Лидия Чуковская рассказывает в своем дневнике, с каким скрипом проходила в ленинградском издательстве никак не тянувшая на крамолу книжка стихов Маяковского для детей. Она ездила договариваться о содержании этого сборника к Лиле в Москву — застала там не только ее, но и Примакова.

«Весь стиль дома — не по душе», — записала тогда Чуковская. И продолжала: «Мне показалось к тому же, что Л. Ю. безо всякого интереса относится к стихам Маяковского. <Наблюдение это, безусловно, ошибочно. > Не понравились мне и рябчики на столе, и анекдоты за столом. <…> Более всех невзлюбила я Осипа Максимовича: оттопыренная нижняя губа, торчащие уши и главное — тон, не то литературного мэтра, не то пижона. Понравился мне за этим семейным столом один Примаков — молчаливый и какой-то чужой им».

Это наблюдение было неточным: Примаков очень хорошо чувствовал себя в кругу Бриков. Лиля постаралась, как она это умела, пробудить в нем писательский дар — не только дар делового очеркиста, но и прозаика. Именно под ее влиянием им написаны в то время новые рассказы, книга о Японии дополнена очень живыми описаниями японских нравов, пейзажей, преданий, сценок из жизни, экзотичного протокола императорского дома.

Несколько лет спустя, в другой дневниковой записи, Лидия Чуковская смягчила свое отношение к Лиле, признав ошибкой широко распространявшуюся ее подругой Анной Ахматовой легенду о «салоне Бриков». Из писем Маяковского к Лиле, отметила I Лидия Чуковская, «видно, что это было в действительности».

…Происходили странные вещи: Маяковского — посмертно— «задвигали», Пастернака— живого! — старались возвысить. Сталин, похоже, возлагал на него какие-то надежды. Пастернак почувствовал себя в те годы «второй раз родившимся» (его поэтический сборник так и назывался: «Второе рождение»), славил «близь социализма» и выражал готовность «мерить» себя пятилеткой.

Маяковский ушел, громко хлопнув дверью и оборвав наступившие после разгрома бухаринцев в 1929 году времена «потемками» и «окаменевшим говном». Первым — притом с такой сатирической злостью — он показал в «Бане» перерождение партократии в новый господствующий класс, а гипотетический приход социализма отодвинул из «близи» в некую «фосфорическую даль». Трудно поверить, что все эти, почти не зашифрованные, аллюзии не были поняты хорошо разбиравшимися в советских реалиях партийными и лубянскими контролерами, умевшими извлекать из художественных произведений еще и не такой «подтекст».

Но нет никаких указаний на то, что вездесущий Агранов раскрыл Лиле глаза на причины столь сдержанного отношения верхов к литературному наследию Маяковского. Впрочем, вполне возможно, что очевидные и для нее, и для Агранова вещи вслух просто не произносились.

Первую половину 1933 года Лиля снова провела в своем любимом Берлине, на этот раз на правах сопровождавшей Примакова спутницы. Вместе с группой других высших военных начальников — Ионой Якиром, Иеронимом Уборевичем, Павлом Дыбенко и другими — его командировали на учебу в академию германского генерального штаба. Нацисты победили на выборах в рейхстаг и пришли к власти законным путем, но прежние межгосударственные договоренности еще соблюдались. Кремль сумел воспользоваться последней возможностью, чтобы поднатаскать «красных полководцев» азам современной военной науки.

Советские моралисты очень строго относились к формальному статусу жен при поездках их мужей за границу, военных тем более. В качестве кого же отправлялась Лиля в Германию на этот раз? Юридической женой Примакова она не была, оставаясь по-прежнему женой Осипа Брика. Не иначе как снова подсуетился Агранов, все-таки записав ее женой Примакова, а в наркоминделе, да и в Кремле, на это просто закрыли глаза. И сам Примаков, и Агранов были тогда еще в очень большом фаворе, вряд ли кто-нибудь мог позволить себе им перечить по столь, в сущности, пустяковому поводу. Закрыли, как видно, глаза и германские власти: ведь во всех анкетах для получения въездных виз Лиля всегда называла себя женой Осипа Брика.

Она поспешила в Берлин, оставив в Москве Эльзу и Арагона и повелев Осипу докладывать ей о том, как они проводят время. Осип докладывал регулярно: «Арагоны живут тихо, никому не мешают, но и не помогают»; «Деньги есть, клопов не видать,

Эльза толстая, Арагон веселый». В обратную сторону информация о житье-бытье в Берлине была сначала довольно скупой. Возможно, непривычное положение Лили в Берлине на этот раз побуждало ее к осторожности. Примаков (а стало быть, и она), конечно, находился «под колпаком» германских спецслужб, как всегда в таких случаях, советские боялись собственной тени. Потом Лиля осмелела— рассказы об интенсивной светской и культурной жизни в Берлине становились все подробней и подробней.

Языкового барьера не было. Лиля хорошо говорила по-немецки, Примаков — по-английски. Свободное от занятий время проводили в театре, на концертах, в музеях. И на катке: заядлый конькобежец, Примаков приобщил и ее к давно забытому ею спорту. Разминувшись в Москве с Бертольтом Брехтом, Лиля познакомилась с ним в Берлине, и теперь «Примаковы» стали часто с ним встречаться, постепенно входя в брехтовский круг.

Так состоялась встреча с драматическим актером и певцом Эрнстом Бушем, популярным тогда исполнителем революционных песен. Стихи Маяковского, превращенные в зонги композитором Гансом Эйслером, Буш исполнял на своих концертах. Лиля загорелась идеей создать фильм о Маяковском, где бы Буш тоже пел эти зонги. Ни за сценаристом, ни за режиссером дело не стало: Осип был готов делать сценарий, Кулешов — ставить фильм. Но денег найти не удалось, а богатое советское государство финансировать германский фильм о Маяковском не пожелало.

Переписка с Осипом шла в прежнем ключе — никакие события не могли повлиять на их отношения и на тот стиль, в котором они общались друг с другом на расстоянии «Самое главное это то, — писал ей Осип, — что я тебя так люблю <...>. Целую тебя миллион раз и даже больше». Лиля отвечала ему: «Без тебя так грустно, ты даже представить не можешь себе — как. Обнимаю твою мордашку, твои лапки, твою головку». Обмен этими любовными признаниями всегда дополнялся «приветом Виталию» или «приветом от Виталия», «приветом Женечке» или «приветом от Женечки». Никто никого не обманывал, и всем было хорошо.

Арагоны уехали из Москвы в первых числах мая, и Осип поспешил обрадовать Лилю: «как гора с плеч». Дорогие французские гости жили, ни с кем не считаясь, чуть ли не каждый день бывали в театрах, возвращались, когда хотели, иногда посреди ночи, жили на широкую ногу, совершенно не по возможностям Осипа, а своих денег вообще не имели. Зная о предстоящем возвращении Лили, быстро собрались в дорогу, не

став ее дожидаться. Да и зачем? По дороге в Париж им предстояла краткая — тем и замечательно, что краткая, — встреча в Берлине.

В конце июня обучение в академии закончилось. Задержаться высокопоставленным «ученикам» разрешили лишь на несколько дней. Советский полпред в Берлине Лев Хинчук дал в честь красных командиров прощальный ужин. Жен не позвали: это было бы не в русле большевистских традиций. Впрочем, не всем-то и разрешили брать с собой жен в долгосрочную зарубежную командировку: Лиля была не единственным, но все-таки исключением. К тому же не женой, а подругой.

Возвращение не сразу принесло Примакову новое назначение: какое-то время он еще оставался на своем посту в Ростове, но значительную часть времени проводил в Москве. На двери квартиры в Спасопесковском прежнюю — гендриковскую — табличку «Брик, Маяковский» заменила табличка «Брик. Примаков».

Лиля снова окунулась в московскую литературную жизнь, включившись в подготовку альманаха «С Маяковским» (он был сдан в производство уже через месяц после ее возвращения), где, среди многого прочего, публиковались и первые наброски ее мемуаров, значительная часть которых только там и осталась. Кроме не печатавшихся ранее стихов Маяковского и его друзей, кроме воспоминаний о нем, в альманахе была опубликована и талантливая проза еще не слишком известного писателя. Под общим названием «Червонцы» Виталий Примаков опубликовал там восемь маленьких новелл, войдя таким образом — уже не семейно, а литературно — в избранный круг тех, кто считал себя живущими и творящими «с Маяковским».

Тут вдруг произошло нечто совершенно невероятное. Во второй половине 1934 года (за отсутствием документальных данных конкретную дату назвать невозможно) Примакова арестовали. Что в точности произошло, какие причины побудили Сталина прибегнул к такой мере, не вполне ясно и по сей день. Арест длился всего неделю (по другим сведениям — около двух недель), и в результате вмешательства Ворошилова, который был тогда наркомом обороны, Примакова освободили. Эпоха Большого Террора еще не началась, так что для очень высокопоставленных товарищей добиться освобождения кого-то не составляло большого труда.

Шок, испытанный Примаковым и Лилей, пришлось залечивать в Кисловодске. О случившемся предпочитали не вспоминать. Арест искренне воспринимался как случайная ошибка, которую чистейшие и справедливейшие лубянские

товарищи всегда, если есть основания, исправляют, не стараясь упорствовать в своей правоте.

У Осипа открылось второе дыхание, его творческая активность набирала темпы и приносила желанные результаты. Большой зрительский успех имели фильмы по его сценариям «Два-Бульди-Два» и «Кем быть?». На премьере оперы «Комаринский мужик», по его либретто, в Ленинграде (ноябрь 1933-го) присутствовал тамошний лидер и член политбюро Сергей Киров. Это считалось весьма значительным фактом, знаком одобрения и благоволения, раз за высоким посещением не последовал немедленный разнос. На руинах распущенных РАППа и других писательских объединений, обвиненных в «групповщине», Сталин и Горький (кто в точности знает, кому из них первому пришла в голову эта идея?) решили создать «министерство литературы» под названием Союз советских писателей СССР. Союза еще не было, а Осипа уже приняли в него.

На проходивший с помпой первый (учредительный) съезд советских писателей снова прибыли среди множества прочих иностранных гостей Эльза и Арагон. Точнее — Арагон в сопровождении Эльзы: за русскую писательницу ее никто не держал, французской она еще не стала. Примаков, сумевший устроить себе пребывание в Москве в дни писательского съезда, раздобыл для Лили пропуск в Колонный зал, где она имела возможность слышать доклад Бухарина о поэзии. Воздавая должное Маяковскому, он все же с особым почтением отдавал пальму первенства Пастернаку, что вызвало на съезде бурную реакцию оставшихся недовольными «пролетарских» поэтов.

И друзья Маяковского, и его противники объединились, чтобы «дать отпор возвеличиванию поэзии, не понятной пролетариату». Бухарин был вынужден оправдываться, напоминая, что его доклад одобрен в ЦК. Уехавший отдыхать на юг Сталин потирал руки от удовольствия: писатели снова переругались друг с другом, Бухарину надавали тумаков, а ему осталось только любоваться этим со стороны.

Конечно, находиться в роли почетных кремлевских гостей Арагонам было куда приятней, чем пребывать в привычном парижском повседневье, да еще в центре интриг, раздиравших французскую компартию. Так что обратно, домой, они не спешили. После съезда провели сначала почти месяц в правительственном санатории «Барвихи», недалеко от Москвы, потом в Гаграх — на берегу Черного моря, потом еще в одном санатории — в Ессентуках, на Северном Кавказе.

Всего в нескольких километрах оттуда, в Кисловодске, наслаждались комфортабельным отдыхом и Лиля с Примаковым.

Сестры встретились и мило провели время. Но никакой информации о том, виделись ли они тогда, летом и осенью 1934 года, с Еленой Юльевной, а если виделись, то где и как, — найти не удалось. Похоже, в отношениях матери с дочерьми произошел если не разрыв, то какой-то сбой. Что-то надломилось, какие-то обстоятельства не стимулировали их тягу друг к другу…

Лиля не очень старалась быть на виду, но молва о ее больших возможностях и особом положении в верхах пустила глубокие корни. Этому, конечно, способствовала известная и без всякой рекламы ее близость к Примакову. «Красные командиры» были в стране очень популярными людьми. Многие знали и об Агранове — его имя тоже часто появлялось на страницах газет.

Именно этим, наверно, можно объяснить, почему в июле 1934 года к Лиле обратились ученики художника Казимира Малевича с просьбой устроить ему лечение за границей (он страдал раком простаты). В деньгах Малевич не нуждался, имея возможность лечиться за счет продажи своих картин, если бы дали разрешение на их вывоз. Никакого разрешения дано не было — ни на вывоз картин, ни на его поездку. Нет и точных известий, хлопотала ли Лиля. Но если бы она и хлопотала, пусть даже и перед Аграновым, едва ли добилась бы успеха: в стране наступили уже совсем другие времена. Год спустя Малевич умер.

Первого декабря был убит Киров — выстрел в него послужил началом для развертывания кампании Большого Террора. Этим, и только этим, в реальности жила тогда вся страна. Агранов сразу же включился в эту кампанию — на самых важных ролях. Сталин взял его с собой в литерный поезд, помчавшийся в Ленинград после того, как пришло сообщение об убийстве. На короткое время Агранов возглавил ленинградское отделение НКВД, «очистил» город от «враждебных элементов», выбил из арестованных нужные показания и дал Сталину «базу» для ареста Зиновьева и Каменева.

Но тщетно искать в письмах Лили Осипу, Эльзе или кому-то еще каких либо отзвуков тех судьбоносных событий. Ощущение такое, будто Лиля вообще не ведает, что творится вокруг. Можно было бы допустить, что это просто страх перед бумажным листом, который окажется при случае «вещественным доказательством» для лубянских умельцев. Однако ее письма в предыдущие годы, когда климат в стране был все же иным, тоже отличались полным отсутствием каких-либо социальных реалий. В них нет ничего, кроме текущих мелочей быта: главным образом про наряды, покупки, косметику и денежные дела. По содержанию писем — без участия специалистов — их было бы невозможно датировать, настолько они лишены каких-либо конкретных примет времени.

В ходе декабрьской перетряски кадров, вызванной новой ситуацией, возникшей в стране, Сталин на короткое время нашел для Примакова местечко в Москве. Тот получил скорее символический, чем означавший что-либо реальное пост заместителя инспектора высших учебных заведений Красной армии. Но московское блаженство длились для Лили недолго.

Вскоре Примаков был откомандирован в тот же Ленинград, став заместителем Михаила Тухачевского — командующего Ленинградским военным округом. Пребывание в этом городе, «знакомом до слез», Лиля не могла рассматривать как вынужденную ссылку. Поезд «Красная стрела», связывавший Москву с Ленинградом, давно стал привычной «средой обитания» Бриков и Маяковского — при его жизни,

В Ленинграде тогда каждую ночь шли аресты, а днем била ключом культурная жизнь. Осип имел к ней самое прямое касательство. Малый оперный театр репетировал новые оперы по его либретто, и это давало ему возможность значительную часть времени проводить вместе с Лилей и Примаковым. Рядом были и друзья. Мейерхольд в том же театре ставил «Пиковую даму».

Лиля бывала на репетициях, потом, начиная с премьеры, вместе с Примаковым они не пропускали ни одного спектакля. Великий режиссер переживал личную драму: Зинаида Райх закрутила роман с актером мейерхольдовского театра Михаилом Царевым. Для Лили в этой заурядной истории не было ничего необычного, и она старалась утешить Мастера, внушая ему свои представления о любви и семейной жизни.

Вопреки всякой логике (так, по крайней мере, казалось), Лиля вполне дружелюбно общалась с Анной Ахматовой, жившей в так называемом Фонтанном доме, бывала у нее в гостях и вела литературные разговоры. Ахматова терпеть не могла ни Лилю, ни ее «салон» и все же охотно принимала у себя знатную ленинградскую даму. Лиля рассказывала ей, как Маяковский любил стихи Ахматовой (показала книгу ахматовских стихов с пометками Маяковского) и как любил произносить их вслух. Но оказалось, что сама Лиля ахматовские стихи не читала и знала лишь те строки, которые слышала из уст Маяковского. Этот конфуз никак не повлиял на отношения двух женщин, которым было что вспомнить во время их долгих бесед…

На стыке осени и зимы 1935 года произошло событие, радикально повлиявшее не только на судьбу Лили, но и на всю партийную политику в области литературы. Трудно с точностью сказать, кто именно и с какой целью надоумил Лилю обратиться лично к Сталину с призывом извлечь имя и творчество Маяковского из забвения. Совершенно очевидно, что мысль об

этом не родилась случайно, что выбор времени, адресата и формы обращения к нему был тщательно обдуман, согласован и безусловно ей «подсказан», то есть внушен. Совершенно очевидно и то, что этому предшествовали не только (и не столько) обсуждение предстоящей акции в домашнем кругу, но и ее проработка в кремлевских верхах. Письмо ждали, для соответствующего его восприятия адресатом почва была уже подготовлена.

Мертвый Маяковский не был опасен, монопольное толкование его творчества становилось теперь делом партийных идеологов и пропагандистов. Но особый смысл имела возможность столь неожиданным образом ударить по Бухарину, избравшему на съезде писателей «не те» поэтические ориентиры, и по Горькому, Маяковского не любившему и опрометчиво продолжавшему выражать Бухарину свое расположение. Возвеличивание Маяковского автоматически отодвигало Горького как «великого пролетарского писателя» на второй план.

События развивались следующим образом. 24 ноября 1935 года Лиля написала письмо Сталину. «...Обращаюсь к Вам, — писала она, — так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследство Маяковского». Убеждала: «...Он еще никем не заменен < прямой намек на Пастернака и косвенный— на Горького > и как был, так и остался крупнейшим поэтом нашей революции».

По свидетельству практически всех людей, осведомленных о закулисной стороне истории, Виталий Примаков предварительно договорился с кем надо, каким будет содержание письма, а потом лично его передал секретарю Сталина Александру Поскребышеву. «Антибриковская» компания считала и считает «передатчиком» не Примакова, а Агранова, полагая, что его участие бросает на Лилю какую-то тень.

Но не все ли равно, кто именно передал письмо? И почему передача его Примаковым предпочтительней, чем передача Аграновым? Не исключено, что оба работали «в связке», используя свои возможности общения со Сталиным и его секретарем. Суть от этого не меняется.

Так или иначе, письмо оперативно легло на сталинский стол, и вождь тут же начертал карандашом резолюцию Ежову, который был тогда одним из секретарей ЦК. Обычно сталинские резолюции на письмах или докладных состояли из двух-трех слов, а то и вовсе он ограничивался даже не подписью, а своими инициалами, и тогда над смыслом такой «реакции» ломали головы его подчиненные.

На этот раз Сталин сочинил, в сущности, целое послание:

«...очень прошу <...> обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям— преступление. <...> Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите ее в Москву. <...> Сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов».

Вызов последовал незамедлительно в самом конце рабочего дня. Лиля была в Ленинграде, ее нашли в театре — все московские поезда уже ушли. Она выехала на следующий день и отправилась в ЦК прямо с вокзала. «Невысокого роста человек с большими серыми глазами, в темной гимнастерке, встретил ее стоя, продержал у себя сколько нужно, подробно расспрашивал, записывая, потом попросил оставить ему клочок бумаги, где у А. Ю. были помечены для памяти все дела...» — вспоминал впоследствии, со слов Лили, В. А. Катанян. 5 декабря резолюция Сталина— без указания, где и в связи с чем она написана, — появилась в «Правде». Канонизация Маяковского началась.

В стане Бриков царило ликование. Квартира в Спасопесковском с утра до вечера была переполнена друзьями, которых оказалось почему-то гораздо больше, чем в те годы, когда имя и стихи Маяковского пребывали в загоне. Все орали, целовались, обнимали Лилю. Еще до публикации сталинского отзыва она поспешила обрадовать мать и сестер Маяковского: тогда еще их отношения считались нормальными.

Без этого письма, без этой резолюции те три женщины так и остались бы всего-навсего родственниками забытого поэта с сомнительной политической репутацией, а не лучшего, не талантливейшего... И Триумфальная площадь в Москве не была бы названа его именем, и не появились бы сотни улиц, библиотек, школ и клубов имени Маяковского в разных городах страны, не пролился бы на наследников золотой гонорарный дождь. И вся официальная «история советской литературы» была бы совершенно иной.

Наступившее «головокружение от успехов» было несколько омрачено начавшейся сразу же вслед за публикацией исторической резолюции кампанией против «формализма» в искусстве. Тон задала редакционная статья «Правды», которая была если не написана, то наверняка продиктована пусть только тезисно, лично Сталиным, хотя сейчас разработана версия, что ее сочинил один из тогдашних советских идеологов и руководителей культуры, Платон Керженцев. Статья называлась «Сумбур вместо музыки», она обрушила свой удар на оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (по одноименной новелле Николая Лескова), премьеру которой лично посетил

кремлевский вождь.

Пресса была заполнена статьями о «музыкальных формалистических вывертах» (попутно и о живописных, балетных, архитектурных...), а в различных партийных постановлениях и резолюциях, принятых в этой связи, речь шла еще (и даже главным образом) об «ужесточении цензуры оперных либретто», чтобы исключить возможность «музыкально-театральной иллюстрации реакционных писателей» (типа Гоголя, Достоевского или Лескова).

Похоже, Сталина напугало прежде всего либретто, но, не желая показать этот испуг, он перенес свой гнев на музыку. Сугубо любовная история, рассказанная Лесковым, была представлена в либретто как драма человека, которому жестокие законы и нравы не дают быть вольным в своих мыслях и чувствах. Ради обретения свободы мценская «леди Макбет» идет на убийство тирана-мужа, и все симпатии авторов (а значит, и публики) на ее стороне. Правомерно и нравственно все, что служит избавлению от тирании, — таким был лейтмотив оперы Шостаковича.

Легко понять, какие аллюзии вызвал у Сталина этот сюжет в декабре 1935 года, когда повсюду только и говорили о готовившихся «террористических актах». Так что появившиеся было надежды использовать сталинскую резолюцию о Маяковском как узаконение литературного новаторства и даже «революционного свободомыслия» почти сразу же рухнули. Осипа, нашедшего себя в сочинении оперных либретто, это касалось прежде всего.

Лиля, однако, по-прежнему оставалась на гребне успеха. Ее письма Эльзе отражают тот особый подъем, который она испытывала тогда. Они полны просьб о вечерних платьях, шелковых чулках, пудре, духах и прочей парфюмерии — ей явно мерещилось наступление салонного ренессанса. С восторгом сообщая Эльзе о том, как с шампанским встречали Новый год вокруг елки, которые только что были снова дозволены (Сталин переименовал рождественские елки в новогодние и перестал преследовать за эту «церковную» символику), Лиля многозначительно добавляла: «Напиши немедленно все, что тебе нужно. Все могу достать». Похоже, она действительно начинала себя ощущать первой леди...

Этому ощущению в еще большей степени способствовал грандиозный вечер памяти Маяковского, устроенный в Колонном зале — главном парадном зале тогдашней Москвы, — где Лиля и Осип, вместе с матерью поэта, Мейерхольдом, Кольцовым и еще несколькими его друзьями сидели на сцене, созерцая восторг

полутора тысяч гостей, допущенных на торжество. Патриарх советской литературы Максим Горький еще здравствовал, но «по состоянию здоровья» пребывал в крымском изгнании на берегу Черного моря и потому присутствовать не мог. Да он и не пожелал бы присутствовать, даже будучи в Москве… Зато Мейерхольд объявил на этом вечере, что приступает к новой постановке «Клопа».

О том, что тучи сгущаются, что многих из тех, кто торжествует сейчас в Колонном зале, скоро просто не будет в живых, никто, кажется, не подозревал. Отчаянная попытка Бухарина «отыграться» тоже не имела успеха. Он заказал Пастернаку стихотворный панегирик Сталину и опубликовал его в новогоднем номере редактировавшейся им газете «Известия». «…За древней каменной стеной, / Живет не человек — деянье, / Поступок ростом в шар земной», — писал Пастернак. Еще того больше: «Он — то, что снилось самым смелым, / Но до него никто не смел». По интонации стихи эти сильно напоминали вымученно-льстивые пушкинские «Стансы», обращенные к императору Николаю I. И реакция на них была схожей — то есть никакой. В кругу Бриков это вселяло еще больше надежд.

Эйфория набирала обороты. Лилины «сто дней» длились дольше, чем у Наполеона: целых двести пятьдесят.

Лиля с детства любила белые ночи, поэтому уже с середины мая 1936 года она не покидала Ленинград, деля время между городом и дачей на берегу Финского залива. В начале июня газеты сообщили о болезни Горького, и одновременно пришло сообщение из Лондона о том, что Эльза и Арагон, вызванные зачем-то Михаилом Кольцовым к умирающему Горькому, «спешат» на советском теплоходе «Феликс Дзержинский». После почти недельного пребывания в море теплоход прибывал в Ленинград, и было бы просто странно, если бы дорогие гости не задержались хотя бы на несколько дней у Лили и Примакова в их роскошной городской резиденции.

Так оно и случилось. Эльзе никуда не хотелось уезжать из белоночного Ленинграда, который в то жаркое лето казался еще прекраснее, чем всегда. Арагон с удовольствием вел долгие беседы с Примаковым и приходившим «на чай» Тухачевским о положении в Европе и о перспективах мировой революции. Горький, якобы их ожидавший, уже пребывал в агонии, об этом сообщали печатавшиеся ежедневно в газетах медицинские сводки. Но французские гости в Москву не спешили: здесь, в Ленинграде, у Лили было куда интересней.

Благополучно поучаствовав в горьковских похоронах, Арагоны, как случалось уже не однажды, не спешили

возвращаться в Париж. Правительственный подмосковный санаторий «Барвиха» снова дал им приют для отдыха и лечения. Там они проводили время вместе с Андре Жидом, тоже «успевшим» к похоронам Горького и тоже оставшимся в Москве. Затем они переселились в привычную для них гостиницу «Метрополь», часто встречаясь там с Лилей или навещая ее в Спасопесковском. Осипу и Жене Примаков устроил путевки в правительственный санаторий в Кисловодске. Лиля подробно рассказывала им в письмах о своей московской жизни.

Проводив Примакова в Ленинград, она осталась, чтобы обустроить дачу, которую им дали недалеко от Москвы, и провести там остаток лета. В двухэтажной даче были все условия для комфортного отдыха: общая столовая, кабинет Примакова, четыре спальни, множество подсобных помещений позволяли вольно расположиться еще и Осипу с Женей, и гостям, число которых могло только расти. Лиля часто встречалась с друзьями, в том числе и с Аграновыми. «Они немножко похудели, — докладывала она Осипу в очередном письме, — но выглядят хорошо». У Яни работы тогда было невпроворот: каждую ночь в Москве забирали не десятки, а сотни людей. Утомленный Агранов собирался к морю, на юг, а Лиля с Примаковым, как бывало уже не раз, готовились провести «бархатный сезон» все в том же Кисловодске: нарзанные ванны действовали на них всегда благотворно. Судьба решила иначе.

14 августа — за пять дней до того, как открылся первый из трех больших московских процессов (на скамье подсудимых Зиновьев и Каменев), — Примаков был арестован в Ленинграде. Через шесть дней арестовали Витовта Путну, бывшего военного атташе в Лондоне. Эти два ареста послужили началом для тотального разгрома всего высшего командования Красной армии.

Ленинградская домработница сообщила Лиле по телефону об аресте Виталия и об обыске в их квартире. Арагон застал потрясенную Лилю в Спасопесковском, куда пошел поболтать за кофе с сестрою жены. Лиля ничего не понимала и не находила сил, чтобы хоть что-нибудь предпринять. Да и что она могла бы сделать? Ее опорой были Примаков и Агранов. Примаков уже находился на пути в московскую Лефортовскую тюрьму, пыточные камеры которой позже войдут в десятки мемуарных свидетельств. Агранов сам был одним из шефов того ведомства, которое арестовало Примакова. Он не мог не знать о готовившемся аресте человека, с которым десятки раз сидел за общим дружеским столом. Не мог не знать, а скорее всего и лично не мог не участвовать в самой подготовке ареста.

Обращаться к нему было бесполезно: если бы счел нужным, если бы смог, а главное, захотел — нашел бы способ дать знать о себе.

Лиля мучительно пыталась понять, что могло привести к такой катастрофе: ведь Примаков только что, всего лишь несколькими неделями раньше, был назначен членом Высшего военного совета при наркоме обороны СССР! Вспоминался его арест двухлетней давности... Но тогда сразу же было доказано, что Примаков ни в чем не виновен, он не только был освобожден, не только реабилитирован, но и получил еще более высокий пост, чем занимал до ареста. До 1927 года он действительно, как и Путна, разделял троцкистские взгляды, но давно отрекся от них и делом доказал свою полную преданность Сталину и его политике.

Вспоминалось еще, что и в Берлине, и в Москве, и в Ленинграде к Примакову приходили его друзья, в том числе военачальники высшего ранга, много спорили и, случалось, кто-то произносил: «Этот дурак Ворошилов» или: «Буденный просто неграмотен». Может быть, кто-то донес и это послужило причиной ареста?

Арагон не мог бездействовать, когда с Лилей случилась такая беда. Он бросился к своим давним знакомым — советским дипломатам, с которыми встречался в Париже или Москве. Те дрожали от страха, с ужасом ожидая наступления вечера: аресты производились обычно с полуночи до пяти утра. Что они могли бы ему сообщить, чем могли бы помочь, даже если бы захотели?

Тем временем из Примакова выбивали — не в переносном, а в буквальном смысле слова — признание, что он стоит во главе военного заговора (или, по крайней мере, активно участвует в нем) для свержения Сталина и прихода к власти «наймита германских фашистов» Троцкого.. Сегодня, когда приоткрылись архивы, известны имена восьми следователей Лубянки, которые его избивали, пытали, лишали сна, еды и воды, добиваясь желанных им показаний.

Примаков стойко выдержал пытки и никаких признаний не дал. Он несколько раз писал Сталину, доказывая свою невиновность и разоблачая своих истязателей: «Я не троцкист и не контрреволюционер, я преданный боец и буду счастлив, если мне дадут возможность на деле работой доказать это». Все его письма позже нашлись в личном сталинском архиве. Ни одного ответа на них не последовало.

Какое-то время, видимо, в Примакове теплилась еще надежда, что он что-то сумеет доказать и, как двумя годами раньше, придет освобождение с извинением за допущенную ошибку. Через две недели после ареста, 29 августа, он написал заявление Агранову, наивно полагая, что «близкий друг» их

общего с Лилей дома придет на помощь: «Очень прошу Вас лично вызвать меня на допрос по делу о троцкистской организации. Меня все больше запутывают, и я некоторых вещей вообще не могу понять сам и разъяснить следователю. Очень прошу вызвать меня, так как я совершенно в этих обвинениях не виновен. У меня ежедневно бывают сердечные приступы».

И это письма осталось без ответа. Широко распространенное мнение, будто «близкий друг» Агранов участвовал в его допросе, не соответствует истине. Агранов допрашивал Путну, но не Примакова, нарочито уклоняясь от встреч с этим подследственным и тем подчеркивая свою «объективность». Но, ясное дело, именно он — по должностному своему положению — дирижировал всеми пытками из служебного кабинета: информация о ходе «следствия» поступала к нему ежечасно.

Зимой, накануне пленума ЦК, где должна была решиться «демократическим путем» уже предопределенная Сталиным судьба Бухарина и Рыкова, истерзанного и кое-как залатанного Примакова привезли на заседание политбюро. Собрался весь верховный синклит, в том числе и те, кого уже дожидались свои палачи. Примаков продолжал стоять на своем, не желая смириться с неизбежным. Сталин бросил ему в лицо: «Трус!» Вероятно, он хорошо знал психологию этих людей, фанатично приверженных так называемой партийной дисциплине и «советской воинской чести».

Еще несколько месяцев «запирательств», и лубянские мастера могли рапортовать о победе, 14 мая 1937 года Примаков начал «признаваться» во всем. Разумеется, он состоял в руководстве военного заговора, разумеется, организатором готовившегося переворота был Тухачевский, разумеется, среди заговорщиков, как того и хотелось авторам сочиненного на Лубянке сценария, были Иона Якир, Иероним Уборевич и еще многие другие. И тем более разумеется, что все нити вели лично к Троцкому... В начале июня «участников заговора», по показаниям Примакова, насчитывалось уже более сорока человек. Дожившие до «оттепели» двое его истязателей — Владимир Бударев и Алексей Авсеевич — рассказали (первый в 1955 году, второй в 1962-м), что ни один из так называемых заговорщиков не подвергался столь жестоким пыткам, как Примаков.

11 июня 1937 года, в 23 часа 35 минут, на фальсифицированном суде Примаков и все остальные «главные заговорщики» были приговорены к расстрелу, и уже через час его не стало. Казнь свершилась в присутствии судьи Василия Ульриха и прокурора Андрея Вышинского. Сталин потребовал от членов так называемого Специального судебного присутствия, перед

которым предстали «заговорщики», письменно ему доложить, как они вели себя на скамье подсудимых. Один из судей, командарм Иван Белов (тоже расстрелянный годом позже), докладывал: «Примаков выглядел сильно похудевшим, показывал глухоту, которой раньше у него не было. Держался на ногах вполне уверенно». Другой член суда, маршал Семен Буденный, тоже представил свой доклад: «Примаков держался на суде с точки зрения мужества, пожалуй, лучше всех <...>. Очень упорно отрицал, что он руководил террористической группой против Ворошилова <...>».

Эти свидетельства можно дополнить воспоминаниями бывшего заместителя министра государственной безопасности Селивановского, представленными в ЦК КПСС в декабре 1962 года, когда полным ходом шла реабилитация жертв «культа личности»: «Зверские, жестокие методы допроса сломили Примакова. <..,> Ему приписали то, чего он не говорил даже под пытками. <...> Примаков был сломлен длительным содержанием в одиночной камере, скудным тюремным питанием. Его одели в поношенное хлопчатобумажное красноармейское обмундирование, вмести сапог дали лапти, не стригли и не брили...»

Родные и близкие обычно ничего не знали ни о дате гибели «врагов народа», ни даже о самом факте их расстрела. Им сообщали условную, придуманную, разумеется, Сталиным формулировку приговора: десять лет лагерей без права переписки. Но про расстрел Примакова и его «подельников» из газет и по радио узнал весь мир.

Лиля слегла с тяжелым сердечным приступом. Сорок лет спустя она призналась французскому журналисту-коммунисту Жану Марсенаку, опубликовавшему ее рассказ в «Юманите»: «Я не могу простить самой себе, что были моменты, когда я готова была поверить в виновность Примакова». Она сочла, что заговор, вероятно, все-таки был, а мучило Лилю больше всего то, что Примаков это скрыл от нее. Как бы она поступила, если бы заговор действительно был и если бы Примаков раскрыл перед ней эту страшную тайну? Вряд ли она могла доверить кому-либо, кроме самой себе, ответ на этот вопрос.

Сразу же после ареста Примакова или уже после того, как газеты объявили о трагическом финале, Лиля приступила к чистке своего архива, стремясь избавиться от всего, что могло бы послужить уликой против нее. Что могло, что не могло, — этого в точности не знал никто: если бы захотели, лубянские мастера могли бы извлечь улики из чего угодно. Но так тогда поступали все, боясь сохранить у себя книги «врагов народа», номера газет и

журналов, где упомянуты их имена, фотографии, на которых они запечатлены, пусть и в группе с другими, письма, где дается любая — неважно какая — оценка событий, происходивших в стране. Ночами дымились печи в старых домах, а в новых роль печей играли большие эмалированные тазы. Гарь и дым уходили через раскрытые настежь окна...

Лилин архив неизбежно содержал множество всякой крамолы, ибо жизнь проходила в гуще литературных борений, при участии многих из тех, чьи имена стали запретными. Лиля уничтожила все, что могла, — потеря для истории невозвратимая. И однако же, все письма, телеграммы, открытки, которые связаны с именем Маяковского, прежде всего ее — к нему и его — к ней, — весь этот огромный, бесценный массив документов остался нетронутым. На него она посягнуть не могла, хотя в той переписке то и дело встречались имена «врагов», эмигрантов, «предателей» — каждое могло ей грозить лагерем, а то и стоить жизни.

Но самая большая потеря — частично уничтоженный, частично исправленный ею дневник. От всего, что было после 1932 года, то есть с момента отъезда в Германию вместе с Примаковым, в дневнике не осталось ни единой страницы: на тридцать втором он обрывается. А многие более ранние записи переписаны заново. Имя Примакова вообще исчезло, другие имена тоже, полностью или частично, как и пассажи, посвященные самым острым событиям, к которым Брики и Маяковский были причастны. Теперь этот документ если и может считаться историческим, то лишь как памятник страха и ужаса, охвативших тогда страну.

«ПОД КОЛПАКОМ» ЛУБЯНКИ

Те, кто видел Лилю в последние месяцы, отмечали несвойственные ей раньше спокойствие и доброжелательность. «Почти откровенно стареющая, полнеющая женщина» (такой ее запомнила одна из посетительниц ленинградской квартиры), казалось, нашла наконец тихую пристань, где можно укрыться от повседневных житейских бурь и вместе с тем, не чувствуя ни забот, ни опасности, заниматься любимым делом. Любимым было все, что связано с Маяковским: издание его произведений, создание музея в квартире в Гендриковом, выпуск книг о нем, участие в вечерах, ему посвященных.

Теперь все рухнуло — предстояло начать жизнь сначала. Но, перечеркнув прошлое, жить она бы уже не могла. Спасение от охватившего ее безумия Лиля нашла в алкоголе — средство давнее и испытанное, в котором раньше у нее не было ни малейшей нужды.

Скорее всего, этот омут быстро ее засосал бы, но друзья поспешили бросить ей спасательный круг. Точнее, не друзья, а один из друзей, державшийся до сих пор на почтительном отдалении и всегда чувствовавший себя «младшим из равных». Василий Катанян, поэт, журналист, литературовед, который был моложе Лили на одиннадцать лет, познакомился с Маяковским и Бриками еще в 1923 году, приехав в Москву из Тифлиса, чтобы подготовить издание стихов Маяковского в переводе на грузинский и на армянский. Через три года Маяковский побывал в Тифлисе, где сблизился с Катаняном и его женой Галиной, поэтом и журналисткой: оба они были в самом центре бурной литературно-художественной жизни Тифлиса и очень популярными в городе людьми.

Когда Катаняны переехали в Москву в 1927 году, они сразу же легко и естественно вошли в круг Маяковского — Бриков. В 1929 году Катанянам дали вторую комнату в коммуналке, где жило еще восемь семей, и по этому счастливому случаю было устроено шумное новоселье с участием Лили, Маяковского, Осипа и других завсегдатаев «салона». Встречать в приграничном городке Лилю, спешившую из Берлина на похороны, послали, как мы помним, Василия Катаняна. А разбирать потом архив Маяковского помогала Лиле Галина — это сблизило их еще больше.

Трудно восстановить день за днем то, что происходило с Лилей после известия о казни Примакова. Но так или иначе, меньше чем через месяц, 9 июля Катанян стал Лилиным мужем. В

самых разных источниках названа с точностью эта дата, но что конкретно связано с нею, нигде не сообщается. Никаких «юридических» перемен не произошло, как и — сначала, по крайней мере, — перемен в месте жительства. По свидетельству сына Катаняна — Василия Катаняна-младшего, его отец и Лиля поселились совместно в Спасопесковском лишь год (или почти год) спустя. Лиля надеялась, что Катанян все же останется дома, но «пока» на какой-то срок заполнит ту пустоту, что образовалась с гибелью Примакова.

«Я не собиралась навсегда связывать свою жизнь с Васей, — заверяла Лиля своего пасынка уже в шестидесятые годы. — Пожили бы какое-то время, потом разошлись, и он вернулся бы к Гале». Но Галина не захотела, хотя Осип ездил ее уговаривать: «У Лилички с Васей была дружба. Сейчас дружба стала теснее». Только и всего... Эти доводы не подействовали: у Галины Катанян был твердый характер.

Драма одной семьи явилась спасением для другой. Точнее — для Лили. Катанян вывел ее из запоя, когда казалось уже, что она спивается окончательно. Но цепная реакция наступивших событий на этом, увы, не закончилась. Весть о новом брачном союзе привела в особое ожесточение старшую сестру Маяковского Людмилу. У этой сильно перезревшей «девицы» были, похоже, определенные виды на женатого Катаняна, несмотря на разделявшие их восемнадцать лет «в его пользу». Когда в июне 1936 года они вместе отправились в поездку для выступлений о Маяковском, Лиля настойчиво предупреждала Катаняна быть «сдержаннее с Л<юдмилой> Вл<адимировной> оттого, что сейчас очень большие алименты». Уж она-то хорошо знала нрав этой женщины, к своим пятидесяти двум годам не обзаведшейся семьей и не испытавшей ни одного сколько-нибудь сильного увлечения.

Позади были одни неудачи. В ноябре 1924 года Лиля писала Маяковскому в Париж: «У Люды роман, и она счастлива», Счастье, видимо, было призрачным, ибо ни из того, ни из какого-либо другого «романа» ничего ровным счетом не вышло. Теперь Лиля «украла» у нее последнюю надежду (что-то все же эти надежды питало...), как раньше «украла» брата, и Людмила дала волю тем чувствам, которые давно уже в ней копились. Сдерживать их приходилось лишь потому, что Лиля была на коне: трезвый расчет повелевал Людмиле не возвышать голос.

Теперь наконец настал ее час. Получившая всемирную огласку трагедия ненавистной соперницы помогла Людмиле развязать язык и спустить тормоза. В 1937 году между сестрами и Лилей наступил полный разрыв. «Кто же вам поверит, —

издевательски заявила Лиле Ольга, другая сестра Маяковского, — что вы шесть лет жили с врагом народа и ничего не знали?»

Досталось и Василию Абгаровичу Катаняну: из потенциального жениха Людмилы он превратился в родственника «врага народа». Действительно, его брат Иван, работавший раньше в Интернационале профсоюзов (Профинтерн), был тоже расстрелян в 1937 году. Личное, как это водилось в советские времена, тут же получило политическую окраску. Глумиться было тем радостней и вольготней, чем ближе к Лиле падали снаряды: защиты искать уже было не у кого.

Меньше чем за две недели до «суда» над Примаковым и его казни первый заместитель наркома внутренних дел Агранов неожиданно был отправлен в Саратов: ему поручили возглавить там местное отделение Лубянки и раскрыть «гнезда германской разведки» в расположенной по соседству автономной Республике немцев Поволжья. Умный, кажется, был человек, а так и не понял, что означает это «ответственное задание». Или по известному психологическому закону гнал от себя черные мысли?

Во всяком случае, он приступил к новой работе с таким рвением, что даже закаленные в чекистских провокациях провинциальные коллеги и те ошалели от буйства нового начальника. Буквально за несколько дней его. неукротимая фантазия создала на подведомственной ему территории десятки «шпионских, заговорщических, террористических и диверсионных групп». Людей хватали сотнями, тысячами — арестованных не могла вместить местная тюрьма. Все они признавались, признавались...

Таким путем Агранов мучительно пытался спасти свою жизнь Ему нужно было не просто выслужиться, а показать, что здесь, в далеком Саратове, он — в одиночку — раскрыл врагов, пребывающих в Москве, то есть сделал то, что оказалось не под силу всему оставшемуся в столице аппарату НКВД. Так, среди «германских шпионов» оказались Крупская (Сталин люто ненавидел ленинскую супругу, о чем Агранов, конечно, знал, но такого самовольства опального чекиста простить не мог) и только еще начинавший свою партийно-государственную карьеру Георгий Маленков, которого Сталин прочил в преемники уничтоженным «врагам народа».

Агранов явно перестарался. Агонизируя, он растерял все свои доблестные качества опытного, хитроумного интригана. Его безумное письмо новому (после ареста Ягоды) наркому внутренних дел Ежову с предложением арестовать Крупскую и Маленкова говорит само за себя.

Уже 18 июля (Лиля только что с помощью Катаняна вышла из

длительного запоя) Агранова вызвали обратно в Москву. Думал: возблагодарят за рвение. Но Ежов устроил ему грубый и беспощадный разнос. Оставалось ждать неизбежного. В кремлевской квартире, которую двумя годами раньше ему пожаловал Сталин, жили уже другие. Ему оставили «запасную», в жилом доме чекистов, где совсем недавно арестовали Ягоду. Тут же взяли и Агранова.

Он отлично знал, что его ждет, сопротивляться не стал, подписал без единого возражения все, что подготовили более удачливые (на время, на время...) лубянские мастера. Пуля палача оборвет его жизнь лишь через год — 1 августа 1938 года. Валентина Агранова переживет своего мужа меньше чем на четыре недели: 26 августа расстреляют и ее.

С интервалом в один месяц — в марте — апреле 1937 года— были арестованы и почти сразу же, даже без комедии «суда», казнены Захар Волович и Моисей Горб: оба приятели Маяковского и соответственно Лили, очень видные в тридцатые годы чекистские шишки. Таким образом, любая связь с Лубянкой и ее шефами, любая работа на нее (даже если она и имела место) под началом Агранова и его уничтоженных сослуживцев становились не плюсом, а большим минусом в биографии. Зловещим и фатальным штрихом...

Чтобы избежать неминуемого ареста, покончил с собой Иосиф Адамович, член ЦИК СССР, не раз выручавший Лилю и всегда готовый прийти на помощь. Сразу же вслед за этим арестовали его жену Софью Шемардину — Сонку: ей предстоит провести в ГУЛАГе семнадцать лет.

В качестве японского шпиона летом 1937 года арестован и 25 ноября того же года расстрелян Александр Краснощеков, продолжавший оставаться Лилиным другом, но к тому времени уже снова женатый на давней своей знакомой Донне Груз. Арестовали и ее, но Донна выжила в лагере, дождавшись хрущевской «оттепели» и реабилитации— своей и мужа. Дочь Краснощекова от первого брака, Луэллу, Лиля приютила у себя.

Другим японским шпионом (к тому же еще и германским!) оказался близкий соратник Маяковского по ЛЕФу и РЕФу, Лилин друг Сергей Третьяков, популярный драматург, публицист, переводчик с немецкого, вошедший в биографию Бертольта Брехта и других левых деятелей культуры дофашистской Германии, где он был широко известен. «Следствие» по его «делу» почему-то задержится, и его казнят только в 1939 году.

Отправятся в лубянские пыточные казематы Михаил Кольцов и Всеволод Мейерхольд, которые погибнут в один и тот же день: 2 февраля 1940 года.

Из далекого Фрунзе — столицы Киргизии — пришло известие об аресте Юсупа Абдрахманова. Его, естественно, тоже казнят.

Несколько позже других, когда волна террора как будто пойдет на убыль, отправится в ГУЛАГ уже расставшийся с Ахматовой теоретик искусства и бывший красный комиссар Николай Пунин, некогда влюбленный в Лилю и всегда остававшийся ее другом.

Из двадцати семи человек, подписавших в «Правде» некролог Маяковскому, расстреляно будет одиннадцать: по тогдашним временам еще не самый худший процент...

Лилю несомненно ждала та же участь. Раньше об этом можно было говорить лишь на уровне версий, хотя и вполне достоверных. Теперь этому есть документальные подтверждения. В апреле 1937 года был арестован правдинский журналист Абрам Аграновский, от которого домогались признаний в подготовке покушения на Сталина — ни больше ни меньше... Аграновский обвинение отвергал. Чтобы его «уличить», к делу были приобщены показания более покладистых арестованных. Они составили такой список заговорщиков-террористов, который им продиктовали лубянские следователи. В него были включены, среди многих других, «комкор Виталий Примаков с женой Лилей Брик, писатели Алексей Толстой и Илья Эренбург». К этому протоколу была приложена «справка», подписанная следователем Дзерговским: «Примаков арестован, Брик, Толстой, Эренбург проверяются». Проверка эта для всех троих окончилась благополучно, — такое исключение из правил выпало на долю немногих

Имя Лили встречается в том же контексте и в делах других обреченных. Следователи Кулешов и Сериков, к примеру, пытали арестованного Исаака Бабеля, добиваясь от него признания в «связях» с уже расстрелянным «Примаковым и его женой Брик». В ответ от Бабеля выбили такое показание: «(Самоубийство Маяковского мы (sic!) объясняли как вывод поэта о невозможности работать в советских условиях».

В деле арестованного за «троцкизм и шпионаж» видного германского коммуниста-функционера Эрнста Отвальда, писателя и журналиста, друга Бертольта Брехта (он разделил трагическую судьбу тысяч западноевропейских коммунистов, искавших убежище в СССР), содержится его допрос о какой-то (мифической, разумеется) контрреволюционной организации «Фрейкор», якобы пропагандировавшей троцкизм и занимавшейся диверсионно-террористической деятельностью на территории Советского Союза. Перечисляя сам наиболее видных членов этой «организации», следователь, пользуясь «материалами, которыми

мы располагаем» (то есть инструкциями, полученными от начальства), требовал, чтобы Отвальд подробно рассказал о «связях с Примаковым и его женой Брик».

Допрос этот велся в июле 1941 года. Значит, по крайней мере пять лет (на самом деле, разумеется, больше) над Лилей висел отнюдь не картонный дамоклов меч.

С учетом реальной обстановки и условий, существовавших тогда в стране, с учетом документальных данных, содержащихся в архивных документах, можно с уверенностью сказать, что Лиля была обречена еще в 1936-м, может быть, в 1937 году. Но резолюция Сталина на ее письме служила охранной грамотой. Близкая подруга Лили Рита Райт, а вслед за ней историк Рой Медведев утверждают, опираясь на слухи, будто бы Сталин, просматривая очередной список подлежащих аресту, вычеркнул из него имя Лили Брик со словами: «Не будем трогать жену Маяковского».

Такие списки Сталин обычно просматривал в одиночестве, никак не комментируя свои пометки. Ни в каких объяснениях перед чекистскими лакеями и вообще перед кем бы то ни было, почему он казнит одного и милует другого, Сталин вообще не нуждался. Так что эта его реплика относится, скорее всего, к тем многочисленным легендам, которые создавались вокруг него в обстановке тотальной секретности и создания культа «советского божества», которое руководствуется некими высшими соображениями, не доступными простым смертным.

Но то, что сталинская резолюция 1935 года, где трижды упомянуто ее имя, оградила Лилю от самого худшего, в этом вряд ли приходится сомневаться. Она же автоматически спасла и Осипа: ему — с его прошлым — вообще ничего не светило, кроме слепящих лубянских прожекторов в камерах пыток.

Недалек от истины, сколь бы ни была она парадоксальной, один из биографов Маяковского, почему-то страстно его невзлюбивший (Юрий Карабчиевский): «Брики уцелели только благодаря его славе, он же сам уцелел только благодаря своей смерти». И действительно: легко представить себе, каким был бы конец Маяковского в 1937-м, не пусти он пулю в себя за семь лет до этого.

Физическое выживание вовсе не означало, что гроза прошла мимо, и уж тем более не означало, что высоты, на которые Лиля взлетела после сталинской резолюции, для нее сохранились. Совсем наоборот. Ее отставили от подготовки издания сочинений Маяковского, а освободившееся место поспешила за-нить Людмила, ставшая теперь главным экспертом но творчеству брата и заседавшая во всех комиссиях, которые занимались изданием

его книг или книг о нем.

С тех пор конфронтация двух женщин, боровшихся за право распоряжаться наследием Маяковского, станет все более и более острой, а силы, объединившиеся вокруг Людмилы, посвятят всю свою жизнь низвержению Лили. Попытки оттеснить ее от Маяковского, дискредитировать, представить злым гением и виновницей его смерти начались уже тогда. Сам Маяковский, его стихи и пьесы их нисколько не интересовали. Имя поэта служило средством для достижения совсем иных целей, которые они обнажат лишь через четверть века.

Остаться в одиночестве Лиля не могла. Осип часто уходил к Жене, жившей неподалеку (хотя и всегда возвращался на ночь), и если бы Катанян не переехал в Спасопесковский, она снова потянулась бы к бутылке. А возможно, и наложила бы на себя руки. Фактически отставленная от главного дела жизни, Лиля вспомнила о своей первой профессии и неожиданно обратилась к скульптуре. Хранящийся и поныне в музее Маяковского ее скульптурный портрет поэта, как и портреты других членов семьи, свидетельствовали о том, что к ней начали возвращаться и творческая активность, и стремление не поддаваться ударам судьбы.

А удары сыпались один за другим. В октябре 1938 года по инициативе давнего недруга Маяковского Александра Фадеева, любимца Сталина, возглавившего Союз писателей, была утверждена новая редколлегия собрания сочинений в Гослитиздате. Лили там, естественно, не оказалось — ее место, кроме вездесущей Людмилы, занял литературовед Виктор Перцов, которого сам поэт презирал, называл «навазелининным помощником присяжного поверенного».

Подвергшись на короткое время опале, директором Гослитиздата стал Соломон Лозовский, бывший глава Профинтерна, которому работавший с ним, а позже расстрелянный Иван Катанян имел неосторожность перечить. Так что у Лозовского было много резонов напомнить опальной семье, где теперь ее место. Он пренебрег резолюцией Сталина (уж, наверно, не без чьей-то санкции) и приостановил издание собрания сочинений Маяковского.

Несмотря на свою опалу, Лиля проявила строптивость, потребовав спасти готовые матрицы, уже предназначенные к уничтожению. Лозовский принял Лилю с холодной и жестокой учтивостью. «Лично против вас, — заверил он, — я ничего не имею. Мы можем даже издать ваши воспоминания, если, конечно, вы не предложите нам что-нибудь во французском вкусе». Бывший политэмигрант, проведший годы в Европе, Лозовский мог

сойти за знатока «французского вкуса», но что именно он имел в виду на этот раз, не было дано знать никому. Несомненным оставалось одно: «охранная грамота» пока еще распространялась на физическое выживание Лили, но отнюдь не на ее социальный статус и не на участие в литературной жизни. Да и физическое выживание тоже находилось под большущим вопросом.

В мае 1939 года в Ленинграде был арестован Всеволод Мейерхольд. Через три недели в их московской квартире в Брюсовском переулке неизвестные зверски убили его жену— актрису Зинаиду Райх, чьим первым мужем был поэт Сергей Есенин. Весть и мученической кончине знаменитой актрисы, которой, по широко распространенной, но оказавшейся ложной версии, убийцы выкололи глаза, немедленно облетела Москву. Получив это известие, Лиля — в первый и последний раз в своей жизни — потеряла сознание. Катаняну с трудом удалось привести ее в чувство. Стоит ли говорить, что настоящих убийц никогда не нашли, а следовательское досье, если таковое вообще существовало, исчезли из архива и не найдено до сих пор. Да и кто теперь его ищет?,.

Напуганные тем, что происходит в Советском Союзе, храня память о пережитом во время их летнего пребывания в 1936 году, Эльза и Арагон перестали навещать Москву, предпочитая остаться без кремлевского комфорта и без.сильных потрясений. Резко сократилась, а затем и вовсе прекратилась почтовая связь, особенно редкими стали письма из Москвы в Париж. Сестры почти ничего не знали друг о друге. Но все же дошло известие из Парижа о том, что Арагоны скрепили наконец свой союз официально в мэрии парижского первого района. Это произошло 28 февраля 1939 года, когда Лиля уже начала выходить из транса, но переживала острейший душевный кризис, все еще подавленная свалившейся на нее бедой.

Домашний праздник, однако, устроила не она, а Елена Юльевна, продолжавшая жить отдельно, чтобы никого не стеснять и не лишиться своей независимости. Для нее была снята комната в Хлебном переулке, в бывшей квартире Краснощекова. Еще одну комнату снимал молодой поэт Михаил Матусовский, тогда студент Литературного института. Благодаря тому что соседом оказался литератор, мы имеем теперь его, пусть и очень скупые, воспоминания о том торжестве.

Когда-то Елена Юльевна на дух не принимала ни самого Маяковского, ни его поэзию, считая его виновником горькой судьбы своих дочерей. Но сталинская резолюция и все то, что последовало за ней, в корне изменило ее взгляды. Теперь оказалось, что она Маяковского «всегда обожала», а поэтом он

был, само собой разумеется, лучшим из лучших. Старшая дочь (опять-таки оказалось) знала, кого любить, а теперь вот и младшая — тоже не промах...

По случаю свадьбы Эльзы «с замечательным французским поэтом» Елена Юльевна накупила провизии, испекла торт и позвала на торжество Лилю, которая тоже приехала «со всякой всячиной» — отмечать радостное событие. Юный соседский поэт, пока лишь подававший надежды, был допущен к столу, но подробности в его памяти не сохранились — осталась лишь Лиля. «Если бы я писал портрет этой женщины, — вспоминал Матусовский, — прежде всего надо было изобразить глаза — огромные, внимательные, ободряющие, насмешливые, умные. Сколько бы я ни подыскивал прилагательных, все равно не смог бы передать всю их выразительность и переменчивость».

Как видим, внешне ничего не изменилось — и глаза остались теми же, и манера держаться, и чувство своей значительности, которому не могли помешать никакие невзгоды. Она делала свое дело в тех пределах, которые остались доступными для нее. Архив Маяковского все еще принадлежал ей. Разбирая его, она нашла неопубликованные стихи, послали их Эльзе. Тогда еще это почему-то не возбранялось — несколько лет спустя за самовольную «передачу» па Запад любых произведений и рукописей уже клеили статью Уголовного кодекса со всеми последствиями, которые из этого вытекали.

Вероника Полонская играла уже в другом театре и была женой другого человека. Ее отношения с Лилей — не очень близкие, но достаточно ровные — остались такими же, и она охотно откликнулась на просьбу Лили написать свои воспоминания о Маяковском по еще не совсем остывшим следам. Нора сделала это и отдала написанное на прочтение Лиле: » ее праве быть первым редактором и первым цензором всего, что пишется о Маяковском, Полонская не сомневалась.

Воспоминания Лиля одобрила, сделала лишь несколько небольших замечаний, а на полях тех страниц, где идет рассказ о последних минутах Маяковского, отметила, что устно Нора рассказывала ей об этом несколько иначе. Как именно? Об этом в пометках не сказано ничего. Нора же утверждала впоследствии, что расхождений между устным рассказом и ее письменным текстом нет никаких. Во всяком случае, благодаря Лиле мы имеем теперь ценное мемуарное свидетельство.

Воспоминания Полонской пролежали в заточении тридцать пять лет, прежде чем интервьюировавший ее журналист Семей Черток, эмигрировав в Израиль, не опубликовал их фрагменты на Западе.

Наконец, прошло почти двадцать лет, прежде чем полная версия воспоминаний Вероники Полонской была издана в России.

У Осипа, который еще совсем недавно был завален работой, становились ее все меньше. Он печатал статьи о Маяковском — главным образом в провинциальных газетах, — сделал инсценировку одной повести для детского театра, написал для Льва Кулешова — и то в соавторстве — сценарии двух (увы, вполне посредственных) фильмов. Не будь «своего» Кулешова, не было бы, наверно, даже и этого. В деньгах семья не нуждалась: издания стихов Маяковского вполне обеспечивали ей ту самую «сносную жизнь», о которой просил поэт в предсмертном письме. Но зарабатывать лишь от случая к случаю — это было для Осипа весьма нелегко. Единственно «твердый», хотя и крохотный, заработок давал студенческий литературный кружок, который он вел... в юридическом институте.

Февраль 1963 года. Москва. Запись рассказа поэта Бориса Слуцкого. (Я только что переехал в новую квартиру, оказавшись его соседом. Мы уже не один год были знакомы, встречаясь изредка в разных компаниях. Узнав о моем переезде, Борис пришел без спроса, по-дружески — не званым, но очень желанным — и провел со мной целый день.)

«Странно так получилось— в юридическом институте стали учиться и те, кому юриспруденция была как кость в горле. Возможно, потому, что была она сталинской, а другую мы знали только по книгам, да и то по лживым — их называли учебниками истории права. Ты тоже, наверно, учился по ним. Я ходил на лекции, но лектора не слушал, а писал стихи. Другие тоже что-то писали — кто стихи, кто прозу. И тогда мы задумали создать литературный кружок. Это поощрялось. Заводилой был Костя Симис <будущий известный адвокат и правозащитник> не помню, баловался ли он тоже стихами, но литературу любил, и вообще в кружке было интересно, не то что на лекциях.

Как-то так получилось, что вести кружок вызвался Осип Максимович Брик. Кто-то его нашел. И он нам сразу сказал: «История повторяется. Я тоже учился на юриста, а стал литератором. Давайте попробуем, может, и у вас получится так». Кроме меня из его кружковцев профессиональным литератором стал еще Владимир Дудинцев.

<...> Зимой сорокового, вероятней всего в январе, я хорошо это помню, потому что зима была ужасно суровой, Брик как-то позвал меня к себе. И с того времени я стал там бывать регулярно, и литературный кружок в более узком составе переместился с улицы Герцена в Спасопесковский переулок, в

квартиру Бриков.

Надо было только раз увидеть Лилю Юрьевну, чтобы туда тянуло уже, как магнитом. У нее поразительная способность превращать любой факт в литературу, а любую вещь в искусство. И еще одна поразительная способность: заставить тебя поверить я свои силы. Если она почувствовала, что в тебе есть хоть крохотная, еще никому не заметная, искра Божья, то сразу возьмется ее раздувать и тебя убедит в том, что ты еще даровитей, чем на самом деле. Лиля сказала мне: «Боря, вы поэт. Теперь дело за небольшим: вы должны работать, как вол. Писать и писать. И забыть про все остальное». И я ей поверил. Только ей — и Осипу Максимовичу, который уверил меня в том же. Кто бы и что бы потом мне ни говорил, я всегда помнил только Лилины слова: «Боря, вы поэт». Эти слова не столько вызывали гордость, сколько накладывали обязанность. Самый большой стыд — это если нечем было отчитаться перед Лилей при очередном ее посещении».

Много позже — и совсем другой женщине — Пастернак писал: «Смягчается времен суровость, / Теряют новизну слова. / Талант единственная новость, / Которая всегда нова». Суровость времени тогда еще не смягчилась, слова, звучавшие ежедневно со страниц газет и из радиорепродукторов, давно утратили новизну, но от этого становились еще страшнее. А талант действительно оставался талантом, как бы его ни топтали и в каких бы условиях он ни оказался. Собственно литературный дар Лили был достаточно скромным, но зато у нее был необыкновенный талант взращивать другие таланты. Оттесненная от активной работы, предоставленная самой себе, что органически противоречило ее характеру, ее сути, Лиля продолжала создавать вокруг себя ауру, к которой тянулись и те, кто остался ей верен (Асеев, Кирсанов, Кулешов, Жемчужный), и те, кто хотел получить от нее заряд для своей работы.

Именно тогда, в сороковом, создался возле нее крут совсем молодых поэтов, которые скорее интуитивно, чем по зрелом размышлении ощутили потребность в ее поддержке и доверились ее безупречному вкусу. Она давала нм то, что не могла дать никакая советская казенщина, никакие утвержденные и отделах кадров наставники и учителя: истинно литературную среду, творческую атмосферу, умение радоваться чужому успеху и относиться к нему как к своему. Она тоже сразу же почувствовала в этом «младом и незнакомом племени» зародыш новой русской поэзии, той, за которой будущее. Не ее вина, что советская действительность искорежила и эти судьбы.

Чаще всего приходили к Лиле читать свои стихи, говорить о

литературе, внимать ее советам совсем молодые Борис Слуцкий, Михаил Львовский, Павел Коган, Михаил Кульчицкий. Рядом с ними она сама молодела и забывала о крахе надежд, порожденных «романтикой революции».

Еще один молодой поэт, пришедший в 1940 году к Брикам и Катаняну, напомнил Лиле поэтического бунтаря и новатора Велемира Хлебникова и вызвал у нее особый энтузиазм. Это был Николай Глазков, чей талант Лиля разгадала моментально. Ей особенно нравилось, что, с величайшим пиететом внимая ее советам и замечаниям, Глазков не только не следовал им безоговорочно, но отстаивал то, что считал правильным, и писал так, как хотел, а не как ему рекомендовали. В этой независимости ей виделась та сила таланта, которая, вопреки всем влияниям, стремится к полной свободе самовыражения. Чем больше тяготел тот или иной поэт к политической риторике, к газетному примитиву, к сервильности и конформизму, тем меньше его тянуло к Лиле или, точнее, тем больше отталкивало от нее. И напротив, чем самобытнее, искреннее, тоньше он был, тем сильнее его влекло туда, в Спасопесковский, где все дышало поэзией, где поэзию понимали и чтили.

14 апреля 1940 года отмечалось десятилетие со дня гибели Маяковского: тогда еще Кремль не отменил странную практику праздновать даты ухода из этого мира вместо дат прихода в него. Заправлял этими, весьма двусмысленно выглядевшими, торжествами Александр Фадеев, превратившийся теперь из оппонента Маяковского в его страстного почитателя. Он не только составлял юбилейную программу, но и распределял места для приглашенных гостей.

Пять лет назад Лиля сидела в президиуме на сцене Колонного зала. Теперь для торжеств был выделен Большой театр, и по поручению Фадеева Лиле доставили пригласительный билет в ложу второго яруса. На том же ярусе, то есть фактически на галерке, но в разных ложах, достались места и Осипу с Катаняном. В этом примитивном и грубом унижении был заложен какой-то смысл: членам одной семьи и ближайшим к Маяковскому людям не позволили сидеть рядом друг с другом, как будто они могли, сговорившись, устроить в театре какую-нибудь провокацию. Это словечко по-прежнему было в ходу, никто точно не знал, что оно означает, но некой пакости — непременно «контрреволюционной» — ждали от всех. Зато Людмила, Ольга и мать пребывали на самых почетных местах и чувствовали себя героями вечера, словно только в их честь и собрался в Большой политический и литературный бомонд.

Сталин демонстрировал свои причуды. Отказав в

покровительстве Лиле, забыв про свое «Брик права», не считая больше нужным вмешиваться в шедшую полным ходом канонизацию Маяковского, превращенного из живого поэта в бронзовый монумент,

Сталин решил вдруг проявить благоволение к Анне Ахматовой, матери политзаключенного (Лев Гумилев), жене одного расстрелянного (Николай Гумилев) и одного арестованного (Николай Пунин) «врагов народа».

Он повелел издать — после огромного перерыва — сборник ее избранных стихов, вероятно, с расчетом на то, что в благодарность за высокое покровительство (и от безысходности, стремясь вымолить милость к сыну) она сочинит оду в его честь. Встречи двух женщин — одной, впавшей в опалу, и другой, временно из нее извлеченной, — проходили в Москве, когда Ахматова приезжала туда из Ленинграда. Как рассказывает Василий Катанян-младший, есть запись в Лилином блокноте о том, что Ахматова навестила ее к обеду 6 июня 1941 года.

О чем могли говорить эти женщины, на долю которых выпала такая судьба? Ахматова была к ней готова. После гибели Гумилева в 1921 году (в его аресте и расстреле, как вы помните, решающую роль сыграл Агранов) ничего другого от советской власти она не ждала. «Все расхищено, предано, продано...» — ее стихи с точной датировкой: 1921 год. А Лиля, напротив, и ждала, и получала совершенно иное. Теперь они оказались на равных.

Елена Юльевна покинула Москву, где чувствовала себя неуютно, и отправилась туда, где ей были рады. На Северном Кавказе, в заштатном городке Армавире, поселилась ее сестра Ида (стало быть, тетя Лили и Эльзы) вместе со своим мужем Кибой Данцигом. Никакого престижного по советским понятиям социального статуса у этой четы не было, зато они обеспечили Елене Юльевне домашнюю среду и необходимый уход. Рядом был санаторий, где она лечила больное сердце. Отъезд матери освободил Лилю от забот о стремительно старевшей женщине, требовавшей постоянного медицинского наблюдения. Ограниченные возможности делали эту задачу трудноразрешимой.

Не только мать — все они теперь, после пережитого, нуждались в лечении. Осип с Женей 16 июня 1941 года отправились в Сочи и радостно сообщили Лиле о том, как славно доехали и как хорошо устроились. Через несколько дней радость померкла: началась война. 26 июня они уже добрались до Москвы.

Мобилизации — по возрасту — Осип, разумеется, не подлежал, но сразу же предложил свои услуги пропагандистским

и сатирическим «Окнам ТАСС», заменившим собою те самые «Окна РОСТа», где некогда «служил революции» Владимир Маяковский. Работа эта длилась меньше месяца. 25 июля, сразу же после первой бомбежки Москвы (22 июля), Лиля с Катаняном (он тоже не подлежал мобилизации по зрению) и Осип с Женей эвакуировались на Урал, в город Молотов, которому ныне возвращено его старое имя Пермь.

Они поселились в ближнем пригороде Перми (поселок Курья): одна пара в одной избе, другая — в соседней, Совсем неподалеку, в своем доме на берегу Камы, жил их давний приятель, очень близкий молодому Маяковскому человек, один из первых футуристов (и к тому же один из первых русских пилотов), поэт Василий Каменский. Вряд ли у Бриков было в этой глуши много знакомых, но общаться с Каменским не захотели даже и в этом «безлюдье», ни разу не навестили его, жившего в одиноче-с гве и с ампутированными ногами. Сам он о себе им вести не подал. Потому, вероятно, что при расколе наследников на два враждующих лагеря предпочел не Лилю, а Людмилу и Ольгу.

Брики и тут не теряли время даром. Осип писал статьи для местных газет, завершил и издал там же, в городе Молотове, историческую трагедию «Иван Грозный», Лиля— свои воспоминания: брошюрку с ее рассказами о Маяковском тоже вы пустило областное издательство. Эти воспоминания, практически не доступные для сколько-нибудь широкого читателя, были позже воспроизведены лишь в русских изданиях за рубежом (в Стокгольме и Риме). То, что могло позволить себе тыловое областное издательство в годы войны, ни одно столичное не посмело.

Жалкий и суровый беженский быт напоминал то, что было пережито двадцатью годами раньше, но тогда помогала не только молодость, но и огромный душевный подъем. На уныние, однако, Лиля ни в каких условиях не была способна. При первой же возможности, когда немцев отогнали от Москвы, Лиля, преодолев различные административные сложности, добилась разрешения вернуться домой еще осенью 1942 года— намного раньше, чем это смогли сделать другие беженцы.

Здесь с огромным опозданием до нее дошла весть о том, что еще 12 февраля 1942 года от порока сердца умерла в Армавире Елена Юльевна. Даже после начала войны ее сумели устроить в санатории, потом, в уже совершенно безнадежном состоянии, положили в больницу, где она и скончалась на руках у своей сестры. Через полгода Армавир заняли немцы. Ида и ее муж Киба Данциг попали в облаву на евреев и оба были убиты, Эльза о

смерти матери ничего, разумеется, не знала: никакие письма из России в «свободную французскую зону», где она жила во время войны, не доходили. Лиля их и не посылала. Куда бы она могла их послать?

В Москве было голодно и холодно, но к этим превратностям быта Лиле было не привыкать. Кое-как восстановилась разоренная квартира в Спасопесковском. Вставили разбитые стекла. Раздобыли — как в те далекие времена гражданской войны— печку-«буржуйку». Какое-никакое, а тепло все-таки было. Союз писателей раздобыл для своих членов, оставшихся в Москве или вернувшихся в нее, кусочек земли возле Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которая впоследствии была преобразована в так называемую «выставку достижений народного хозяйства». Лиля с Бриком ездили туда осваивать огород: в доме появились своя картошка, своя зелень.

Постепенно Лиля начала входить в ту жизнь, от которой была оторвана. Да и жизни, собственно, — той, довоенной — уже не было, она стала восстанавливаться по мере того, как фронт все дальше отходил на запад. В 1943 году Лиля дома — без всякой парадной помпы — отметила пятидесятилетие Маяковского. Вечером начинался комендантский час, поэтому празднество было устроено днем. Гости приходили со своей провизией, а достать выпивку почти никто не сумел. Традиционный крюшон был приготовлен хозяйкой дома— он напоминал былые дни. Для военной Москвы гостей набралось порядком — Маяковский был бы доволен таким юбилеем.

Еще до войны Лиля познакомилась с молодым I журналистом и дипломатом Константином Уманским, который был назначен послом в Соединенные Штаты. Она просила его разыскать там Элли Джонс н дочь Маяковского и помочь ей установить с ними снизь. Из этого ничего не вышло. Теперь, в 1943-м, Уманский отправлялся послом в Мексику, и Лиля повторила свою просьбу: все же Нью-Йорк ближе к Мехико, чем к Москве. Но Уманский вскоре погиб в авиационной катастрофе, направляясь в Коста-Рику для вручения верительных грамот (по совместительству он был послом еще и в этой центральноамериканской стране).

Там же, в Америке, жила теперь Татьяна Яковлева, потерявшая мужа (военный самолет, на котором он летел, погиб в воздушном бою) и спасавшаяся от нацистов за океаном. Но ничего этого Лиля в ту пору не знала. Да и вряд ли ей хотелось (тогда, не йогом!) разыскивать Татьяну. Может быть, все еще думала, что этот эпизод из жизни Маяковского забыт теми, кто о нем знал, и не подлежит реанимации? Кто бы мог ей тогда сообщить, что сокращенный вариант «Письма Татьяне

Яковлевой», но с упоминанием полного имени адресата опубликован в 1942 году в Соединенных Штатах — в русском литературном журнале «Новоселье», который стала издавать бежавшая из Франции от оккупантов поэтесса Софья Прегель?

Большой радостью было получить известие от Николая Глазкова, который был освобожден от службы в армии по болезни и устроился работать учителем сельской школы в Горьковской области Куда трагичнее оказалась судьба двух его друзей, тоже завсегдатаев предвоенного Лилиного «салона»: Павла Когана и Михаила Кульчицкого. Оба поэта, на которых Лиля возлагала большие надежды, погибли на фронте. «Да здравствует Лиля Юрьевна!» — писал Глазков в одном из писем, посылая свою поэму «Поэтоград» с посвящением «Лиле Брик». Потом стихов с таким же посвящением будет еще множество. Его невероятно тянуло в Москву, в литературную атмосферу, к людям, которые его понимали и ценили.

Это никак не мешало ему, как и в довоенные годы, оставаться самим собой и даже полемизировать в стихах с Осипом Бриком. Тот снова начал писать стихотворные подписи к сатирическим «Окнам ТАСС». Глазков откликнулся на это такой эпиграммой: «Мне говорят, что «Окна ТАСС» / Моих стихов полезнее. / Полезен также унитаз, / Но это не поэзия». Брики умели ценить и стихи, и острые шутки, едкая эпиграмма Глазкова ничуть их не задела.

Напротив! Понимая, как тяжело молодому поэту в деревенской глуши, где, как он гам писал Лиле, «почитать стихов некому», она нажала на все доступные ей педали, чтобы вернуть Гладкова в Москву. Свободного проезда в столицу все еще не было, но Лиля и Катанян сумели раздобыть для Глазкова пропуск. Это было не просто возвращение в город из Богом забытой деревни — это было для Глазкова спасением. Он не забывал об этом никогда.

Среди новых знакомых Лили в 1943 году оказался и французский поэт Жан-Ришар Блок, спасавшийся здесь от нацистов. Они часто встречались— им было что вспомнить, у них нашлось много общих парижских друзей.

В ноябре 1944 года Блок возвращался в освобожденную от оккупантов Францию, и Лиля отправила с ним письмо Эльзе, извещая ее о смерти матери. «Никогда не думала, — писала она, — что это причинит мне такую боль». Все-таки странно, что никогда не думала... Мало людей, которые заранее, без боли в сердце, смиряются с потерей самого близкого человека. Стало быть, «самым близким» мать не была. И лишь ее потеряв, Лиля вдруг почувствовала образовавшуюся пустоту и невосполнимость

утраты.

В конце января 1945 года, через два месяца после того, как оно было написано, Блок передал Эльзе это письмо вместе с книжечкой Лилиных воспоминаний, изданных ею в эвакуации. Ответное письмо Эльзы пошло обычной почтой. «Маму жалко. <…> Без мамы стало скучно жить» — такой была ее реакция на информацию о смерти Елены Юльевны. В конце концов, каждый выражает свои чувства так, как умеет и как находит нужным.

Куда более подробным был рассказ Эльзы о том, как она и Арагон пережили эти годы. «…Нас сцапали немцы и посадили. Но они нас не признали и продержали всего десять дней, для острастки. <…> Гестапо было у нас несколько раз с обысками, приходила также французская полиция, но они только все перерыли, но ничего не унесли». Редчайшая, почти неправдоподобная удача! Но мало ли каких чудес не бывает в безумные времена… Зато теперь всп поменялось. «Хотя в Париже сейчас и не весело, — сообщала Эльза, — мне море по колено».

Это полное оптимизма, если не счастья, письмо было еще в пути, когда Лилю постиг тягчайший удар. 22 февраля 1945 года на лестнице дома в Спасопесковском переулке, возвращаясь домой после работы, внезапно скончался Осип. Квартира была на пятом этаже, без лифта, — больное сердце не выдержало этой ежедневной нагрузки. Он рухнул на втором, и Жене с Катаняном пришлось волочить его по ступеням на пятый. Доволокли они уже бездыханное тело.

Потрясенная Лиля не ела несколько дней — только пила кофе. Проститься с Осипом пришло огромное количество друзей. По воспоминаниям Луэллы Краснощековой, случайно оказавшейся в Москве по служебным делам (она жила тогда в Ленинграде), «многие плакали, все курили и на столе стояли полные пепельницы окурков <…>».

Краткое, почти незаметное, сообщение о смерти Брика появилось только в «Литературной газете». В публикации некролога где бы то ни было партийное начальство отказало. Каким-то образом некролог удалось все-таки напечатать в многотиражной газете «Тассовец». Этот информационный листок выпускался исключительно для внутреннего пользования сотрудниками агентства, где Осип работал до эвакуации и после возвращения из нее. Газета была не доступна никому, кроме сотрудников, а экземпляр, где некролог опубликован, не сохранился не только в национальной библиотеке страны (бывшей «Ленинке»), но и в архиве самого ТАСС. Его сберегла, однако, Лиля, а опубликовал более полувека спустя биограф Брика Анатолий Вылюженич.

Некролог примечателен не только высокой оценкой таланта Осипа и его роли в развитии литературы и культуры за тридцать лет, но и уникальным составом тех, кто его подписал. Вряд ли какое-нибудь иное событие могло объединить тогда под одним документом это блестящее созвездие деятелей искусства. Среди девяноста человек, его подписавших, не только ближайшие друзья Осипа (Асеев, Кирсанов, Шкловский, Катанян, Пудовкин, Кулешов, Крученых, Рита Райт…), но и Борис Пастернак, Сергей Эйзенштейн, Илья Эренбург, Яков Протазанов, Борис Барнет, Самуил Маршак, Соломон Михоэлс, Сергей Юткевич, Ираклий Андроников, Михаил Светлов, Александр Тышлер, Натан Альтман, Николай Харджиев. И даже руководители Союза писателей Александр Фадеев и Николай Тихонов. «Официальные» писатели Всеволод Вишневский, Николай Погодин, Сергей Михалков, Василий Лебедев-Кумач, Демьян Бедный. Артисты Эраст Гарин, Владимир Яхонтов, Рина Зеленая. Литературоведы Борис Томашевский, Григорий Винокур, Петр Богатырев, Евгений Тагер, Леонид Тимофеев. Впрочем, ни одного незнакомого имени в этом поразительном списке нет вообще.

Откликнулся стихами на смерть Осипа, так верившего в его поэтическое будущее, Николай Глазков: «Даже у тех, кто рыдать не привык, / Слезы лились из глаз. / Умер Осип Максимович Брик, / Самый умный из нас». Скорбели его ученики — он только что начал вести семинар в Литературном институте. Среди тех, кого он первым заметил, был прославившийся в будущем Юрий Трифонов: его дарование расцвело лишь в шестидесятые — семидесятые годы.

Лиля долго не могла прийти в себя. Позже она говорила: «Когда умер Володя, когда умер Примаков, — это умерли они, а когда умер Ося. — умерла я». Остались так и не написанными мемуары Осипа о Маяковском. Он готовился начать работу над ними, и это стало бы, несомненно, очень большим вкладом в «маяковиану». Не стало…

В сентябре, впервые после девятилетнего перерыва, Арагоны приехали в Москву. Теперь они оба считались героями французского Сопротивления (Эльза, кроме того, не «всего лишь» писательской женой, а лауреатом Гонкуровской премии). Лиля же пусть и не первой дамой, но знаменитостью, устоявшей в годы жестоких «чисток» и медленно возвращавшей себе относительно стабильное место в советском истеблишменте. Сталин был жив, его отношение к «жене Маяковского» оставалось в силе, хотя о возврате к эйфории начала 1936 года не могло быть и речи. В тридцатом Эльза и Арагон приезжали утешать Лилю после гибели Маяковского — это им удалось без труда.

Сейчас ситуация была в корне иной: горе ее оказалось безутешным, Осипа ей не мог заменить никто. Долгожданное свидание не принесло удовлетворения никому. Уже 14 октября Арагоны через Прагу вернулись в Париж. Однако переписка между сестрами возобновилась с прежней, казалось бы, неповторимой интенсивностью.

Все, у кого были родственники и друзья за границей, старались тогда это скрыть или хотя бы подчеркнуть полный разрыв прежних отношений и связей. Для Лили в этом не было никакой нужды: с учетом положения, которое Арагон занял во французской компартии, родственная связь этой знатной четы с Лилей могла быть поставлена ей только в плюс. И ЦК, к Союз писателей видели здесь возможность и потенциального влияния на «крупного французского писателя и общественного деятеля», и сближения с ним (да и со многими другими «прогрессивными» кругами, к которым он примыкал) по «неформальным» каналам.

Надежды эти были отнюдь не призрачными. И в 1946-м, когда кремлевский гнев обрушился на Анну Ахматову и Михаила Зощенко, и в 1948 году, когда по указанию Сталина его правая рука Андрей Жданов издевался над Сергеем Эйзенштейном и Дмитрием Шостаковичем, Всеволодом Пудовкиным и Сергеем Прокофьевым, глумился над генетиками и восхвалял невежественного шарлатана, «народного академика» Трофима Лысенко, когда вся советская пресса истерически клеймила «низкопоклонство перед Западом», — Арагон был страстным пропагандистом этой кампании, полагая, что исполняет свой «партийный -долг».

Он был слишком умным и тонким человеком, чтобы без чьей-либо подсказки, тем более без подсказки товарища Жданова, разобраться в музыке Шостаковича и фильмах Эйзенштейна, отличить жалкую мазню представителей «социалистического реализма» от творчества подлинных художников. Но он был дисциплинированным членом «совершенно независимой и свободной» французской компартии и поступал так, как положено: ведь свобода, по марксистско-ленинской доктрине, — это осознанная необходимость.

К тому же рядом была Эльза, а у Эльзы в Москве жила сестра Лиля. Поэтому свое понимание искусства он мог оставить лишь для себя самого и для узкого семейного круга, а публично выражать лишь то, что приказано. Дисциплинированный член партии не должен был сам разбираться в музыке Шостаковича, в фильмах Эйзенштейна и в творчестве «всяких там Сезаннов и Матиссов»: товарищ Жданов уже сделал это и за него, и за многих других.

В Москве оценили дисциплинированность Арагона и Эльзы— положение Лили несомненно упрочилось. Это стало особенно очевидным после очередного приезда Арагонов в Москву, когда на них возлагалась отнюдь не иллюзорная надежда участвовать в созыве международного конгресса писателей (определенного, разумеется, направления) и в создании движения «сторонников мира».

Александр Фадеев — «вождь советской литературы», лукавый царедворец, который ничего никогда не делал без особого расчета, — еще с 1945 года начал восстанавливать свои отношения с Лилей, сопроводив подаренный ей экземпляр своего романа «Молодая гвардия» такой льстивой надписью: «Милой Лиле на память — добрую, добрую, — если возможно». Это «если возможно» является свидетельством его хорошей памяти: и он не забыл, а уж Лиля тем более, какую роль этот яростный рапповец играл в борьбе с Маяковским в последние годы его жизни.

Теперь он заигрывал с Арагоном, на которого в Кремле возлагали большие надежды: конец сороковых — не середина тридцатых. Была опасность, что сталинских апологетов в среде западной интеллигенции может и поубавиться, даже после того, как войска генералиссимуса вошли в низвергнутый Берлин. Важную роль в этой целенаправленной акции стал играть сталинский любимец Константин Симонов, поэт, прозаик и драматург, фронтовой журналист и автор стихов, которые знал тогда наизусть едва ли не каждый солдат: «Жди меня, и я вернусь, / Только очень жди». Но Сталин любил его за другие стихи: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? / Мы это чувствуем, мы это знаем, / Не мать, не сына — в этот трудный час / Тебя мы самым первым вспоминаем».

После войны Симонов вошел в руководство Союза писателей и обрел большую силу. В отличие от Фадеева и других своих коллег по писательской директории он был действительно талантливым литератором, живым, эмоциональным, не задушенным еще окончательно атмосферой парткабинетов. Часто бывая во Франции, он неизменно встречался с Арагонами, умело обрабатывал их в нужном Кремлю направлении и охотно подхватил идею Эльзы создать фильм о «советско-французском братстве» во время войны. Так началась работа над фильмом «Нормандия-Неман», где в авторском коллективе объединились Эльза Триоле, Константин Симонов и Шарль Спаак.

Благодаря этой работе Эльза стала чаще бывать в Москве. Кроме того, почти ни один визит в Москву французских писателей, художников, кинематографистов, музыкантов, актеров из среды левой интеллигенции (другие просто не ездили) не

обходился без посещения Лили. Все они получали рекомендательные письма от Эльзы и Арагона, и всех Лиля с удовольствием привечала. Советские власти нисколько не мешали этим контактам: они входили в программу фасадного «демократизма» системы. А соответствующие службы извлекали из этих дружеских встреч еще и особую выгоду: вряд ли есть сомнение в том, что гостеприимный дом Лили и Катаняна был оснащен соответствующей аппаратурой — самой лучшей, какой эти службы тогда располагали.

В Париже Арагоны не могли пользоваться «закрытыми распределителями», хотя бы из-за отсутствия таковых, поэтому делили со всеми французами тяготы послевоенной жизни. Лиля отправляла им продукты в обычных почтовых посылках: крупу, сахар, консервы, кофе, чай. Советские власти это не запрещали, возможно, даже поощряли в пропагандистских целях: слыханное ли дело — не Париж кормит Москву, а совсем наоборот! Кое-что из продуктов (главным образом шоколад), как свидетельствует Василий Васильевич Катанян, воровали французские таможенники. Зато ответные посылки с одеждой, которые Эльза отправляла ей из Парижа, доходили в сохранности. Жизнь налаживалась, а сотрясавшие мир ветры «холодной войны» обходили Лилю и ее гостеприимный дом стороной: участие в бурях своего века осталось для нее в далеком прошлом.

ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ

Лилю снова, как в былые времена, окружали люди, близкие ее душе, — талантливые и знаменитые. И те, кому еще предстоит стать знаменитым. Она ничуть не утратила бесценного дара отличать талант от подделки — ни один ее прогноз касательно судьбы едва давшего знать о себе дарования не оказался ошибочным. Актриса Адель Судакевич, жена Асафа Мессерера, пригласила Лилю «взглянуть» на его племянницу — Майю Плисецкую, только что дебютировавшую на сцене Большого в глазуновской «Раймонде».

На этот раз Майя выступала в скромном танце Девы — вставном номере из оперы «Руслан и Людмила». Лиля безошибочно угадала в ней великую балерину. Она пригласила ее к себе на встречу Нового года — с тех пор Майя стала завсегдатаем дома.

Менялись времена, менялись люди, собиравшиеся за тем же столом, но одно осталось неизменным: это всегда были те, кто отмечен печатью таланта. Подлинного, а не утвержденного идеологами в ЦК. Встреча на черноморском курорте Мацеста, где Майя долечивала свою травму, полученную во время спектакля «Шопениана», а Лиля принимала сероводородные ванны для повышения жизненного тонуса, еще больше укрепили их дружбу.

Радость встречи с новыми людьми и восхищение их талантом омрачались той обстановкой, которая снова воцарилась в стране. Снова — поскольку в годы войны и сразу после ее завершения появилась почему-то надежда на конец эпохи террора. Население доказало свою верность режиму, страна понесла неисчислимые потери, «прослойка» (так по сталинской терминологии называлась интеллигенция) ревностно служила идеям «советского патриотизма». За что же, казалось, теперь-то подвергать ее новым карам?

Но Сталин считал иначе. В дополнение к тому, что обрушилось на писателей и композиторов, художников и кинематографистов, философов и биологов, не говоря уже о военных, партийцах и госчиновниках, началась всеобъемлющая — массовая и публичная — кампания с гораздо большим замахом.

В январе 1949 года объектом гонений стали «безродные космополиты», то есть, попросту говоря, евреи, сначала объявленные «антипатриотами», а потом сионистами и агентами американского империализма. Статьи соответствующего содержания не сходили со страниц газет. Не надо было обладать даже тонким чутьем Лили, чтобы понять, в каком направлении

развиваются события и чего можно от них ждать.

Аресты пошли косяком — исчезали писатели, артисты, ученые еврейского происхождения, Еще годом раньше загадочно погиб в «автомобильной катастрофе» великий актер, режиссер и руководитель Еврейского театра Соломон Михоэлс. Уже тогда, не зная, естественно, никаких подробностей, все понимали, что он убит. Вскоре закрыли и сам театр. Разогнали Еврейский антифашистский комитет, столько сделавший во время войны для помощи фронту и спасения жертв гитлеровского геноцида, арестовали всех его сотрудников и добровольных помощников.

Лиля с ужасом, как и многие в ту пору, раскрывала очередной номер газеты, узнавала от друзей и знакомых о жертвах минувшей ночи. Могла ли она забыть о своем происхождении? Об отце, Урии Кагане, посвятившем всю свою жизнь адвоката борьбе за права гонимых евреев? О муже Осипе Брике? О друзьях еврейского происхождения, томившихся па Лубянке или уже встретивших там последний свой час? Тучи сгущались, но она оставалась верной себе.

Главный «маяковед» страны, утвержденный в этом качестве на самом верху, Виктор Перцов выпустил книгу «Маяковский. Жизнь и творчество», дав в ней официально насаждаемое, ставшее обязательным толкование стихов «лучшего и талантливейшего». Там же была изложена и новая, получившая одобрение идеологического аппарата ЦК трактовка отношений поэта с Бриками и с их сомнительным окружением.

Лиля, сознавая, что ее ответу суждено остаться в архиве до лучших времен, подготовила, однако, рукопись объемом в 350 страниц под условным названием «Анти-Перцов», где фактами и простейшей логикой опровергла его измышления. «Перцов, умоляю вас, — восклицала она в своих заметках, — <…> бросьте писать биографию Маяковского. Вам это не под силу».

При «определенном» повороте событий эта рукопись могла бы только послужить дополнительным подтверждением обоснованности любых обвинений против нее. Впрочем, ни в чем «дополнительном» обвинители тогда не нуждались, достаточно было сигнала сверху, и нашлись бы доказательства для чего угодно. Предстояло жить снова в атмосфере отчаяния и страха, пройти второй раз ужасы 1937 года. Такой была реальность, как бы трудно ни было с этим смириться.

В ту пору одним из наиболее близких ее собеседников стал Константин Симонов. Он был заместителем Фадеева, играл большую роль в различных международных мероприятиях, особенно в рамках созданного Сталиным Движения в защиту мира. На эту, очень ловко придуманную Сталиным,

демагогическую пропагандистскую акцию откликнулось много весьма достойных и весьма известных в мире людей. Симонов часто бывал в Париже, служа как бы мостом между нею и Арагонами. От дружбы с Лилей он выигрывал куда больше, чем она от дружбы с ним. Но Лиля великолепно разбиралась в людях — и в Симонове не ошиблась тоже.

Она понимала, что Симонов партийно-литературный функционер, для которого «приказ партии» превыше всего остального. Но она видела и ту раздвоенность, в которой он, человек, несомненно, порядочный и честный, тогда находился. Видела, насколько его вкусы, пристрастия, его личное восприятие оболганного и оплеванного искусства отличаются от того, что он обязан произносить вслух. В конечном счете он — не уровнем таланта, а стилем поведения — очень напоминал ей Арагона. Тот тоже говорил все время не то, что думал, убеждая себя и других в какой-то высшей правоте такого двуличия. С Симоновым Лиля была откровенна «сверх меры», поверив в него и доверившись ему. Он ни разу не обманул ее ожиданий. Тоже разбирался в людях и тоже понимал, с какой личностью его столкнула судьба.

В августе 1952 года после тайного судилища, длившегося более двух месяцев, были казнены руководители Еврейского антифашистского комитета — писатели, артисты и журналисты. Первым в списке обвиняемых и казненных оказался тот самый Соломон Лозовский, который тринадцатью годами раньше имел «душевный» разговор с Лилей по поводу издания сочинений Маяковского.

Об этом злодеянии, которое в отличие от иных потайных судилищ проходило с мнимым соблюдением «процессуальных норм», не было никакого сообщения в печати. Более того, на все вопросы с Запада, куда делись хорошо известные там советские литераторы, писавшие на идише, положено было отвечать, что никуда они не делись, благополучно здравствуют и трудятся где-то в тиши над новыми произведениями.

Но секретом свершившееся не стало — о нем знала «вся Москва». И Лиля, само собой разумеется, узнала тоже, и Эльза с Арагоном в Париже уз-пали тоже. Отзвуком явилось письмо Эльзы Лиле от 26 октября 1952 года. Оно шло по почте, заведомо обреченное на перлюстрацию, и, однако же, Эльза назвала вещи своими словами: «Моя дорогая Лиличка, я отдаю себе отчет в том, что ты снова в опасности. Мое сердце замирает, как будто я падаю в пропасть».

В 1936 году, перепуганные тем, что начало твориться на их глазах в Советском Союзе, Арагоны бежали из Москвы, оставив Лилю наедине со своим горем и с ужасом наблюдая из своей

парижской дали за тем, что происходит в стране большевиков. Есть свидетельства, что Эльза больше всего опасалась, как бы встреча Арагона лицом к лицу с новыми советскими реалиями не помешала ему остаться активистом французской компартии и «верным другом» Советского Союза. Поэтому и убедила его в том, что лучше бы воздержаться от поездок в Москву, пока там «не разберутся» со своими проблемами.

Так или иначе, отсутствие Арагонов в советской столице длилось девять лет. Но теперь положение Арагона — не только в недрах французской компартии, но и в глазах Кремля — существенно изменилось. Он стал важной фигурой в крупной политической игре, за свою личную безопасность в Советском Союзе опасаться уже не приходилось, да и Эльза тоже начала на многое смотреть другими глазами.

Оказавшись по делам Всемирного Совета Мира в Вене, Арагоны решили оттуда отправиться прямо в Москву, чтобы не оставить Лилю в рождественские и новогодние праздники без моральной поддержки. Эта идея пришлась как никогда кстати кремлевским хозяевам. Товарищ Сталин, снимая с себя всякую ответственность за кампанию антисемитизма и, напротив, доказывая, что обвинение его в этом есть очередная клеветническая акция агентов империализма и сионизма, увенчал высшей наградой своего имени— Международной Сталинской премией мира— известного борца с антисемитизмом Илью Эренбурга. Предстояло торжественное чествование лауреата, и присутствие на нем «выдающегося Французского писателя и общественного деятеля» Луи Арагона было, как никогда, кстати.

13 января 1953 года «Правда» сообщила об аресте «врачей-убийц» и предстоящем суде над «заговорщиками в белых халатах». Это был предпоследний акт задуманной Сталиным кошмарной мистерии.

Последним должно было стать линчевание «убийц» и депортация всех евреев в Сибирь, где им предстояло «искупать свою вину» перед советским народом.

Шок был настолько сильным, что Лиля снова, как м 1937-м, решила искать спасение в алкоголе. Теперь уже из запоя ее не могли вывести ни Катанян, ни Эльза, ни Арагон. Когда массовая истерия достигла своего апогея, в Кремле состоялось вручение премии Илье Эренбургу. Его огромный портрет был опубликован во всех газетах. На церемонию вручения собрались «знатные люди» по специальному списку. Арагон мог бы, наверно, получить билет и для Лили, но состояние, в котором она находилась, исключало возможность ее появления на людях.

Приветственную речь в честь лауреата держал Арагон,

взявший на себя смелость говорить «от имени французского народа». О лауреате он практически не сказал ничего. Зато о том, кто выдал ему эту премию, говорил долго и страстно, с пафосом, который затмил пафос самого Эренбурга. Вот что сказал Арагон: «Эта премия носит имя человека, с которым народы всей земли связывают надежду на торжество дела мира; человека, каждое слово которого звучит на весь свет; человека, к которому взывают матери во имя жизни своих детей, во имя их будущего; человека, который привел советский народ к социализму. <…> Эта награда носит имя величайшего философа всех времен. Того, кто воспитывает человека и преобразует природу; того, кто провозгласил человека величайшей ценностью на земле; того, чье имя является самым прекрасным, самым близким и самым удивительным во всех странах для людей, борющихся за свое человеческое достоинство, — имя товарища Сталина».

Вечером, сославшись на сильную головную боль и отказавшись от ужина с Эренбургом, Арагон вместе с Эльзой приехал к Лиле. Она была в полном трансе, но запомнила его слова: «Теперь тебе ничего не грозит. Тебя никто не тронет».

Декабрь 1976 года. Москва. Запись разговора за рождественским столом у Лили Брик.

«Арагон множество раз приходил нам на помощь. Возможно, в январе пятьдесят третьего он меня просто спас. Но могло, конечно, повернуться по-всякому, и тогда уже не спас бы никто. Он сказал мне: ты вне опасности. Наверно, он выдавал желаемое за действительное. Но он сделал все, что мог.

Его очень тогда ценили, потому что он был нужен.

Он понимал это и пользовался этим. Я очень ему благодарна. За все, за все…»

…Июнь 1908 года. Париж. Запись беседы с Эльзой Триоле и Луи Арагоном.

Эльза: «Лиля была в полном отчаянии, которое граничило с безумием. Она была тяжко больна. Ей казалось, что все рухнуло. Мы с Арагоном утешали го, как могли. Она реагировала тогда не вполне адекватно. Это была именно болезнь. Никто и ничто не могло ее излечить, только перемена ситуации. И когда кончился этот кошмар, уже в конце марта или в начале апреля, все прошло».

Луи: «Я не помню, что говорил тогда в Кремле.

Помню только — Эренбург меня обнял и сказал, что и выступил превосходно. То есть так, как было нужно. Кому нужно? Это не уточнялось, но подразумевалось».

Сразу же после той кремлевской речи Арагоны оставили Лилю приходить в себя и полетели в Абхазию на встречу с

Морисом Торезом. Уже более двух лет, как генеральный секретарь французской компартии, покинув Париж, где медицина находилась не на самом низком уровне в мире, лечился в Советском Союзе от «одностороннего паралича». Есть свидетельства, что Торез ни на грош не верил в виновность врачей, организовавших «заговор» против товарища Сталина, как и против других товарищей — всех его верных соратников в стране и за границей. Однако находившаяся при нем супруга Жанетта Вермерш называла арестованных врачей негодяями и подлецами и была убеждена в том, что среди намеченных ими жертв был и ее муж. Избежать этой темы, которая оставалась у всех на устах, разумеется, не мог никто. Из Сухуми (вблизи абхазской столицы находился санаторий, где Торезы лечились) Арагоны звонили в Москву— Катанян старался их успокоить, Лиля к телефону не подходил>:

Вернувшись в Москву, французские гости снова остановились в гостинице «Метрополь», где с Арагоном случился приступ безумия: он бредил, не узнавая людей и не понимая, где находится. Обращаться к московским врачам (опытных и компетентных врачей в кремлевских больницах уже не осталось, все они переместились в лубянские камеры) Эльза не захотела, предпочитая немедленно сбежать в Париж. Совсем иная, привычная обстановка — и в квартире, и на улицах, — иной круг друзей, иные темы для разговоров — все это вернуло его к жизни. Арагон предпочел промолчать, когда с решительной поддержкой Москвы и с гневным обличительным. пафосом, обращенным к презренным холопам сионизма, выступили французские левые Жорж Коньо, Пьер Эрве, Максим Родинсон, Франсис Кремье, Анни Бесс. Многие из них были друзьями-товарища-ми, занимавшие официальные посты в партии, членом которой (и даже членом ЦК) он являлся...

В Москве между тем близкие и друзья безуспешно пытались вывести Лилю из запойного кризиса. Каждое утро она прежде всего бралась за газеты, лишить которых ее никто не смел. К тому же было и радио, — кто мог позволить себе его отключить? Темп антисемитской истерии все нарастал, хотя, казалось, он уже достиг своего апогея. Никто не знал тогда, что в точности происходило за кремлевскими стенами. О том, что Сталина постиг смертельный удар, и страна, и мир тоже узнали с большим опозданием. Теперь оставалось ждать, к чему это событие могло привести. Никто еще не вздохнул с облегчением, все, напротив, ожидали чего-то еще более худшего. Плохо отдавая себе в этом отчет, на каком-то подкорковом уровне, массовое сознание воспринимало Сталина не как тирана, а как гаранта спасения от

беды.

Пятого марта все было кончено. Гигантские толпы жаждавших уникального зрелища штурмовали воинские заградительные цепи, стремясь непременно пройти мимо гроба. Никакой драматург театра абсурда не мог бы придумать ничего более зловещего. В потерявшей человеческий облик толпе более сильные топтали и давили более слабых. Сотни людей, мечтавших лично поклониться останкам великого Сталина, оказались последними жертвами того безумия, которое принес в мир этот палач.

Лиля, как и миллионы людей во всем мире, отрезвев, с утра до вечера не отходила от радиоприемника, ловя новости, которые могли стать судьбоносными, и вместе с гем не забывая о том, что мертвое чудовище, заставлявшее при упоминании своего имени дрожать весь мир, все-таки избавило ее от неминуемой гибели пятнадцатью годами раньше.

Уже недели через две после смерти великого вождя всех времен и народов, продираясь через постылую жвачку приевшихся газетных штампов, можно было понять между строк, что за кремлевскими стенами происходят какие-то события, после которых следует ждать судьбоносных и радостных перемен. И действительно, 4 апреля газеты сообщили об освобождении и полной реабилитации «вра-чей-убийц», подчеркнув при этом, что выдвинутые против них вздорные обвинения преследовали цель «поколебать нерушимую дружбу советских народов». Прозрачность этой формулировки не оставляла места для двояких толкований: государственный антисемитизм был признан имевшим место и — хотя бы формально — осужден.

Для самой Лили первым зримым следствием наступивших перемен была состоявшаяся 6 ноября того же года премьера пьесы Василия Катаняна «Они знали Маяковского». Ее поставил бывший императорский Александрийский театр в Ленинграде (теперь он называется Театром имени Пушкина). И постановщик спектакля Николай Петров, и исполнитель роли Маяковского Николай Черкасов, и сценограф Александр Тышлер, чудом уцелевший после разгрома Еврейского театра, — все старые знакомые, близкие люди, работать с которыми было легко и приятно. Лиля была не столько консультантом, сколько вдохновительницей спектакля, где его создатели попытались вернуть публике реального, живого, а не превращенного в идола Маяковского.

Во время работы над этим спектаклем Лиля впервые столкнулась с совсем молодым композитором Родионом Щедриным, которому был тогда всего 21 год. Отсюда началась их многолетняя дружба, которой, как окажется впоследствии, не

суждено остаться безоблачной.

Сталин своей резолюцией фактически выдал Лиле «охранную грамоту», но лишь с его уходом в ней открылось второе дыхание и возродился интерес к жизни. Это чувство близящейся свободы — призрачное, в любом случае скованное партийными установками и идеологическими догмами — все равно возвращало надежду на лучшее. Давным-давно позади остались сердечные бури со всеми их любовными лодками— она жила теперь памятью о дорогих людях, оболганных и уничтоженных, чьи имена все еще было запрещено произносить вслух. Но, похоже, и этой клевете наступал конец.

В декабре 1954 года, через двадцать с лишним лет после первого съезда советских писателей, состоялся второй. На него тоже приехали Эльза и Арагон, полные еще больших надежд, чем Лиля. Возможно, потому, что Арагон по партийным каналам знал что-то такое, чего не знали другие. Первой ласточкой ошеломительных перемен было известие, которое пришло как раз во время работы писательского съезда: формально реабилитирован — признан ни в чем не виновным, казненным без всяких к тому оснований— Михаил Кольцов, один из очень близких к Лиле людей начиная со второй половины двадцатых годов.

Практики посмертных реабилитаций до тех пор в Советском Союзе вообще не существовало. Даже безотносительно к конкретным именам, само это слово «реабилитация», стремительно ворвавшееся в обиходную речь, а изредка даже появлявшееся в печати, звучало предвестием наступления новой эпохи. Ходатайства о пересмотре других приговоров, с которыми обратились Лиля, Катанян и их друзья, уже лежали в прокуратуре. Их разбирательство тормозилось обилием таких же ходатайств по тысячам дел, но главным образом отсутствием четких указаний из высших партийных инстанций: невидимые тормоза делали свое дело, ведь по-прежнему у партийного руля находились и Молотов, и Каганович, и Маленков, и другие, прямо повинные в массовом уничтожении тех, кого сейчас собирались объявить невиновными.

Шел XX партийный съезд, и никто еще не знал, каким будет его финал, но все понимали: что-то будет… До исторического доклада Хрущева оставалось три дня, когда был реабилитирован Сергей Третьяков. Среди «гарантов» его невиновности, наряду с Николаем Асеевым, Львом Кассилем, кинорежиссером Григорием Александровым, был и Василий Катанян. Еще через два месяца из Верховного суда СССР пришло сообщение о том, что, «как оказалось», Александр Краснощеков ни в чем не был виновен и

осужден без всяких оснований. Становилось все очевидней, что хлопоты за восстановление доброго имени оболганных и уничтоженных друзей дают результаты.

Прошел, однако, еще целый год, прежде чем Лилю вызвали в прокуратуру, чтобы вручить ей «справку» о реабилитации Примакова. Одновременно были извлечены из забвения и возвращены истории имена Тухачевского и других военных, разделивших с ним общую участь. Тремя месяцами раньше был реабилитирован брат Василия Катаняна — Иван. Горькое торжество вызывало смешанное чувство облегчения и отчаяния. Официально подтвержденная правота не могла утишить боль от необозримого числа трагических потерь.

Буквально несколько месяцев, а возможно, даже недель не дожил до своего освобождения дождавшийся смерти тирана и умерший в лагере (лето 1953 года) от перенесенных страданий, от болезней и истощения всегда восхищавшийся Лилей Николай Пунин. Невзлюбивший его начальник издевался над ним с особой изощренностью. Для такого рода людей восстановленная справедливость как нож по сердцу: видя, куда идет дело, этот садист не дал возможности раздражавшему его рабу-интеллигенту выйти из лагеря и снова обрести человеческий облик.

Ни в годы отчаяния, ни с наступлением «оттепели» Лиля не переставала оставаться такой, какой (Зила всегда: сохранявшей достоинство и не позволившей себе опуститься под тяжестью невзгод. Ее приятельница, переводчица, в прошлом певица Татьяна Лещенко-Сухомлина оставила в своем дневнике такую запись, относящуюся к лету 1956 года: «Очень медленно, восхитительно медленно, но она стареет, уходит. <…> Руки стали как пожелтевшие осенние лепесточки, горячие, карие глаза чуть подернуты мутью, золотисто-рыжие волосы давно подкрашены, но Лиля — проста и изысканна, глубоко человечна, женственнейшая женщина с трезвым рассудком и искренним равнодушием к «суете сует». В то же время она сибарит с головы до прелестных маленьких ног».

Лиля, конечно, не молодела, что верно, то верно, но никаких признаков «ухода» в ней не наблюдалось. Она снова была полна жизни, ее снова окружали интереснейшие и талантливейшие современники, ее имя по-прежнему было на устах у тех, кто «крутился» в литературно-театральной среде. Память о том, какое место она занимала в этой среде десятилетия назад, все еще сохранялась даже у тех, чьи условия жизни, казалось, к этому не располагали.

Зимой 1955 года замысловато кружным путем до нее дошли

шуточные стихи, написанные в заполярной Инге, где отбывали ссылку (одних реабилитировали посмертно, других «живьем» все еще держали в неволе) два кинодраматурга, собиравшиеся, так было сказано в приговоре, убить товарища Сталина, — Юлий Дунский и Валерий Фрид: «Чуковский мемуары пишет снова. / Расскажет многоопытный старик / Про файфоклок на кухне у Толстого / И преферанс с мужьями Лили Брик». Обижаться не было оснований — и преферанс, и мужья, как говорится, имели место. Можно было только порадоваться: не забыта! Как была, так и осталась «в кругу».

Из небытия возвращались не только мертвые, но и живые. Впервые после отъезда в эмиграцию, и оба в 1956-м, приехали в Москву — не вместе, а порознь — ближайшие из ближайших: Роман Якобсон и Давид Бурлюк. Приезд Бурлю ка и его жены Марии устроила Лиля: у него не было денег на поездку, и Лиля добилась, чтобы Союз писателей взял все расходы на себя. В еще существовавшем тогда музее Маяковского (в квартире в Гендриковом), открытом стараниями Лили после сталинской резолюции, Бурлюк, в присутствии Лили и Катаняна, делился воспоминаниями о пребывании Маяковского в Америке, но о существовании «двух Элли» умолчал и тогда.

Якобсон, возвратившись домой, писал: «Лиличка, дорогая, никогда так крепко Тебя не любил, как сейчас. Сколько в Тебе красоты, мудрости и человечности! Давно мне не было так весело, благодатно и просто, как у Тебя в доме». Бурлюк не знал, что во всех лубянских документах он вплоть до 1964 года именовался американским шпионом и уже только поэтому находился под постоянным наблюдением органов. Стало быть — опять же хотя бы только поэтому — Лилин «салон» не мог обойтись без «жучков»: каждое слово, произнесенное здесь, фиксировалось в досье спецслужб. Сбор материала для будущих арестов осуществляли те же самые люди, которых Хрущев понудил заниматься реабилитацией своих предыдущих жертв.

Начиная с 1955 года, не без помощи Константина Симонова, Лиля и Катанян получили возможность почти ежегодно ездить во Францию, проводя всю осень до декабря в Париже и на Лазурном берегу Формальное приглашение исходило от Эльзы и Арагона, они же оплачивали и поездку, и пребывание. Встречи с Марком Шагалом, Натальей Гончаровой, Михаилом Ларионовым и другими выдающимися изгнанниками возвращали Лилю в самую счастливую пору ее жизни, заставляя забыть о неумолимом беге времени. С невероятной быстротой, как снежный ком, росло число французских друзей: каждый приезд в Париж приносил новые знакомства, которые никогда не оставались только

светскими и «протокольными». Она часто встречалась с Жаном Кокто.

Благодаря опять-таки Арагону Лиля познакомилась в «Куполи» с Ивом Монтаном и Симоной Синьоре. Это знакомство имело особые последствия. Лиля убедила их не отменять запланированные гастроли Монтана в Советском Союзе в знак протеста против подавления венгерского восстания, а приехать и доставить радость тысячам советских людей, десятилетиями живших в условиях культурной блокады. Те, кто стрелял по будапештским повстанцам, в гробу видели песни Монтана, уж их-то он своим протестом никак наказать не мог. А те, для кого ему предстояло петь, относились к советской палаческой акции точно так же, как сам Монтан. Наказанными остались бы они же...

Вероятно, слово Лили сыграло свою роль: она обладала магической способностью влиять даже на почти незнакомых людей. Мне посчастливилось быть на том незабываемом концерте Монтана в московском Концертном зале имени Чайковского. Свидетельствую: Лиля, счастливая, восторженная, сидела в одном из первых рядов. В антракте, когда она вышла в фойе, перед ней почтительно расступались, освобождая дорогу. Она шла как истинная виновница торжества, и это показалось мне слегка вызывающим и не слишком уместным. Мог ли я тогда знать, что она не «как» виновница, а просто виновница этого торжества, что для гордой улыбки, которая не сходила с ее лица, имелись все основания?

Зарубежные гости, особенно французские, охотно посещали квартиру в Спасопесковском — их не смущал ни пятый этаж без лифта, ни теснота. Истинно литературная, истинно интеллигентная атмосфера дома заставляла забывать и о скромности быта, и о любых других неудобствах. Непринужденная обстановка, духовная высота разговора, европейская культура приема гостей, наконец, отсутствие языкового барьера — все это делало дом Лили и Катаняна совершенно непохожим на то, что даже самым почетным гостям предлагалось в Москве официальной программой.

Осенью 1955 года в СССР проходила неделя французского кино, которая стала для москвичей настоящим праздником: уже долгие, долгие годы иа советских экранах не шло ничего подобного. В составе представительной делегации французских кинематографистов (вся Москва гонялась тогда за автографами Даниэль Дарье!) были Жерар Филип и Жорж Садуль, которые привезли Лиле рекомендательное письмо от Эльзы. Само собой разумеется, они были тут же приглашены на ужин. Жерар Филип галантно ухаживал за Лилей, на глазах у всех возвращая ей

молодость. Садуль, занимавшийся историей советского кино, расспрашивал о Пудовкине и Кулешове.

Вечер, проведенный у Лили, остался незабываемым для гостей из Парижа еще и потому, что среди приглашенных были Майя Плисецкая, слух о великом таланте которой уже долетел до Парижа, и никому еще не известный молодой композитор Родион Щедрин, после ужина игравший на бриковском «Бехштейне» свои сочинения. Здесь впервые встретились Плисецкая и Щедрин, еще не предвидя, как вскоре снова — и насовсем — сведет их судьба.

Пятьдесят восьмой год начался особенно счастливо. Лиле и Катаняну дали, наконец, новую квартиру в одном из самых комфортабельных домов-новостроек тогдашней Москвы — на Кутузовском проспекте, возле высотной гостиницы «Украина». Помимо простора, позволившего разместить и огромный архив, и старинную мебель, и бесценные предметы искусства, не купленные в антикварных магазинах, а впрямую связанные с жизнью и судьбой хозяев квартиры (живописные портреты, картины, графику — прежде всего), эту квартиру отличало и еще одно исключительное достоинство, которого Лиля десятилетиями была лишена: дивный вид на Москву-реку, чистый (пусть даже и относительно чистый!) воздух, много света и солнца.

В соседнем подъезде поселились Плисецкая и Щедрин: встретившись снова, отнюдь не сразу после вечеринки с Жераром Филипом, на премьере хачатуряновского балета «Спартак» в Большом (Лиля была на ней тоже), Майя и Родион решили пожениться и сразу же осуществили свое намерение Теперь забежать к Лиле «на огонек» не составляло никакого труда, и молодожены пользовались этой возможностью охотно и часто. Лиля бывала на всех спектаклях Плисецкой, каждый раз посылая ей роскошные корзины цветов.

Денег было много: все эти годы Лиля получала половину гонорара за издания произведений Маяковского, а издавали его много и платили щедро. Более того, в 1946 году Сталин по ходатайству Союза писателей продлил срок действия авторского права на произведения Маяковского, не указав даже, сколь надолго: получалось — навсегда.

Хрущев изменил ситуацию. По какому-то поводу ему представили на стол справку о гонорарах, полученных наследниками «классиков» за все истекшие годы, и в Хрущеве взыграла крестьянская жилка. «Не слишком ли жирно?!»— так, по ходившим тогда слухам, отреагировал он, и вопрос был решен.

Единственный источник существования для Лили перестал существовать, и она практически осталась без средств. Но и к этому ей было не привыкать. Пошли в продажу какие-то вещи,

скромнее стала повседневная жизнь. Но все такими же остались вечера, на которые приглашались дорогие гости, без каких-либо перемен сохранилась привычка дарить особо любимым друзьям ценные подарки, а не безделушки. В любых условиях Лиля оставалась самою собой.

О ней узнавали все больше — и дома, и за границей. Иностранные журналисты стремились взять интервью. Из Рима — специально для того, чтобы сделать серию ее портретов, — прибыл известный итальянский фотохудожник Адриано Морденти. Другой итальянский гость — Альберто Моравиа, — оказавшись в Москве, попросил Союз писателей организовать ему встречу с Лилей. Восторга эта просьба не вызвала, но исполнить ее пришлось.

1958 год принес и еще одну, ни с чем не сравнимую радость. На площади Маяковского в Москве был воздвигнут памятник поэту. Громоздкий, монументальный — в традициях пресловутого «социалистического реализма». Функционально-пропагандистская заданность убивала в этом каменном изваянии саму личность и все живое, что было связано с ней. Словно предвидя свою посмертную судьбу, Маяковский писал когда-то, что ему «наплевать на бронзы многопудье». Теперь ее он и получил. Но для Лили гигантская статуя, возникшая в самом центре Москвы, знаменовала собой осязаемое бессмертие поэта. То, в чем она никогда не сомневалась, во что всегда верила, становилось реальностью.

«Лиля, люби меня!» — заклинал ее Маяковский в предсмертном письме. Теперь она могла с чистой совестью сказать себе, что мольба его не осталась безответной: сделала все, что было в ее силах.

Еще большую радость доставило то, что памятник Маяковскому сразу же стал местом спонтанных литературных (только ли литературных?) митингов, где, минуя всякую цензуру, молодые поэты читали свои стихи при огромном скоплении публики. На эти никем не организованные вечерние чтения, сопровождавшиеся свободной дискуссией слушателей, стекались сотни, а то и тысячи москвичей и приезжих — из «ближнего» и «дальнего» далека.

Хотя лубянские шпики и переодетая в штатское милиция составляли немалую часть возбужденной толпы, на праздничную атмосферу поэтических вечеров под открытым небом это никак не влияло. Так получалось, что Маяковский ворвался в жизнь нового поколения и стал участником тех общественных процессов, которые после XX съезда сотрясали страну. Мог ли он когда-нибудь мечтать о чем-либо большем? Многие из тех, кто чаще

всего читал стихи у подножия этого памятника, тоже стали Лилиными друзьями.

Радость и беда, однако, почти всегда неразлучны и стараются идти рука об руку: истина очень старая, превратившаяся в банальность, но смириться с ней тем не менее мало кому удается. Осень 1958 года омрачилась травлей Пастернака в связи с присуждением ему Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго». Отношения Пастернака и Лили все предыдущие годы несли на себе печать той размолвки, которая произошла еще в декабре 1929-го. Ни друзья, ни враги — хорошие знакомые с давних времен, не более...

Ситуация усугубилась после того, как в своей автобиографии «Люди и положения», не изданной, конечно, в Москве, но сразу же дошедшей до Лили,

Пастернак задел ее за живое своей — теперь уже хрестоматийной — фразой о том, что Маяковского после сталинской резолюции стали «насаждать, как картофель при Екатерине». Резолюция была начертана на Лилином письме — получалось, что (даже не косвенно, а прямо) пастернаковская инвектива адресована лично ей. После того как друзья — писатель Всеволод Иванов и его жена Тамара — потеснились на своей большой переделкинской даче и отдали ее часть Лиле и Катаняну, Пастернак стал ближайшим соседом: их дома стояли рядом. Но и тогда отношения не стали более близкими, хотя Ивановы с Пастернаками очень тесно дружили домами.

И однако же, гнусную кампанию против Пастернака, устроенную по приказу Хрущева, Лиля восприняла как личное горе. Она была в это время в городе. Телефона на дачах Ивановых и Пастернака не было, связь с Москвой могла быть лишь односторонней. Пастернак, как и другие обитатели переделкинских дач, ходили звонить из вестибюля писательского Дома творчества, где был общий телефон, к которому обычно выстраивались длинные очереди. От отчаяния и тоски Пастернак позвонил Лиле (видимо, мало кому он мог позвонить в эти страшные дни) — и расплакался, услышав ее взволнованный голос, ее возглас: «Боря, что происходит?!», в котором было все: солидарность, поддержка, сочувствие, понимание. Гордость и— печаль. Общая с ним...

Эта поддержка была для него тем более радостна, тем более неожиданна, что бывшие друзья Маяковского (и его, казалось бы, тоже) — Виктор Шкловский и Илья Сельвинский — запросто «продали» Пастернака, спешно опубликовав в Ялте, где они тогда находились, письмо, осуждающее его «антипатриотический поступок» (самовольную публикацию романа за границей).

«Курортную газету», где появился их постыдно-трусливый пасквиль, за пределами Ялты никто не читал. Но они все же «отметились», засвидетельствовав свой конформизм и заполучив оправдательный документ на случай, если бы кто-то их заподозрил в поддержке старого друга.

Сразу же стало ясно, что «оттепель» сменилась «заморозками», за которыми вполне может последовать настоящий «мороз». Полным ходом продолжалась реабилитация жертв сталинского террора. Именно поэтому Кремлю надо было снова закрутить гайки, чтобы свободомыслие не вошло в повседневную жизнь, не стало нормой, грозящей существованию режима с его неумолимо жесткими идеологическими догмами. Хрущев, конечно, не читал «Доктора Живаго», а прочитав, не смог бы в нем понять ни единой строки. Но содержание романа его тоже ничуть не интересовало — вполне достаточно было той «справки», которую составили для него на Лубянке и в кабинетах партийных идеологов. Главное — не допустить ни малейшего самовольства, дать по рукам расшалившимся интеллигентам и напомнить, в какой стране и в каком обществе они продолжают жить.

Все понимали, что за травлей Пастернака, официально объявленного то «квакающей лягушкой», то «гадящей свиньей», последуют иные акции такого же рода, что приунывшая было сталинская рать поднимет голову, что каждый, чем-то обиженный хрущевской «оттепелью» — на своем месте и по-своему, — попытается свести счеты с теми, кто ненароком подумал, будто после XX съезда наступило ИХ время. Эта судьба, ясное дело, не могла миновать и Лилю.

На встречу Нового, 1959 года приехали Арагоны. Впервые отмечали этот самый веселый, по русским традициям праздник в квартире на Кутузовском. Пришли и молодожены — Плисецкая и Щедрин. Эльза привезла множество рождественских подарков, стол ломился от яств, особый восторг вызвала «Вдова Клико»: и шампанского, и дивных французских вин хватило на всех. Но за видимым весельем скрывалась тревога. Ощущалось (Лилей, с ее поразительным чутьем, особенно) наступление каких-то иных — беспокойных — времен. Арагон надеялся на встречу с Хрущевым: хотел объяснить ему, сколь тягостное впечатление произвела на западных друзей Советского Союза травля Пастернака и демонстративное понуждение его к эмиграции. Хрущев Арагона не принял. И то верно — что он мог бы ему сказать? В январе Арагоны уехали. Лиля провожала их на Белорусском вокзале. Проводы были грустными — ничего хорошего не ожидали.

Предчувствия Лилю не обманули. Тогда же, в январе,

началась кампания против нее. Кампания, зерна которой были посеяны двумя годами раньше. Константин Симонов, будучи главным редактором журнала «Новый мир», впервые опубликовал — без всяких комментариев — полный текст стихотворения Маяковского «Письмо Татьяне Яковлевой». Утаивать эти стихи, раз появилась возможность их опубликовать, было бы, разумеется, и невозможно, и безнравственно. Но мог ли он предположить, какую волну копившейся ненависти к Лиле эта публикация спровоцирует?

Озлобление двух сестер — Людмилы и Ольги — за прошедшие годы лишь возрастало, но не имело публичного выхода. Теперь для такого выхода появились основания: опубликованные стихи, скрывавшиеся более четверти века будто бы Лилей, а не советской цензурой, свидетельствовали о том, что у Маяковского могла-де сложиться «нормальная» жизнь с Татьяной, да вот зловредные Брики этому помешали, доведя их брата до самоубийства. Пока еще, правда, любовь великого пролетарского поэта к «белой» эмигрантке с точки зрения советских традиций не выглядела слишком уж положительным фактом в его биографии. Тем паче что и в опубликованном стихотворении об этом сказано вполне недвусмысленно: эмигрантка отнюдь не собиралась оставить Париж и вернуться домой. Однако же появился новый «сюжет», который мог бы объединить всех недругов Лили.

Вопреки своей воле, Лиля сама дала повод начать кампанию против себя. Редакция одного из самых уважаемых академических изданий «Литературное наследство» решила посвятить 65-й и 66-й тома творческому наследию и биографии Маяковского, Среди многих прочих материалов создатель и один из руководителей издания, Илья Зильберштейн, предполагал опубликовать в 65-м томе воспоминания Лили и Эльзы, а также переписку между Маяковским и Лилей.

Подчиняясь скорее своей интуиции, чем расчету, Лиля долго сопротивлялась. Потом все-таки уступила, передав Зильберштейну лишь часть переписки (125 писем и телеграмм из 416) и написав предисловие к публикации. От публикации воспоминаний обеих сестер редколлегия (точнее, наиболее осторожная и ортодоксальная часть ее членов) решила все-таки воздержаться. Переписка осталась. Том вышел в декабре 1958 года— и реакция последовала молниеносно.

Уже 7 января в откровенно догматичной, не скрывавшей своей ностальгии по «добрым сталинским временам» газете «Литература и жизнь» появилась разгромная рецензия на вышедший том за подписью мало кому известных Владимира

Воронцова и Александра Колоскова. Узкому, но самому влиятельному кругу «товарищей» имена рецензентов как раз говорили о многом. Колосков занимал видный пост в печатном органе ЦК КПСС «Партийная жизнь», а Воронцов работал помощником главного идеолога партии, секретаря и члена президиума ЦК Михаила Суслова. К нему-то и обратилась два дня спустя с письмом Людмила Маяковская, призывая «оградить поэта Маяковского от травли и нападок». Организатор травли и нападок обвинял и в том и в другом чех, кто никого не травил и ни на кого не нападал: прием хорошо известный и многократно практиковавшийся в советские времена.

«Особенно возмутило меня и очень многих других людей, — писала Людмила, — опубликование писем брата к Л. Брик. <…> Я получила письма, где говорится: «Невероятно, чтоб она была достойна такой небывалой любви». Брат мой, человек совершенно другой среды, другого воспитания, другой жизни, попал в чужую среду, которая кроме боли и несчастья ничего не дала ни ему, ни нашей семье. Загубили хорошего, талантливого человека, а теперь продолжают чернить его честное имя борца за коммунизм».

В поддержку Людмилы по хорошо разработанному сценарию была брошена тяжелая артиллерия. Федор Панферов, главный редактор реакционного журнала «Октябрь» — антипода «Нового мира», возглавлявшегося теперь Александром Твардовским, — послал вдогонку и свое письмо на то же имя. «…Перлом всего, — сообщал Панферов, — являются неизвестно зачем опубликованные письма Маяковского к Лиле Брик. Это весьма слащавые, сентиментальные, сугубо интимные штучки, под которыми Маяковский подписывался так: «Щенок». <…> Всю эту галиматью состряпали такие молодчики, как Катанян <далее следует перечисление всех членов редколлегии «Литературного наследства»>. Видимо, правильно народ утверждает, что порой и на крупное здоровое тело лепятся паразиты. В данном случае паразиты налепились на образ Владимира Маяковского…»

Когда Суслов накладывал резолюцию, адресованную подчиненным ему крупным партийным чиновникам Ильичеву и Поликарпову: «внести соответствующие предложения», — он еще не знал, что накануне в Париже, в еженедельнике «Экспресс», появилась статья К. С. Кароля «Неожиданный удар для русских». В ней журналист обращал внимание на постепенное освобождение образа Маяковского от привычных партийных догм, благодаря публикации и «Литературном наследстве» скрывавшихся ранее аутентичных документов.

Для сусловской команды появление этой статьи было

поистине удачей. На помощь срочно пришел корреспондент «Правды» в Париже Юрий Жуков, впоследствии один из самых непримиримых борцов за «непорочную чистоту» партийной идеологии. 27 февраля, явно получив указание из Москвы, он обратился в ЦК КПСС с письмом, в котором выражал удивление фактом публикации переписки Маяковского и Лили, а также предлагал «обратить внимание редакции на более тщательный отбор документов, исключающий возможность опубликования таких материалов, которые могли бы быть использованы враждебной нам иностранной пропагандой».

Дальнейшее развитие событий шло в точном соответствии с тем, что было задумано. Министр культуры СССР Николай Михайлов, который еще в бытность свою главой комсомола отличался трусостью и сервильностью, сочинил «Записку», адресованную в ЦК, где утверждал, что письма Лили и Маяковского «не представляют никакой ценности для исследования творчества поэта и удовлетворяют лишь любопытство обывательски настроенных читателей, поскольку эти письма приоткрывают завесу интимных отношений». Обвинив автора вступительной заметки (то есть Лилю) «в развязном тоне, граничащем с циничной откровенностью», он утверждал также, что «выход в свет книги «Новое о Маяковском» вызвал возмущение в среде советской интеллигенции». Итог был предрешен. «Безответственность, — заключал министр, — проявленная в издании книги о Маяковском, не может оставаться безнаказанной».

Поскольку председатель Союза писателей СССР Константин Федин, некогда подававший надежды прозаик, обласканный Горьким, превратившийся в безотказно послушного слугу режима, тоже «выразил свое возмущение» публикацией переписки, наверху сочли, что вопрос «согласован» со всеми, с кем нужно. Комиссия ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и международных партийных связей приняла с грифом «совершенно секретно» решение о том, что опубликованные письма «искажают облик выдающегося советского поэта», а весь том «Литературного наследства», ему посвященный, «перекликается с клеветническими измышлениями зарубежных ревизионистов». Вся эта закулисная возня шла под аккомпанемент газетных и журнальных публикаций, где авторы не слишком стеснялись в выражениях, поливая грязью Лилю и предавая анафеме ее отношения с Маяковским. Завершенная, казалось, история получила неожиданное продолжение.

Пятого мая 1959 года Юрий Жуков отправил еще одно — весьма пространное и «совершенно секретное» — письмо в ЦК,

написанное в смешанном жанре доноса на члена ЦК братской компартии и отчета о безупречном своем поведении, строго выдержанном в духе московских партийных инструкций. «4 мая в беседе со мной, — писал Жуков, — Арагон в нервной и раздражительной форме поставил вопрос о публикующихся в советской печати критических статьях по поводу сборника «Литературное наследство», посвященных памяти Маяковского. Арагон сказал, что он не согласен с точкой зрения, согласно которой публикация частных писем Маяковского является ошибкой, поскольку такие письма проливают дополнительный свет на образ поэта. Когда я в твердом тоне <это обязательно надо было подчеркнуть: «в твердом тоне» на советском жаргоне означало «дать отпор»> возразил Арагону, что письма, преданные гласности Л. Брик, не только не добавляют ничего нового к образу Маяковского, но, наоборот, искажают его, Арагон сказал, что не может со мной согласиться».

Рассказывая дальше в своем письме о том, как Арагон старался защитить Лилю, Жуков комментировал: «По ходу беседы чувствовалось, что определенные круги <«определенными кругами» могли считаться и Лиля, и американские империалисты, и европейские «ревизионисты», и даже презренные сионисты>, толкнувшие Арагона на эту беседу, старательно инспирировали его. <...> Придя в возбужденное состояние, Арагон заговорил о том, что «есть границы всему» и что он «не сможет остаться нейтральным», если буржуазная пресса подхватит историю со сборником «Литературное наследство» и сделает из него «второе дело Пастернака». «Я, — сказал он, — должен буду в этом случае занять определенную позицию и заранее говорю, что я должен буду выступить в защиту публикации писем Маяковского к Л. Брик». <...> На все это я ответил Арагону, что он совершенно напрасно вмешивается в наши внутренние издательские дела, поскольку он не может знать существа дел, о которых говорит.

<...> Однако Арагон еще долго в возбужденном тони говорил о «несправедливости», допущенной в отношении Л. Брик. <...> Он сказал, между прочим, что «можно опасаться, что в этой обстановке Л. Брик покончит с собой и тогда возникнет большой политический скандал». Письмо завершалось таким обобщающим выводом Жукова: «Весь этот разговор, продолжавшийся более часа, Арагон провел явно под влиянием своих бесед с Л. Брик и ее окружением».

Из «совершенно секретных» документов ЦК видно, что делом о Лиле Брик занимались тогда несколько членов политбюро (Суслов, Фурцева, Мухитдинов, Куусинен), несколько членов и

функционеров ЦК, министры, заместители министров, партийные «академики» и «профессора». Лишь через два года все они приняли, наконец, мудрое решение: впредь личную переписку тех, кому Кремль уже определил свое место в истории, публиковать «только с особого разрешения ЦК КПСС» (секретное постановление ЦК КПСС от б июня 1961 года).

Волей-неволей под этот запрет попала и Лиля Брик.

ПРОЦЕСС ОТЛУЧЕНИЯ

Уже стало совсем привычным: Лилина жизнь шла как бы в двух измерениях. Дома собирались близкие люди, все до одного яркие личности, с духовными запросами и интересами. Вспоминали о былом, живо обсуждали злобу дня, делились мыслями и творческими планами, сочиняли экспромты, блистали умом. Этот блеск, да и каждый шорох вообще, исправно фиксировали «жучки», умело расставленные во всех уголках квартиры. А вне дома, но вокруг Лили и в связи с нею шла мышиная возня партийных идеологов, госчиновников, лакействующих и (поразительная закономерность!) совершенно бездарных историков литературы, занявших все влиятельные посты.

Эта разношерстная публика объединилась со злобствующей, считавшей себя почему-то ущемленной старшей сестрой Маяковского, которая от своего имени и от имени престарелой матери (вторая сестра Ольга умерла еще в 1949 году) претендовала теперь на монопольное право толковать поэта, издавать его, выдумывать насквозь фальшивую агитпроповскую биографию «великого певца революции» и считаться, вопреки его воле, единственной и безраздельной наследницей. Наследницей монумента, а но человека.

Так получилось, что за всегда хлебосольным столом на Кутузовском собиралось теперь меньше советских гостей, чем раньше, но зато было великое изобилие иностранных. Главным образом, конечно, французских. Рене Клер вспоминал о встречах с Маяковским в Париже. Фотохудожник Анри Картье-Брессон делал ее портреты. Наде Леже Лиля рассказывала о том, как весной 1925 года за ней приударил Фернан Леже, как водил ее в дешевые дансинги и небольшие квартальные бистро, — тогда еще он не был ни богачом, ни Надиным мужем.

Ежегодные встречи в Париже имели продолжение в Москве, куда стремились приехать при первой возможности едва ли не все западные «левые», из среды интеллигенции прежде всего. Одни приезжали с письмами или устными приветами от Эльзы, другие для вхождения в дом не нуждались и в этом. Пабло Неруда, побывавший у Лили, когда ему в Москве вручали международную Ленинскую премию, и потом не раз встречавшийся с ней в Париже (он был там чилийским послом), написал в ее честь стихи: «Мой старый друг, нежная и неистовая Лили!»

Неистовость ее проявлялась и в большом, и в малом. Она хорошо понимала, что бытие неотторжимо от быта и что без

борьбы ничего не дается. И ничуть не гнушалась использовать личные связи, по опыту зная, насколько они помогают и как трудно приходится, если их нет. Когда Плисецкую и Щедрина перестали пускать за границу, Лиля с помощью личных связей раздобыла прямой (городской — не кремлевский!) номер телефона тогдашнего шефа КГБ Александра Шелепина, позвонила ему и настояла, чтобы кого-либо из молодых супругов он принял сам. Кем была тогда Лиля? Тогда— и всегда? Никем. Лилей Брик — и только. Но это звучало!

Сначала Щедрина пригласил к себе один из заместителей Шелепина, генерал Евгений Питовранов, крупный лубянский чин с давних временна затем и сам Шелепин. Вопрос оказался не слишком простым — к наложенным на супругов санкциям был причастен лично Хрущев. Преодолели и это: загадочное влияние Лили на лубянских шишек было столь велико, что Питовранов при очередном посещении Хрущева сам передал ему письмо Плисецкой и Щедрина и добился положительного ответа. Таким образом, Лиля помогла «невыездной» Плисецкой выехать с труппой Большого на гастроли в Америку: не используй она свои рычаги, ничего бы, наверно, не получилось. Тогда— не потом...

У самой Лили и у Катаняна препятствий для выезда больше вроде бы не было. В 1960 году Арагоны поселились в трехэтажном особняке на улице Варенн, и там, рядом с двумя соединенными между собою и очень просторными двухэтажными квартирами (одна для Луи, другая для Эльзы), удалось оборудовать одну однокомнатную для Лили и Катаняна. Теперь в Париже у них практически было вполне самостоятельное жилье, где они могли жить сколько и когда хотели.

В Москве тем временем без всякого перерыва шла работа по очернению Лили, работа, у которой была одна-единственная цель: вырвать ее из биографии Маяковского, объявить злым гением, свернувшим поэта с истинного пути, вменить ей в вину его гибель. Особенно неистовствовала Людмила Маяковская, для которой «изничтожение» Лили стало главной задачей на весь остаток жизни: ей к тому времени уже исполнилось 76 лет. С этой целью она решила «заменить» Лилю в биографии Маяковского другими женщинами: какими — неважно, лишь бы другими.

Совершенно загадочным образом, явно не без чьей-то помощи, она вошла в контакт с жившей в Париже художницей Евгенией Ланг и стала ревностным ходатаем в попытке добиться ее возвращения на родину. Ланг эмигрировала еще в 1919 году, с тех пор жила и работала в Германии и Италии и, наконец, обосновалась во Франции. Как-то в Берлине, проезжая на такси по Курфгорстендамму, увидела из окна Маяковского, но

остановиться не пожелала. Еще несколько лет спустя, в его последний приезд, они столкнулись лицом к лицу в парижской «Ротонде». Маяковский был в обществе Ильи Эренбурга и других знаменитостей, французских и русских. Увидев Женю, он встал, подошел к ней, пытался заговорить; та уклонилась. Теперь Людмила стремилась выдать Евгению Ланг за «первую любовь» ее брата и, что еще важнее, за истинную советскую патриот ку — не чета Лиле Брик и всему ее окружению.

Дважды — в сентябре 1960-го и в июне 1961 года — Людмила писала Суслову, умоляя разрешить «подруге великого пролетарского поэта Владимира Маяковского» вернуться домой, Воронцову, с которым, конечно, все было заранее согласовано, ничего не стоило передавать письма лично адресату, ненавязчиво присовокупляя свое устное мнение. Итогом этих усилий явилось постановление секретариата ЦК (ни больше ни меньше!) от 18 сентября 1961 года о разрешении художнице Е. А. Ланг вернуться в Советский Союз и о возложении на исполком Моссовета обязанности предоставить ей отдельную квартиру.

Еще до Нового года Ланг покинула Париж и переехала в Москву, Людмила надеялась, что та присоединится к ней в усилиях избавить биографию Маяковского от присутствия «кошмарной и чудовищной» Лили Брик. Никакой симпатии к Лиле у Евгении Ланг, разумеется, не было, но от участия в грязной игре, даже и ради Людмилы, которая ей так помогла, она уклонилась. Воспоминания ее, не содержащие никаких выпадов против Лили, были написаны в 1969 году и увидели свет лишь в 1993 году.

Потерпев неожиданную неудачу, Людмила еще активней взялась за дело. Теперь ее надеждой стала Татьяна Яковлева. Не исключено, что розыск Татьяны, которым, хоть и вяло, занималось советское посольство в Вашингтоне, попытки его сотрудников и аккредитованных в Америке журналистов войти в контакт с Татьяной (после гибели виконта дю Плесси она вышла замуж вторично и обосновалась в Соединенных Штатах), что все это было инспирировано «группой Воронцова», использовавшего свое служебное положение в ЦК.

Сама же Людмила с завидной энергией взялась собирать все, что хоть как-то касалось Татьяны. Разыскать ее мать в Пензе оказалось проще, чем саму Татьяну в Соединенных Штатах. Любовь Николаевна Орлова (мать Татьяны была замужем третьим браком за юристом Николаем Алексеевичем Орловым, который и откликнулся на зов Людмилы) передала сестре поэта более трехсот фотографий, письма дочери из Парижа за 1925—1938 годы и еще немало других документов, которые действительно

представляют большую историческую ценность, независимо от того, кем и с какой целью они были добыты.

Людмилу, разумеется, интересовала не история, как таковая, а лишь поиск доказательств правильности своей точки зрения, которая очень четко выражена ею в одном из писем к Орлову. Она писала ему о «своей твердой уверенности в том, что их <Маяковского и Татьяну> разлучили искусственно, путем интриг лиц, заинтересованных в том, чтобы держать брата около себя и пользоваться благами, к которым привыкли. Последние пять лет его угнетало такое положение, и он безусловно рвался к новой жизни. Он говорил, что его «могла бы спасти только большая любовь!». Такой любовью для него стала Татьяна Алексеевна. Я так себе все представляла, письма подтвердили это. Думаю, что все было еще значительней и сильнее. Письма эти <Татьяны к своей матери> я буду беречь вместо брата».

Лиля не знала подробно и достоверно, какая затеяна возня вокруг нее, что готовят политиканствующие проходимцы и уязвленные родственники, пытаясь спекулировать на подлинной беде Маяковского через три с лишним десятилетия после его гибели. Но то, что она осталась без опоры в верхах, — это она знала хорошо. Трагический парадокс состоял в том, что Сталин и лубянское ведомство по разным причинам ограждали ее в свое время от любой самодеятельности ревнителей идеологической «чистоты», независимо от цели, которую они преследовали: корыстной, амбициозной или какой-то иной. Повелеть ее растоптать или даже попросту уничтожить мог только сам Сталин, но он того не пожелал. Хрущеву вообще было не до этого, его совершенно не интересовало, кого и как любил Маяковский. Все подобные вопросы были отданы на откуп Суслову, а «серый кардинал» гнул свою линию, готовя почву, на которой он развернется, когда Хрущева отстранят от власти. Замысел этот уже вынашивался, хотя до его осуществления оставалось еще несколько лет.

Осенью 1961 года раздался взрыв поистине необычайной силы, укрепивший надежды в одних, а для других послуживший тревожным сигналом: надо было спешить с «принятием мер», пока цепная реакция свободомыслия не стала необратимой. С разрешения Хрущева, при помощи его зятя Алексея Аджубея, главного редактора второй газеты страны «Известия», Твардовский опубликовал в «Новом мире» повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Потрясенная, как и все, прочитанным, Лиля немедленно послала номер журнала Эльзе. Та сразу же отреагировала: «Нам <...> из-за любви к нему <Ивану Денисовичу> жить не хочется.

У меня вся душа исковеркана, как после автомобильной катастрофы— одни вмятины и пробоины. <…> Несем вину перед Иваном Денисовичем за доверие, фальшивомонетчики не мы, но мы распространяли фальшивые монеты, по неведению. Сами принимали на веру…»

На этом публикатор письма Василий Васильевич Катанян обрывает цитату. Хорошо бы все-таки узнать ее продолжение. Что именно «принимали на веру»? И какое «неведение» могло помешать кому бы то ни было распространять «фальшивые монеты» на протяжении нескольких десятилетий? Чего именно распространители не знали до тех пор, пока не прочитали повесть Солженицына? Что сотни хорошо им знакомых людей (о незнакомых, допустим, не знали) вдруг куда-то исчезли? Чего не видели? Разгула антисемитской истерии, мало чем отличавшейся от нацистской кампании 1938 года? Чего не читали? Андре Жида, Артура Кестлера, Федора Раскольникова, Александра Орлова, десятков других очевидцев, потрясенных тем, что видели своими глазами и о чем хотели поведать миру? В чем не участвовали? В процессе Виктора Кравченко, которого газета «Летр франсез», руководимая Арагоном, упорно пыталась выдать за злобного клеветника, заткнув уши и закрыв глаза на все, что не работало на этот постыдный замысел? Почему не хотели слушать на этом процессе десятков свидетелей автора книги «Я выбрал свободу» — хотя бы Маргарет Бубер-Нойман, жену казненного Сталиным виднейшего немецкого коммуниста, выданную тем же Сталиным Гитлеру на убиение? Выжившую в гитлеровском лагере и пришедшую в свободный суд с надеждой быть услышанной.

Одни услышали. А вот «невольные» распространители «фальшивых монет» услышать почему-то не пожелали. Докричаться до них никакие свидетели не могли. И прозрели они только тогда, когда о той же правде (точнее, о миллионной доле той правды) было рассказано в подцензурной советской печати. Да и то прозрели не все. И отнюдь не во всем.,.

Вокруг имени Маяковского, но главным образом вокруг имени Лили Брик в связи с Маяковским, стала разворачиваться уже не шуточная война. В зону «боевых действий» попадали все новые и новые люди. Панферовскому журналу «Октябрь», продолжавшему в самой развязной манере хулить всех, кто не следовал канонической партийной трактовке биографии и творчества Маяковского, попыталось возразить даже такое идеологически выдержанное издание, как журнал «Проблемы мира и социализма». Выходил он в Праге и считался коллективной трибуной всех «братских» партий, на самом же деле его и курировала, и содержала Москва, и она же

формировала редакционные кадры.

Статья двух авторов «новомирскиго» направления — Леонида Пажитнова и Бориса Шрагина — в защиту правды о Маяковском вызвала гнев у кремлевских товарищей. Не помогло даже заступничество главного редактора «Проблем...» Алексея Румянцева — члена ЦК, академика. Леонида Пажитнова сняли с работы и отозвали в Москву. Эта победа возбудила у воронцовской команды еще больший азарт. Хищники почувствовали запах крови.

О том, что придавало нападкам на Лилю особую эмоциональную силу, догадаться было несложно. Однако внешне, даже в закрытой переписке, до поры до времени эти тайные пружины не просматривались. Но вскоре они стали явными. В письмах и докладных записках на самый верх появились важные уточняющие детали: фамилия Брик (достаточно очевидная, надо сказать, по своим корням) то и дело стала писаться через дефис: Брик-Каган. Выражения типа «разные брики, бурлюки, наперные и им подобные» все чаще стали появляться в «деловой» переписке. При издании произведений Маяковского исчезали посвящения Лиле. На многократно публиковавшихся ранее фотоснимках, где Маяковский и Лиля были вместе, теперь стали оставлять его одного: целенаправленная ретушь достигла высокого мастерства.

Роман Якобсон, один из самых близких Маяковскому людей, свидетельствовал: «Маяковский мне говорил несколько раз, по разным поводам, что ничто его не приводит в такое состояние возмущения, как юдофобство». Но кто считался со свидетельством «пристрастного» Якобсона, да и с мнением самого Маяковского. Великий пролетарский поэт даже посмертно имел право возмущаться лишь тем, чем возмущались Суслов и его подчиненные, и, напротив, выражать полное согласие с тем, что и как считали они.

В 1964 году Союз писателей снова пригласил Арагонов в Москву, но поездка все никак не могла состояться. Для почетных гостей, как обычно, был заготовлен номер в гостинице «Метрополь», но Арагон настаивал на «Украине», которая расположена в двух шагах от квартиры Лили. Эльза вот уже три года страдала жестоким артритом, после неудачно завершившейся операции она еле ходила, так что вопрос о том, где жить, зависел на этот раз не от комфорта гостиницы, а от ее расположения. Но речь, видимо, шла не об удобстве гостей (в конце концов, хотят жить в худших условиях — это их дело}, а об удобстве тех, кто должен был за ними присматривать. Вероятней всего, техника в «Метрополе» была более высокого качества и всю многократно отработанную надежную процедуру слежки менять

не хотелось. Союз писателей уперся: только «Метрополь», и ничего больше! Уперлись и Арагоны: или «Украина», или приезд отменяется.

Вопрос государственной важности — в какой гостинице остановятся два писателя — пришлось обсуждать на самом-самом верху. В обсуждении приняли участие как минимум дьа члена президиума ЦК (оно заменяло тогда политбюро) — Суслов и Фурцева, три секретаря ЦК — Андропов, Ильичев и Шелепин, а более мелким товарищам просто не было числа. Наконец, в «Украине» что-то, видимо, сделали, справились с техникой, всю агентуру расставили по местам, отрепетировали. Только тогда на «заселение» Арагонов в этом второклассном отеле было дано «добро». 21 декабря они приехали поездом в Москву, 24-го встречали с Лилей Рождество.

И опять было много гостей, и много вкусной еды, и много шампанского, а настроение от этого лучше не становилось. Только что «скинули» Хрущева — было вполне очевидно, что наступает пора «закручивания гаек». Новогодняя ночь тоже прошла без особого вдохновения, хотя Лиля сделала все, чтобы гости чувствовали себя весело и свободно. 7 января, в православное Рождество, Арагону вручали диплом почетного доктора филологии в Московском университете. Лиля хлопала вместе со всеми, вручила ему цветы, но в душе никакого праздника не было: ни Арагоны, ни Лиля не скрывали этого друг от друга.

В те самые декабрьские дни 1964 года неутомимая Людмила, почувствовав, что наступило ее время и надо использовать свой шанс, перешла в наступление, руководствуясь знаменитой строкой партийного гимна: «Это есть наш последний и решительный бой». По согласованию с Воронцовым она потребовала от Суслова (потребовала — не попросила!) закрыть музей-квартиру Маяковского в Гендриковом переулке: «К дому, где сейчас находится музей Маяковского, поэт имел малое отношение, — утверждала она в своем очередном письме, отличавшемся исключительной резкостью тона. — <Это> квартира, которая числилась за Маяковским и которую он содержал за свой счет, как и ее жильцов: О. М. Брика и Л. Ю. Брик. Брат там имел лишь одну маленькую комнату, где иногда ночевал в последние четыре года. Обстановка этой квартиры, как известно мне самой и многим друзьям, была очень нездоровой...»

Почувствовав, что держит Бога за бороду, Людмила в приказном тоне ПОРУЧАЛА Суслову (именно так!) открыть музей в доме в Лубянском проезде (для этого надо было всего-то переселить в новые квартиры 87 жильцов — цена, непосильная

для городского бюджета) и создать «общественный совет» музея, точный состав которого Людмила перечислила в своем письме. Ясное дело, туда входили она сама и неизменные Воронцов с Колосковым. Директивно наглый тон письма почему-то Суслова не возмутил. Напротив, он наложил на нем привычную резолюцию: «Прошу рассмотреть» и переправил письмо в министерство культуры. Для министра сусловское «прошу рассмотреть» означало: «приказываю исполнить». Но предоставление квартир не входило в функцию министерства, такой вопрос был правомочен решить только хозяин Москвы Виктор Гришин, тоже член политбюро.

По давним традициям партийной бюрократии, для «рассмотрения» требовалось время, а инициативной группе не терпелось решить вопрос как можно скорее. Чтобы подтолкнуть к более активным действиям не столько Суслова, сколько множество других начальников, от которых это тоже зависело, к переписке подключился и «работник партаппарата» Алексей Колосков. Он вообще не выбирал выражений. Называя Осипа вульгаризатором и невеждой, скептиком и бездельником, а Лилю — проповедницей разврата, он все внимание сосредоточил на ней, высмеивая ее как «фиктивную любовь» Маяковского.

«В последние годы жизни, — сообщал Колосков своему адресату, все тому же товарищу Суслову, — Маяковский любил Т. Яковлеву, а Л. Ю. Брик в течение своей жизни имела трех официальных мужей — О. М. Брика, В. М. Примакова и В. А. Катаняна». Он пытался ему втолковать, «какая гнусная обстановка окружала Маяковского и что эту обстановку создавали именно они <Осип и Лиля>, живущие за счет средств и славы Маяковского и цепко державшие его в своих руках». «Закабаленный Бриками», «презираемый и третируемый ими», пленник «в логове Бриков» — таким представал Маяковский в этом письме.

Не в силах остановиться, весь во власти совершенно апокалиптических видений, Колосков рассказывал о страданиях Маяковского в этом «логове» и «вертепе»: «Передо мной встает страшная картина преследований и травли, которым неотступно и неустанно подвергали великого поэта революции его враги, многие из которых, как ни странно на первый взгляд, принадлежали к друзьям Л. Ю. и О. М. Брик. Передо мной раскрывается отвратительная картина быта, которым окружили Маяковского Л. Ю. и О. М. Брик, которые имели каждый множество любовников и любовниц и вместе с тем крепко держали возле себя Маяковского, жили в свое удовольствие за его счет, тогда как, по циничному признанию Л. Ю. Брик <...>,

Маяковский сам себе штопал носки, пришивал пуговицы, а по утрам заготовлял себе бутерброды».

Вывод из нарисованного Колосковым кошмара был таким: «...упразднить нынешний музей <то есть музей-квартиру в Гендриковом переулке, открытый только благодаря стараниям Лили после сталинской резолюции>, существование которого есть кощунство над памятью великого поэта». Явно поощряемые влиятельными кремлевскими чиновниками, Воронцов и Колосков поспешили выйти со своими обвинениями и в открытую печать, опубликовав в «Известиях» крикливую статью такого же содержания. Снова в центре статьи была Лиля, и снова ей бросались обвинения в пагубном воздействии на судьбу и творчество Маяковского.

Письма Людмилы и Колоскова, как и газетная статья, были объединены в общем «досье» и представлены Суслову на рассмотрение с анонимной за-миской: «Музей Маяковского в Москве <...> расположен в помещении, где жили Брики, Осип и Лиля, сыгравшие крайне вредную роль в судьбе Маяковского и в его преждевременном уходе из жизни». В анониме легко угадываются почерк и стиль Воронцова — помощника Суслова. Да и кто бы еще мог сопроводить обращения к нему отдельной запиской, даже не подписавшись?

После долгих проволочек, вызванных отнюдь не борьбой в верхах, а обычной бюрократической канителью, секретариат ЦК принял наконец 24 октября 1967 года постановление, на котором стоит гриф: «Совершенно секретно». «Признать целесообразным», было сказано в постановлении, перевод музея Маяковского из Гендрикова переулка в дом в Лубянском проезде (проезд носил теперь имя летчика Серова), «где поэт жил с 1919 по 1930 г. и где им созданы все основные произведения». Ложь этой «констатации» никого, разумеется, не тревожила: перед кем должен был оправдываться секретариат ЦК, кому доказывать свою правоту? Главное было сделано: созданный усилиями Лили мемориал Маяковского, воспроизводивший подлинную картину его жизни такой, какая она была, перестал существовать. Перестал ради одной-единственной цели: вытравить из биографии поэта Лилю и Осипа Брик.

Шлюзы открылись — хлынула вода. Для потока грязи и поношений больше не существовало никаких преград. Торжествуя победу, при поддержке Воронцова (то есть, иначе сказать, самого Суслова), Людмила и Колосков выпустили сборник воспоминаний о Маяковском его «родных и друзей», где друзьям-то как раз и не нашлось никакого места. Кроме перепечатанных из различных газет и журналов официально-мемуарных статей, составители

опубликовали фрагмент из рукописи художницы Елизаветы Лавинской — той самой, которая «подозревается», будто она (а может быть, и не будто...) является матерью сына Маяковского — Никиты. Ее чувства к Лиле нетрудно понять — их-то и обнажила она с предельной откровенностью, будучи тяжко больной, в своем манускрипте, созданном в 1948 году и попавшем в руки воронцовско-колосковскои компании.

Об остроте чувств мемуаристки свидетельствуют следующие пассажи из этого манускрипта: «В памяти запечатлелась фигура великого поэта, его беспомощно опущенные руки. Рядом визгливый крик Лили Юрьевны, ироническая улыбка Осипа Максимовича и мрачная тень фанатичного догматика с лицом иезуита— Сергея Третьякова»... Или такой: «Лиля Юрьевна принимала на крыше солнечные ванны и одновременно гостей. <...> Не знаю почему, но я почувствовала тогда себя невыносимо скверно. Слезы Лили Юрьевны, ее злое лицо, дергающиеся губы <....>. От этого нового, бриковского быта несло патологией». Зато «от Людмилы Владимировны веяло каким-то внутренним, физическим здоровьем <....>. С ней так легко было дышать после этого балкона с возлежавшей голой Лилей, исходящей злостью и слезами из-за страха упустить Маяковского».

Под стать оценкам были и «факты». О Маяковском мемуаристка почему-то слышала от Лили одни только гнусности. В силу непонятных причин Лиля избрала Лавинскую своей конфиденткой и говорила ей о поэте: «Какая разница между Володей и извозчиком? Один управляет лошадью, другой — рифмой». Таков уровень этих «воспоминаний», которые призваны были низвергнуть Лилю руками людей вроде бы из ее же «крута».

В апреле 1968 года, незадолго до отлета в Париж, я встретил Бориса Слуцкого возле писательской поликлиники и пошел его проводить. Был непривычно теплый для весенней Москвы солнечный день, и Слуцкий тяготился своим хоть и распахнутым, но не по сезону пальто. Он был молчалив, говорил главным образом я, а он изредка вставлял какие-то слова для поддержания разговора. Жена его, Таня, тяжко болела, надежды фактически не было никакой (Лиля не один раз устраивала ей для лечения поездки в Париж). Я знал это и даже что-то спросил про ее здоровье, но от ответа на этот невыносимый для него вопрос Борис уклонился.

В основном говорили о том, что творилось тогда в Чехословакии, Вдохновленный последней речью Дубчека, которую мне удалось, продравшись сквозь вой глушилок, услышать по радио «Свобода», я почему-то был полон наивного оптимизма, но умудренный житейским опытом Слуцкий коротко

и решительно, не вдаваясь ни в какие объяснения, охладил мой пыл: «Кончится катастрофой».

Уже прощаясь, он вдруг вроде бы невпопад сказал: «Вчера был у Лили Юрьевны. Затравят ее. Надо что-то делать». Всей подоплеки — той, что рассказана выше, — я тогда, конечно, не знал, а Борис не стал вдаваться в подробности, только спросил: «Писать в ЦК? Или совсем бесполезно, ты как думаешь?» Я не мог дать никакого совета хотя бы потому, что не владел информацией. Совета, по-моему, он и не ждал. Скорее всего, этот вопрос был обращен не ко мне, а к себе самому. И вероятно, он еще долго — себе же — задавал его, потому что, как мы знаем теперь, лишь в конце июня написал самому Брежневу, дабы, сказано в письме, «привлечь <…> внимание к некоторым обстоятельствам литератур ной жизни».

«С развязной грубостью, — писал Слуцкий, — в манере детективного бульварного романа, Воронцов и Колосков пытаются доказать, что ближайшие друзья Маяковского — Асеев, Третьяков, Осип Брик, Кирсанов активно участвовали в травле, подготовившей самоубийство поэта. В том же уничижительном духе трактуются многие выдающиеся деятели советской культуры, например Илья Оренбург». Но «главная задача этих выступлении, — подчеркивал Слуцкий, — опорочить Лилю Юрьевну Брик, самого близкого Маяковскому человека, которую он любил всю жизнь и о которой писал всю жизнь». Письмо завершалось короткой фразой: «Прошу Вашего вмешательства» и информацией о том, что автор письма— член КПСС с 1943 года (вступил в партию на фронте) и имеет партийный билет номер 4610778.

До адресата письмо, разумеется, не дошло, его отфильтровали в подотделе писем общего отдела ЦК, снабдив пометкой двух партчиновников: «Тов. Слуцкому сообщено, что редакциям газет и журналов предоставлено право самим решать вопрос о целесообразности публикаций тех или иных статей, не имеющих официального характера». Инцидент был исчерпан. «Или совсем бесполезно?» — вопрос этот и был ответом. Слуцкий, конечно, сам хорошо знал заранее судьбу своего обращения на высочайшее имя, но позволить себе промолчать просто не мог.

Что же это за сочинения «в манере детективного бульварного романа», которые заставили Слуцкого переломить самого себя и все-таки обратиться за помощью к «уважаемому Леониду Ильичу»? Что побудило писать в ЦК по тому же поводу — и с тем же, разумеется, результатом — поэта Семена Кирсанова и критика Зиновия Паперного? Даже Константин Симонов, с его положением, именем и связями, даже он не смог пробить своим

«открытым письмам» дорогу ни на страницы газет, ни к какому-либо высокому партийному чину, несмотря на неоднократные просьбы.

Волна протестов явилась следствием даже не столько известинской статьи, сколько публикации в трех номерах журнала «Огонек» (его возглавлял один из самых бездарных и самых злобных советских литературных бонз, Анатолий Софронов) новых статей Воронцова и Колоскова «Любовь поэта» и «Трагедия поэта», где почти в тех же выражениях, что и в секретной переписке, обливалась помоями Лиля и придавался зловещий, едва ли не криминальный характер ее отношениям с Маяковским. Из этих статей явственно вытекало, что не кто иной, как она, вместе с Аграновым и всем их «сионистским логовом», явилась виновницей гибели Маяковского, который любил по-настоящему вовсе не лицо сомнительного происхождения, сомнительных корней, сомнительного поведения — Лилю Брик, а только чистую и благородную русскую девушку Татьяну Яковлеву, с которой имел намерение создать прочную и здоровую советскую семью. За то и был «устранен»...

Времена, казалось бы, изменились, ни лубянская камера, ни ГУЛАГ Лиле уже не грозили, но почему-то этот удар судьбы она переживала мучительней, чем все предыдущие. И даже не искала спасения в алкоголе. Тот факт, что мысль о самоубийстве у нее реально существовала, подтверждается хотя бы тем, что именно в это время она составила завещание — не юридическое, со всеми формальностями, заверенное у нотариуса, — а скорее моральное, эмоциональное, человеческое, такое же — по стилю и духу, — какое оставил в своем блокноте Маяковский, загодя готовясь к смертельному выстрелу. Ни о том, что такое завещание есть, ни тем более о его содержании тогда никто не знал: его нашли лишь после того, как Лили не стало.

Вообще вторично пережить то, что однажды было уже пережито, с чем уже удалось справиться, преодолеть, возвратиться к жизни, — пережить это вторично гораздо труднее, чем в первый раз. Особенно после того, как жестокая несправедливость по отношению к убиенным была вроде бы восстановлена и правда восторжествовала. Теперь взялись за нее — не косвенно, а впрямую, — возведя обвинение, чудовищнее которого она не могла и придумать.

Кто же она, Лиля Брик, по новой версии, утвержденной на самом верху? Оказывается, не любовь поэта, не его муза, не та, которая сделала все возможное и невозможное, чтобы он занял место, ему подобающее, в обществе, в умах, в истории, а — его убийца! Не только в метафорическом, но едва ли и не в

буквальном смысле. Дьяволица, вложившая в руки ему револьвер и понудившая нажать курок. А то и того хуже: участница заговора, итогом которого явилось его убийство, то есть событие, подлежащее рассмотрению не литераторами, а юристами.

Такой теперь представала она, и против этого обвинения ничего не могла возразить, ибо не только она сама — ни один защитник ее нигде не получил трибуну, чтобы вымолвить хотя бы слово. Жизнь между тем шла к закату, сил становилось все меньше, и не было больше надежды на то, что она дождется того времени, когда обвинители будут посрамлены, а их тайные цели раскрыты.

Но сознание правоты и исчезнувший страх оказались сильнее физической немощи. Чего она, собственно, могла бояться? Клеветы? Но те, кого она уважала и чтила, были с нею, до остальных же ей вовсе не было дела. В семьдесят семь лет начинаешь по-другому смотреть на многое и жизненные ценности предстают в ином свете.

В самый разгар воронцовско-колосковской травли гонениям— иначе и по другому поводу— подверглись и Плисецкая с Щедриным. Балет «Кармен-сюита», созданный композитором по мотивам Бизе специально для Майи, был на грани запрета за «эротическую хореографию». Вся сталинская рать в музыке присоединилась к хору хулителей. Композитора и балерину поддержал Шостакович. Наряду с другими деятелями культуры, вставшими на защиту искусства от малограмотных администраторов и злопыхателей, оказались Лиля и Катанян. Порочный принцип «защити сначала себя, а потом защищая других» был им совершенно чужд. Как и чуждо уныние, отравляющее настроение близким.

Лиля по-прежнему принимала гостей — теперь нередко на даче, а не в городе, благо рядом жили или часто приезжали из Москвы милые ее сердцу люди. Была, как всегда, жадна до стихов — новых и талантливых. Из современных поэтов выделяла Слуцкого, Вознесенского, ленинградца Соснору.

Однажды, по счастливому случаю, Соснора оказался в Москве, когда на даче (общей с Ивановыми) отмечали день рождения Вячеслава Всеволодовича Иванова (больше известен по сохранившемуся с детства имени Кома) — лингвиста, переводчика, эссеиста. Пришел гостивший тогда в Москве Роман Якобсон со своей польской женой Кристиной Поморской. Лиля привела Соснору — он читал свои стихи. А Кома читал стихи Иосифа Бродского — они были тогда для многих новинкой. Поэт все еще отбывал ссылку на Севере как «тунеядец», до его всемирной славы оставались годы. Но собравшимся

официального признания было не нужно: в стихах здесь разбирались все до единого. «Поэзию не задушили — так, по воспоминаниям присутствовавших, отреагировала Лиля на прочитанные Комой стихи. — И не задушат». Сознание этого тоже придавало ей силу.

Июнь 1968 года. Париж. Запись беседы с Эльзой Триоле.

«Мы слишком долго молчали, когда в Советском Союзе происходило нечто несусветное, а если говорили, то тщательно выбирали выражения, например, по делу Синявского и Даниэля два года назад. Боялись за Лилю, боялись за оставшихся там друзей, И не хотели порочить Советский Союз, потому что мы не попутчики, мы настоящие друзья. По убеждению... Но— все, хватит! Эта разнузданная война против старой, больной, совершенно беззащитной женщины — кто мог себе это позволить? Зачем? Своей клеветой они же не Лилю унижают, они Володю превращают в ничтожество, которым якобы можно было помыкать и вертеть как угодно. Но разве можно помыкать талантом? Это же чушь собачья, но они этого просто не понимают. Володя гений, осознававший свой гений, а Колосков выставил его каким-то жалким хлюпиком, подкаблучником, которого окрутила злая ведьма.

Но и это еще было бы полбеды. Статьи в «Огоньке» откровенно антисемитские, кому-то не терпится вернуться к делам «космополитов» и «убийц в белых халатах». Лиля только повод, причина гораздо глубже. Симонов считает, чти антисемитская кампания будет разворачиваться и дальше. Он не понимает, кому и зачем это сейчас, нужно, но считает, что положение очень серьезное. Они выбрали Лилю как удобную мишень, но этим лишь показали ее значительность. Кто ничего собой не представляет, тот не может служить мишенью. Мы с Арагоном решили, что будем публиковать протест. И спрашивать разрешения ни у кого не намерены, потому что борьба с антисемитизмом — это дело каждого порядочного человека, каждого, кто не утратил чести, так что никакого дозволения для этого не требуется».

Статьи, о которых говорила Эльза, были, видимо, уже готовы, хотя бы вчерне, потому что вскоре первая из серии публикаций — ответ на черносотенные огоньковские пасквили — появилась в редактировавшемся Арагоном еженедельнике «Летр франсез», Тон этих статей был все-таки чуть мягче и чуть спокойнее, чем возмущенный монолог Эльзы перед московским гостем. Но это было нормально. Письменная речь, тем более обретшая печатную форму, должна быть более сдержанной и более осторожной, чем устная, — у себя дома, без всяких внутренних тормозов.

Эльза напомнила в своих публикациях, что Маяковский сам выбирал себе друзей, что свое окружение. где ему было легко и творчески интересно, он никогда не менял, что наивным простаком он никогда не был и окрутить себя не позволял никому. А любить не того, кого посмертно ему повелели, а того, кого ему хочется, он вправе, как и любой человек, и никакие антисемиты, как бы они ни старались. отменить это право не в состоянии. Подписи Арагона под этими статьями не было, но она стояла под всем изданием в целом.

Результат не заставил себя ждать. Этим было доказано, что травля Лили и вся кампания, затеянная Воронцовым - Колосковым — Софроновым, в которых Людмила нашла вожделенную опору, — не самодеятельность «отдельных» антисемитов, а дело рук самого большого партийного начальства. Меры были избраны жесточайшие. Распространение еженедельника «Летр франсез» в Москве было тотчас запрещено (до запрета этот литературный еженедельник, отнесенный к числу «прогрессивных», продавался во многих газетных киосках Москвы, Ленинграда и других больших городов). На 1969 год в Советском Союзе у газеты вдруг не осталось ни одного подписчика. Права выписать ее были лишены даже главная библиотека страны и научно-исследовательские центры, имевшие так называемый спецхран.

Точно такие же меры были приняты по московской указке во всех странах «народной демократии». Это была совершенно откровенная, ничем не закамуфлированная месть: и в Москве, и в Париже хорошо понимали, что без финансовой поддержки из-за «железного занавеса» долго выдержать газета не сможет. Однако же она стойко держалась почти четыре года, мучительно пытаясь выжить. И в 1972 году перестала существовать: Суслов и его компании своего добились.

Конечно, не только Лиля была тому причиной. Вторжение советских танков в Чехословакию заставило вздрогнуть (увы, ненадолго) даже самых верных из верных. Глава французской компартии Вальдек Роше и тот отважился выразить свое недовольство. «Братские» партии, вечно верные «прогрессивные» западные интеллигенты — тем более. Об Арагонах нечего и говорить. Они опасались, что их позиция отразится на положении Лили. Опасались не зря. Но Лиля нашла способ им сообщить, чтобы поступали так, как считают нужным: положение заложницы тяготило и унижало ее, а сдержанность Арагонов все равно никому на пользу не шла.

Несмотря на последствия публикации статей Эльзы для газеты и лично для Арагонов (ни о каких поездках в Москву,

разумеется, уже не могло быть и речи), от Лили, по крайней мере внешне, воронцовская команда отстала. Добившись главного — закрытия музея в Гендриковом, — они затаились и приступили к перегруппировке сил. Лиля, пусть только на время, могла вздохнуть свободно.

Но горечь не покидала ее. Она усугублялась тем, что близкие друзья перестали приезжать в Москву. Так получилось, что Романа Якобсона вторжение советских танков застало в Праге: он участвовал в проходившем там Международном конгрессе славистов. Это было для него таким потрясением, что уже намеченную поездку в Советский Союз он отменил и не приезжал после этого еще десять лет. Так же поступили многие другие близкие Лиле люди: в противном случае им предстояло либо фарисействовать, либо открыто высказать то, что они думали. По разным причинам и для разных людей было неприемлемо ни то ни другое. Те, кому была дорога Лиля, боялись, в частности, за ее судьбу. Женщина, которой исполнилось уже семьдесят восемь лет и которая не занималась никакой политической деятельностью, по-прежнему не чувствовала себя в безопасности. И расплачивалась все за то же: за то, что была Лилей Брик.

В ПАУТИНЕ ИНТРИГ

Шестнадцатого июня 1970 года умерла Эльза. Я видел ее ровно за два года до этого — можно сказать, день в день: 15 июня 1968-го. Ничто тогда еще не предвещало конца. Она жаловалась на слабость, на разные недуги, но была полна и энергии, и планов. Впрочем, два года — огромный срок, а волнения, которые Эльза испытала из-за Лили, события в Москве, которые отнюдь не косвенно касались и ее самой, — все это, конечно, не могло пройти даром.

Никаких препятствий для поездки Лили на похороны сестры не возникло. Все формальности были исполнены за каких-то два часа, и вместе с Катаняном она тотчас вылетела в Париж. Печальный повод собрал много известных людей — и политиков, и деятелей культуры. Они пришли проститься с Эльзой, чьи похороны взяла на себя ФКП, хотя членом партии Эльза не была. Лиля познакомилась с теми, кого не знала раньше, а с некоторыми завязала и более прочные связи. В траурной церемонии на бульваре Пуасоньер, где помещается штаб французских коммунистов, участвовали не только Марше и Дюкло, но и советский посол Валерьян Зорин, получивший указание из Москвы выразить Лиле и Арагону глубочайшие соболезнования. Пришли еще Пабло Неруда (его присутствие было очень дорого Лиле), пришли Эдгар Фор, актер и режиссер Жан Луи Барро, писатель Пьер Эммануэль и другие. Их участие и неподдельная скорбь хоть в какой-то степени смягчили горечь потери.

Декабрь 1976 года. Москва. Запись беседы с Лилей при прощании после рождественского вечера.

«Вы видели Эльзочку? Вы говорили с ней? Спасибо, что не забыли об этом сказать: вы теперь мне стали еще дороже. <Понимаю, конечно, что это не более чем стремление сделать приятное гостю. Но в голосе была такая искренность, что не поверить в нее было попросту невозможной С ее уходом образовалась невосполнимая пустота. Мне все время хочется ей написать, а среди писем, которые приходят, я невольно ищу письмо от нее. Каждый день вспоминаю то один эпизод, связанный с нею, то другой. И получается, что мы всегда были вместе, даже когда разлучались на годы.

Она научила меня любить Францию, до этого моей заграницей была Германия. Раньше я обожала Германию, а теперь прикипела к Франции — это все Эльзочка, ну и Арагоша, конечно. Поверите ли — страшно сказать, но мне на похоронах Эльзочки

было как-то тепло, совсем по-домашнему, такие были кругом милые люди, совсем свои. И от этого печаль была совершенно другой. Ее во Франции так любили, у нее были такие верные друзья, все они стали теперь и моими, даже те, кого я раньше не знала. Вы не рассердитесь, если я вам скажу: мне в Париже легче, чем в Москве. Больше внимания, больше искренности — так, во всяком случае, я чувствую. Вы не согласны со мной, Вася? <К Катаняну она обращалась на «вы». Подождала мгновение его реакции. Катанян молчал. Явно огорченная его молчанием, Лиля сразу потускнела, и голос стал почему-то другим.> Возможно, я не права, не знаю, не знаю...»

Вряд ли она ошибалась. Как не понять, почему в Париже ей было легче, чем в Москве? Ничего, кроме комфорта, приятных впечатлений, уважения, поклонения и, главное, общества, близкого ее душе, — ничего другого ей Париж не давал, куда бы она ни пошла, с кем бы ни встретилась, в каком бы мероприятии ни приняла участия. А в Москве она могла ощущать себя до известной степени в психологической безопасности, лишь замкнувшись у себя дома. Близкие пытались, не всегда успешно, оградить ее от слухов, которые ползли по чьему-то наущению, один омерзительнее другого. Уже никого не стесняясь и не боясь никакой ответственности, анонимы — из той же компании! — стали ее называть убийцей Маяковского. Все те же люди плели вокруг нее сети интриг, добиваясь прежде всего полной ликвидации каких бы то ни было следов мемориала в Гендриковом переулке. Для Людмилы это стало просто навязчивой идеей, граничившей с сумасшествием, она заваливала Кремль письмами, требуя искоренить в любой форме даже намек на то, что Маяковский имел хоть какое-то отношение к общей с Бриками квартире. Ее ненависть к Лиле приобретала просто клинический характер. Но все ее ультиматумы были упакованы в такой идеологический футляр, который заведомо обеспечивал им серьезное к себе отношение на самом верху.

Дом, где завершилась жизнь Маяковского, был полностью реконструирован, все жильцы переселены, среди гигантских залов с мертвыми экспонатами затерялась та крохотная комнатка-пенал, которая еще хранила память о поэте. Создавая этот, насквозь фальшивый, монументальный — в классических советских традициях — музей Маяковского, власти все же были готовы оставить и старое музейное помещение (Гендриков переулок), превратив его в публичную библиотеку имени поэта. Даже этот, весьма скромный и ничем не посягающий на ее аппетиты проект вызвал гнев Людмилы, решившей по такому случаю обратиться уже на высочайшее имя.

В письме Брежневу (декабрь 1971-го) Людмила сразу же брала быка за рога: «Мне стали известны источники <…> нездоровых интересов вокруг старого здания музея. Эти «источники»> надеются растворить коммунистическую поэзию Маяковского в бесчисленных анекдотах о «советской Беатриче», как рекламирует себя Брик, пошлых аморальных разговорах, перечеркивающих светлую память о брате и о народном поэте. Он расплачивается за свою молодую двадцатидвухлетнюю доверчивость, незнание ловких, столичных женщин, за свою большую, чистую, рожденную в сознании, на берегах Риона <река в Грузии, невдалеке от которой стоит город Багдати, где родился Маяковский>, — любовь».

«Никакие мотивы, — продолжала Людмила, — не могут примирить честных советских людей с такой постановкой вопроса, Брики — антисоциальное явление в общественной жизни и быту и могут служить только разлагающим примером, способствовать антисоветской пропаганде в широком плане за рубежом. Здесь за широкой спиной Маяковского свободно протекала свободная «любовь» Л. Брик. Вот то основное, чем характеризуется этот «мемориал». <…> Брики боялись потерять Маяковского. С ним ушла бы слава, возможность жить на широкую ногу, прикрываться политическим авторитетом Маяковского. Вот почему они буквально заставляли Маяковского потратиться на меблированные бриковские номера… Сохранение этих номеров вредный шаг в деле воспитания молодежи. Здесь будет паломничество охотников до пикантных деталей. Волна обывательщины захлестнет мутной волной неопытные группы молодежи, создаст возможность для «леваков» и космополитов организовывать здесь книжные и другие выставки, выступления, доклады, юбилеи <…> предателей и изменников отечественного и зарубежного происхождения. <…> Я категорически, принципиально возражаю против оставления каких-либо следов о поэте и моем брате в старом бриковском доме…»

Нет сомнения в том, что вся эта демагогия с откровенно антисемитским душком и нескрываемой личной злобой по отношению к престарелой Лиле вполне пришлась по душе тем, кому она и была адресована. Но бюрократическая машина— при обязательном, по советской традиции, множеством «согласований» — раскручивалась очень медленно, а жизнь Людмилы подходила к концу. Все те люди, которые вознамерились захватить монопольное право распоряжаться наследием Маяковского, видели именно в ней свою самую надежную опору. Не Лиля — «за широкой спиной Маяковского», а Воронцов с Колосковым и все их окружение — именно они

прятались «за широкой спиной» Людмилы, решая свои задачи. «Спина» уходила — Людмиле шел восемьдесят девятый год...

Тогда директор музея Маяковского, Сусловым и назначенный, — Владимир Макаров — пошел на совершенно беспрецедентный шаг. Он сочинил «гражданское завещание» Людмилы, якобы продиктованное ею за неделю до смерти. Даже если она его не диктовала, то охотно бы под ним подписалась. Но она не подписалась. Что же в течение почти семи дней мешало ей это сделать, если она была в состоянии продиктовать текст объемом около двадцати машинописных страниц— с цитатами из источников, обилием цифр и имен?

Ничуть не обеляя эту женщину, чья агрессивность по отношению к Лиле превосходила всякую меру, разумнее считать, что ее «завещание» — не более чем апокриф, хотя и по тональности, и по содержанию вполне характерный для ее «почерка». Формулировки некоторых пассажей вообще не соответствуют «словарю», а тем более физическому состоянию умирающей Людмилы. Сколь же велика была охотничья страсть новых «маяковедов», чтобы пойти даже на такую фальсификацию, «заверенную» подписями помощника Макарова («на общественных началах») и домработницы, обслуживавшей старуху!

«Октябрь 1917 года, — извещала Людмила советского генсека, — дал миру поэта Маяковского. Новаторский характер его искусства был подготовлен всем ходом русского освободительного движения, революционной Грузией 1905 года и окончательно оформлен и закреплен новаторским характером и содержанием Великой Октябрьской революции». Так, по мнению записывавшего «завещание» Владимира Макарова, должна была излагать свою последнюю волю тяжко больная, умирающая женщина более чем преклонных лет.

После вступительной «историко-революционной» лекции завещательница переходила к делу. Она давала указания, как следует отметить восьмидесятилетний юбилей Маяковского в июле 1973 года. «Этот день, — поучала она, — <...> должен превратиться во Всенародный праздник. Союз писателей в отрыве от представителей советской общественности <то есть от Воронцова — Колоскова — Макарова> готовит предложения по проведению этого торжества. Особую активность в этом направлении развивает К. Симонов, которому я не доверяю совершенно. Он тесно связан с Арагоном, В. Катаняном и его женой Л. Брик, Кирсановым и др. Я категорически протестую против участия К. Симонова и указанных лиц в каких-либо делах Маяковского».

Далее в «завещании» предлагалось создать юбилейный комитет, состав которого был тоже, естественно, обозначен. «В состав комитета должен войти <…> директор ныне создаваемого Государственного музея В. В. Маяковского <…> тов. Макаров В. В, (В. В. Макаров: Людмила Владимировна, может быть, не нужно меня указывать. Мне это неудобно как-то… Вас записываю и сам себя рекомендую!..) Л. В. Маяковская: Без вас никак нельзя. Вы самый близкий мой родственник. <…> А еще В. В. Воронцов, Н. И. Бурмистров <«помощник» Макарова, «заверивший» своей подписью это «завещание» >».

Совершенно очевидно, что со смертью Людмилы антибриковская КАМПАНИЯ могла захлебнуться, поскольку антибриковская КОМПАНИЯ теряла главный мотор, да и фасад, которым можно было прикрывать свои действия. Поэтому все они торопились под занавес ухватиться хотя бы за «последнюю волю» сестры Маяковского. «Я категорически возражаю, — говорилось далее в этом беспримерном документе, — чтобы в торжествах участвовали так называемые «друзья» Володи, его «биограф» В. Катанян, Л. Брик < следует большой список «так называемых», в котором есть и Евгений Евтушенко, и Андрей Вознесенский>. <…> Я с полным основанием утверждаю, что у К. Симонова, В. Катаняна, Л. Брик, С. Кирсанова и других, котооых они умело обрабатывают, никогда не было и не будет любви к Маяковскому, к его семье. <…> Мой брат <…> всю жизнь был вынужден платить за необдуманное увлечение Л. Брик-Каган в юности… Кто такая Л. Брик, говорят многочисленные воспоминания, документы, да и она сама, например, в статьях о Маяковском, опубликованных после смерти брата <…>».

Еще один пассаж из этого документа заслуживает цитаты, но ее надо предварить небольшим объяснением. Выдающийся французский балетмейстер

Ролан Пети поставил балет «Зажгите звезды» — хореографическую историю любви Лили и Маяковского. Средствами своего искусства Ролан Пети создал восторженный гимн неувядающей силе чувств поэта и его музы. Труппа «Марсельского балета» была приглашена с этой постановкой в Москву, но вмешались, естественно, все те же силы, и приглашение отменили. С очень страстной защитой балета — его музыкальных и сценических качеств — выступила Майя Плисецкая на страницах сугубо профессионального журнала «Музыкальная жизнь».

В «завещании» Людмилы об этом сказано так «С каким стыдом за балерину Майю Плисецкую я узнала на днях о ее интервью («Музыкальная жизнь», номер 16, 1972) по поводу

«Марсельского балета» «Зажгите звезды» (о Маяковском) — сплошной апологии Л. Брик и Л. Арагона, которых она представляет в журнале Союза композиторов и Министерства культуры СССР не меньше как людей «преданных памяти поэта» (?!). а Л. Брик «Вечной Музой поэта».., Мне думается, прошу Вас, с тем, чтоб не порочить имя моего брата, пресекать такие пошлые выступления в советской печати. Они делают больше вреда, чем пользы. Вечная Муза не стреляет в поэта. Л. Брик способствовала выстрелу 14 апреля 1930 года».

И дальше — совсем уже потеряв контроль над собой, вообще забыв о необходимости соблюсти хоть какое-то правдоподобие — сочинители документа от имени умирающей Людмилы давали правительству указание об «окончании работ по благоустройству территории» музея, об «устранении строительных недоделок», о сроках завершения работ по созданию экспозиции, об увеличении окладов сотрудников и, наконец, о самом главном. «Исполнителями моей воли, — писали они опять же от имени Людмилы, — будут директор музея В. В. Макаров и коммунисты В. В. Воронцов и Н. И. Бурмистров». Представить себе, чти этот, почти пародийный, апокриф будет хоть кем-то воспринят всерьез, было попросту невозможно.

Ан нет!.. Дождавшись смерти Людмилы, последовавшей 12 сентября 1972 года, Макаров послал «завещание» в секретариат Брежнева со своим сопроводительным письмом: «Прошу доложить лично Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Леониду Ильичу Брежневу о гражданском завещании старшей сестры великого советского поэта Людмилы Владимировны Маяковской...» Воронцову не трудно было договориться с секретариатом, чтобы генеральному секретарю «доложили». И появилась личная брежневская резолюция: «Суслову М. А. Михаил Андреевич! Прошу ознакомиться с настоящим письмом — а затем посоветуемся. Л. Брежнев».

На самом ли деле они держали какой-то совет, сказать трудно, но вопрос о том, как (и с чьим участием!) праздновать приближающийся восьмидесятилетний юбилей Маяковского, был вынесен на заседание специальной комиссии Союза писателей СССР. Макаров и вся его рать были приглашены тоже, а Лиля и Катанян, разумеется, нет: их судили заочно.

Союз писателей, то есть, иначе говоря, литературное начальство, всегда беспрекословно исполнял указания свыше. На этот раз, видимо, категорически четких, безапелляционных, не подлежащих обсуждению указаний не поступило. Нажимать — нажимали, но сопровождая это «демократической» демагогией: обсудите, дескать, посоветуйтесь коллегиально и примите

правильное решение, отвечающее принципам коммунистической идеологии и задачам по выполнению народно-хозяйственных планов. Формулы гибкие, понятные для посвященных, но дающие возможность желающим сыграть в такую же демагогию, наполняя те же самые формулы иным содержанием. Такой ситуацией и воспользовались те, кого особо коробила беспардонная акция группки окололитературных пиратов.

Поэт Алексей Сурков, один из секретарей Союза писателей, когда-то лично знавший Маяковского, конформист до мозга костей, запустил пробный шар, дав вроде бы «чисто объективную» информацию и не высказав своего отношения к ней: хотел понять, какой будет реакция собравшихся. «Мне из разных концов сообщают, — сказал он, — что по Москве распространился слух, что Маяковский не застрелился, а его убили Брики и Агранов... что посмертное письмо Маяковского поддельное». От обсуждения этого слуха собравшиеся предпочли воздержаться, не хотелось совсем уж вывалять в грязи свои имена.

Константин Симонов, предварительно обсудив вопрос с первым секретарем Союза писателей Георгием Марковым и заручившись его поддержкой, решительно выступил с защитой. Шли от облыжных обвинений: «История жизни Маяковского есть история его жизни, а не история наших симпатий или предубеждений. И если Маяковский, предваряя за полтора года до смерти своей автобиографией свое собрание сочинений, считает нужным назвать дату своего знакомства с Бриками радостнейшей датой, о в адресованном правительству посмертном <так н тексте> письме пишет — стихи отдайте Брикам, они разберутся, -— то лишить этих людей того места, которое они занимали в биографии Маяковского, можно только временно и насильно».

Еще резче выступил поэт Роберт Рождественский. Не только его стихи, но и внешность напоминали Маяковского, и он всегда стремился — вольно или невольно — подчеркнуть это сходство. «Если у человека сорок и пятьдесят процентов лирических произведений посвящено Лиле Брик, — сказал он, — то хоть мы все застрелимся, они все равно будут посвящены Брик, и никому другому... Не надо делать из Маяковского человека, пьющего исключительно кипяченую воду <намек на известные строки Маяковского о себе из вступления к поэме «Во весь голос»: «певец кипяченой / и ярый враг воды сырой»>».

Расчет колосковцев на безоговорочную поддержку со стороны сочувствующих им людей из числа участвовавших в заседании не оправдался. Даже их сторонники предпочитали не выглядеть стопроцентными извратителями истины. Литературовед

Мстислав Козьмин, возглавлявший «родственный» музей — музей Горького, — тоже вынужден был отметить: «Игнорировать окружение Маяковского, в частности Бриков, нелепо. Нравится нам это, не нравится, это было. Л. Брик стала навсегда фактом и жизни, и поэзии Маяковского». Казалось бы—- и бесспорно, и очевидно: можно на этом поставить точку. Нет, следует дополнение, ничего не объясняющее и только напускающее тумана: «Но одно дело женщина в поэзии, другое в жизни». Понимай как хочешь...

Не остался бессловесным и Владимир Макаров, высказался тоже: «Что касается Л. Брик и так далее... Ясно одно: восприятие Маяковского у Симонова, у людей, которые видели Маяковского, — одно, а у нас несколько другое». Ни Симонов, ни Рождественский Маяковского тоже не видели, да и надо ли было его видеть, чтобы не извращать историю? Задавать такие вопросы было некому и бесполезно.

Заместитель Макарова, некто Захаров, гнул свое: «В окружении Маяковского мы выделяем такие фигуры, как Горький, Серафимович... Но ни в коем случае мы не хотим на такой же основе давать таким же планом такие фигуры, как Бурлюк, Крученых, Брики и т. д.». Горький и Маяковский на дух не выносили друг друга, малограмотный казацкий писатель Серафимович не имел к Маяковскому никакого отношения, а с Бриками и Бурлюком связана вся его жизнь. Но какое дело до исторической правды было тем, кто преследовал любыми средствами совершенно определенную цель?

Уже после смерти Людмилы в 1973 году вышел очередной— ежегодный— альманах «Поэзия». И там вдруг появилось стихотворение умершего незадолго до этого поэта Ярослава Смелякова, в котооом были такие обращенные к Маяковскому строки: «они тебя доконали, эти лили и эти оси». Еще того больше: именно эти стихи все тот же неутомимый Макаров включил в свой комментарии к очередному собранию сочинений Маяковского, которое выпускал журнал «Огонек». А во главе «Огонька» стоял все тот же Софронов, — одни и те же люди, пользуясь покровительством Суслова, продолжали свою погромную акцию, надеясь и в самом деле доконать не только Лилю, но и Маяковского, изобразив его таким, каким им хотелось его видеть, а ни таким, каким он был на самом деле.

Но макаровский комментарий Лиля уже не увидит — он выйдет в свет после ее кончины. Не увидела она, к счастью, и альманах «Поэзия» с кощунственными стихами Смелякова: близкие просто скрыли от нее это издание. Вскоре выяснилось, что Смеляков написал эти стихи в привычном для последних лет

его жизни раздраженном и болезненном состоянии, подогреваемый всевозможным вздором, который нашептывали льнувшие к нему собутыльники вполне определенной ориентации. Придя в себя, он потребовал изъять это стихотворение из готовившейся к изданию книги своих стихов. И вскоре умер. Но стихи уже попали в руки воронцовцев — колосковцев, и они сумели их втиснуть в альманах «Поэзия», не испросив согласия обладателя авторских прав — вдовы поэта.

Итоги этой скандальной истории подвел Константин Симонов: «Те, кому втемяшилось в голову всеми правдами и неправдами напечатать это стихотворение во имя сведения своих окололитературных счетов с женщиной, присутствие которой в поэзии и биографии Маяковского было им поперек души, не остановились ни перед оскорблением памяти Маяковского, ни перед неуважением к последней воле Смелякова...» И добавим к этому, размножили чудовищное обвинение Лили в убийстве поэта тиражом в 600 тысяч экземпляров...

...Лиля существовала теперь как бы в другом измерении. Притерпевшаяся к хуле, осознавшая, что столь сильная ненависть к ней прямо пропорциональна силе любви, связывавшей ее с Маяковским, она жила лишь в кругу своих интересов, делая то, что считала нужным, и не участвуя ни в каких сварах, которые, вопреки мнению Симонова, были вовсе не «окололитературными». Откровенно заявившая о себе уже тогда, но расцветшая пышным цветом в эпоху «демократических свобод», антисемитская вакханалия преследовала одну — главную — цель: насильственно отсечь от Маяковского любимую женщину и ближайших друзей, увы, еврейского происхождения. Лиля расплачивалась и за свои этнические корни, и за то, что фактически ей одной суждено было стать постоянной музой поэта.

Презирая и отвергая интриги, которые плелись вокруг нее, она отнюдь не утратила вкуса к жизни, интересуясь всем, чем жила всегда и что оказывалось теперь в центре внимания той среды, к которой всегда принадлежала. Она много читала, посещала выставки, ходила в театры и на концерты. Вкусы ее всегда были индивидуальны, таковыми и остались: она не считалась с тем, насколько они совпадают с устоявшимся мнением пусть даже и близких, уважаемых ею людей.

Бывая во Франции, она имела возможность читать литературу, продолжавшую оставаться запретной в Советском Союзе, Прочла и Набокова — его книги принесли ей полное разочарование. Особо отвергла «Дар» и «Лолиту», которую иронически называла «гимназической дребеденью». «Ну, нравится

ему <Гумберту Гумберту, герою «Лолиты»>, — рассуждала Лиля, — щупать маленькую девочку — и только-то?! Ну и пусть себе щупает, в чем трагедия ? »

Часто бывала на кинопросмотрах, не вдаваясь и подробные оценки увиденного. Очень ценила Андрея Тарковского — «Иваново детство», «Андрея Рублева». Но «Зеркало», которое ей довелось посмотреть с большим опозданием, не приняла: все понятно, но малоинтересно и к тому же «снято посредственно» — таким был ее приговор. Удивилась, что бывший на просмотре вместе с ней итальянский художник Ренато Гуттузо остался очень доволен, особенно тем, что такая новаторская работа сделана в СССР. А он, в свою очередь, был удивлен реакцией зрителей: «У нас через пятнадцать минут половина зала опустела бы». Он не учел, что зал этот (в Доме кино) был заполнен не просто зрителями, а зрителями-коллегами. Они не могли нр досмотреть фильм до конца хотя бы из-за профессионального любопытства.

Официальные торжества по случаю юбилея Маяковского обошлись без нее: ей было с кем отметить этот день в домашнем кругу, хотя многие, очень многие общие друзья уже ушли из жизни. Уже не было ни Асеева, ни Кирсанова, ни Бурлюка. Роман Якобсон, после потрясений, испытанных им в Праге при вторжении советских танков, по-прежнему не желал приезжать в Москву. Советскому телевидению было запрещено показать даже в дни юбилея фильм «Барышня и хулиган», где новое поколение зрителей могло бы увидеть живого Маяковского. Но оно увидело бы еще и Лилю рядом с ним. Этого товарищи из ЦК допустить не желали.

Киностудия «Мосфильм» вознамерилась сделать к юбилею документальный фильм о Маяковском, поручив работу Сергею Юткевичу, хорошо знавшему некогда юбиляра. Макаров подсуетился и на этот раз — написал донос в ЦК, предварительно о нем же договорившись с теми, кому писал. Аргумент был единственный, и он не скрывался. В фильме непременно скажут что-то о Лиле, а то, чего доброго, еще и покажут: хроникальных кадров с ее изображением хватало с избытком. Такой криминал следовало убить в зародыше — его и убили: съемки фильма были запрещены.

Мысль о несостоявшемся фильме не давала Лиле покоя. Три года спустя она написала в Рим не знакомому ей лично Феллини, предлагая сделать фильм о Маяковском или «по Маяковскому». Ответ не пришел Впрочем, нет доказательств, что Феллини письмо причитал: его могли отфильтровать ассистенты, ограждавшие великого режиссера от полчищ поклонников и докучливых корреспондентов.

Примерно тогда же {или чуть раньше) внезапно оборвалась тесная и нежная дружба, которая связывала Лилю с Плисецкой и Щедриным. О точной причине разрыва ничего не известно: об этом не пишут в своих мемуарах ни Плисецкая, ни Василий Васильевич Катанян. Известно лишь — со слов последнего, — что виновницей разрыва была сама Лиля. Причины, вероягни, были настолько личными, что никто из причастных к этой грустной истории не желает о них говорить. Не посмеем вторгнугься и мы в личную жизнь достойных людей, решивших (возможно, не навсегда) сохранить свой секрет. Так или иначе, эта потеря, по какой бы причине она ни произошла, была огорчительной, еще более сузив и без того редеющий крут близких друзей.

Зато судьба напоследок подарила Лиле новую встречу — с человеком, чей огромный и разносторонний талант был сразу же ею понят и доставил несказанную радость. Всю жизнь она тянулась к талантам, и не было для нее большей радости, чем открыть еще один — для себя. Человека этого звали Сергеи Параджанов. Сегодня всемирно признанный классик тогда был просто бездомным, гонимым и травимым властями нескольких республик и городов режиссером. Приведший ее в восхищение фильм Параджанова «Тени забытых предков» она увидела раньше, чем автора. Едва он приехал в Москву, о чем ей сообщили друзья, Лиля сразу же пригласила Параджанова на обед, и они влюбились друг в друга с первого взгляда.

К тому времени это был известный во всем мире кинорежиссер, которого отвергли власти Грузии, где он родился, жил и работал, отвергли за неуправляемость, неукротимый свободный дух и нежелание считаться ни с какими условностями, ни с какими правилами «приличного» поведения. Он нашел приют в Киеве, работу на украинской киностудии, но и там пришелся не ко двору. Безраздельный хозяин Украины, член политбюро Петр Шелест, невзлюбил «строптивого армянина» (Параджанов был тбилисским армянином), который снимал то, что хотел, и так, как хотел, вместо того чтобы покорно исполнять заказы властей Украины, оказавшей ему «гостеприимство».

За Параджановым уже тянулся длинный шлейф «анкетных данных», обрекавших его на участь парии в «здоровом социалистическом обществе». По отношению к нему предпринимались различные кары, но — воспользуемся традиционнной советской терминологией — он не извлекал из них никаких уроков. Наказывали его — и раньше, и позже — за свободомыслие и вольность в речах и поступках, но всегда же камуфлировали это то обвинением в даче взятки, то обвинением в спекуляции антиквариатом...

Особо впечатляет последнее: Параджанов покупал приглянувшееся ему старинное кресло или старинную люстру, потом продавал их, чтобы купить что-то другое, более ему симпатичное в данный момент. Если бы такого «движения» старинных вещей не существовало, вся торговля антиквариатом прекратила бы существование. Но способны ли были гонители Параджанова усвоить эти простейшие истины? Его гноили в тюрьме, потому что хотели гноить, а не потому, что он был в чем-то виновен.

Приезд в Москву осенью 1973 года был его триумфом и его бедой. С Лилей он встречался только два раза — этого оказалось вполне достаточно, чтобы его необузданный, огромный талант вызвал в ней необычайный восторг, несмотря на то что он никогда не читал Маяковского. Что делать, свободный человек — имеет поаво читать, кого хочет, и не читать того, кто ему неинтересен. Столь же восторженно встречала Параджанова московская творческая интеллигенция, где бы он ни появился. Снова показывали и «Тени забытых предков», и «Цвет граната», и «Саят-Нова» — фильм, посвященный классику армянской поэзии.

Информация о приеме, который Параджанову оказали в Москве, его выступлениях на разных просмотрах и дружеских встречах, весьма обогатила его лубянское досье. Еще двумя годами раньше глава КГБ Андропов докладывал членам политбюро о речи, произнесенной Параджановым в Минске на творческой встрече. «Выступление Параджанова, — сообщал Андропов, — носившее явно демагогический характер, вызывало возмущение большинства присутствующих». Теперь от выражения возмущения перешли к делу. По возвращении из Москвы в Киев 17 декабря 1973 года Параджанова арестовали.

На этот раз обвинение было особенно грязным. Его обвинили в гомосексуализме (официально запрещенном тогда в СССР и считавшемся преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом), сопряженном с насилием и повлекшем за собой тяжкие последствия: ему пытались «пришить» самоубийство одного архитектора — якобы объекта его сексуальных домогательств. В обвинительном заключении было сказано, что Параджанов изнасиловал не просто некоего мужчину, а «члена КПСС», что должно было, очевидно, служить отягчающим вину обстоятельством.

В этом пассаже явственно слышен отзвук безумных застольных рассказов самого Параджанова, который не раз хвастался, что «всегда мстил коммунистам и старался их изнасиловать. Всего изнасиловал триста коммунистов». Автор доноса теперь известен — его имя и «творение» содержатся в деле

Параджанова, и сам режиссер уже после отсидки успел узнать его. Узнать— и простить...

Получив совершенно сразившее ее сообщение об аресте Параджанова, Лиля поспешила уведомить об этом и Арагона, и своих зарубежных друзей. Имя арестованного режиссера уже было широко известно в творческих кругах на Западе, поэтому реакция не замедлила появиться. Был создан международный комитет по спасению Параджанова во главе с Лукино Висконти. В него вошли Пьер Паоло Пазолини, Джон Апдайк, Тонино Гуэрра и другие всемирно известные деятели литературы и искусства.

К их обращениям советские власти, как и следовало ожидать, остались глухи. Но Лиля не теряла надежды, хотя глумление над Параджановым стало уже публичным. Первый заместитель прокурора города Киева написал про него в газете, что Параджанов «вел аморальный образ жизни, разрушил семью, превратил свою квартиру в притон распутства, занимался половым развратом и теперь привлечен к <уголовной> ответственности». Приговора к тому времени еще не было, но публикация статьи означала, что он предрешен.

Параджанова осудили на пять лет лагерей строгого режима и отправили отбывать наказание вместе с уголовниками-рецидивистами. Он имел право писать не более двух писем в месяц. Одним из них обычно оказывалось письмо к сыну Сурену и его матери, с которой Параджанов давно разошелся, оставшись в дружеских отношениях, другим — к Лиле и Катаняну. Эта переписка, несомненно, помогала ему выжить в лагерных условиях, давала силы, связывала с миром, которого он был лишен. Для Лили же это была насущная потребность деятельной помощи преследуемому таланту, что — теперь, ретроспективно, это видно с особой отчетливостью — всегда было главным делом ее жизни.

«Бесценный наш Сергей Иосифович», «самый любимый, самый родной, удивительный Сергей Иосифович» — такими обращениями начинались письма Лили и Катаняна в гулаговский ад. «Вы удивительные друзья, — отвечал он им, — вы превзошли всех моих друзей благородством». Ему писали в лагерь многие, не убоявшиеся таким образом вызвать гнев властей предержащих: Юрий Любимов, Андрей Тарковский, Кира Муратова, Василий Шукшин, Эмиль Лотяну, Но ничего не было важней и дороже писем от Лили и Катаняна. «Беспокоимся, беспокоимся о Вашем сердце, — писали они. — Держитесь, ради Бога! Вы так нужны нам (человечеству) — самый лучший, самый добрый, самый талантливый, любимый Сергей Иосифович». Он отвечал, получив присланную Лилей посылку: «Вероятно, стоило жить, чтобы

ощутить в изоляции, во сне присутствие друзей, их дыхание, и тепло, и запахи, хотя бы ананаса, которого Вы касались»,

В каком-то смысле переписка Лили с Параджановым глубже, эмоциональнее и даже «функциональнее», чем ее же переписка с Маяковским: в ней больше непосредственности, искренности, осознания огромной, жизненно важной для адресата ценности каждого слова. Не случайно в одном из лагерных посланий Параджанов написал: «Не знаю, во что оценивается Ваша доброта и сердце. Что и когда я мог бы выразить в ответ. <…> Для «чуда» мне необходимо Ваше здоровье и доброта».

Чутьем художника он ощущал, что эта хрупкая и больная женщина весьма преклонных лет может стать его добрым гением, его спасительницей, и всем своим естеством тянулся к протянутой ему руке. Он погибал в том кошмаре, в который его загнали маразмирующий большевизм и его выжившие из ума, но ставшие от этого еще более злобными вожди. Знал, насколько они глухи и к доводам разума, и к мировому общественному мнению, и тем более к стонам своих жертв: понятие сострадания этим борцам за счастье всего человечества было абсолютно чуждо. И все же настойчивость и энергия Лили, ее искренность и дружелюбие помогали не впасть в отчаяние.

«…Строгий режим, — писал Параджанов Лиле, — отары прокаженных, татуированных, матерщинников. Страшно! Тут я урод, так как ничего не понимаю— ни жаргона, ни правил игры. <…> К сожалению, я не Маугли, чтобы в свои годы изучать язык джунглей». С ужасом узнав сначала о смерти Шукшина, потом о гибели Пазолини, одного из самых активных своих защитников (увиденный ею в Париже фильм Пазолини «Сало, или 40 дней Содома» Лиля считала «кошмаром» и невероятным своим чутьем почувствовала близкий и трагический конец режиссера), он еще больше уверовал в Лилю. Никого другого, кто мог бы не просто сочувствовать, а что-то делать ему во благо, не оставалось.

Так ему казалось, хотя это не вполне соответствовало истине. Всенародно любимый Юрий Никулин специально устроил гастроли своего цирка в Киеве, чтобы пробиться к республиканским властям (он знал., что никто ему не откажет в приеме) и постараться добиться у них досрочного освобождения Параджанова. На прием он пробился, но достучаться до их сердец не удалось даже ему. Впрочем, вряд ли какие-либо поблажки Параджанову вообще входили в компетенцию республиканских властей: он «числился» непосредственно за Москвой, за самым высоким лубянским начальством, без согласия которого никто не был вправе облегчить его участь.

Лиля совсем извелась в борьбе за освобождение

Параджанова, и он понял это. Теперь не она утешала его, а он — ее. «Пугает меня, — писал Параджанов, — тревога Лили Юрьевны, ее сон и грустные нотки между строк. Вы, в происшедшей моей переоценке ценностей и людей, оказались удивительными, щедрыми, мудрыми и великими. Вас не одержал тот страх, который овладел близкими моими друзьями на Украине и в Грузии».

Не только утешал— пытался найти хоть какой-то доступный ему способ выразить свою благодарность. В лагере, среди разных прочих работ, была у него и такая: вытряхивать мешки из-под сахара. Из одного мешка он сшил куклу, изображавшую Лилю, и вдобавок еще дамскую сумочку и маленькую лошадку. В другой раз сделал коллаж. Лиля знала толк в таких поделках, а еще больше — чего стоит фантазия художника, стремящегося сделать приятное дорогому для него человеку.

В Париже тем временем устроили выставку, посвященную Маяковскому. Лиля и Катанян улетели для участия в ней. В Москве на подобной выставке она была незваным гостем, в Париже — самым важным персонажем, живой легендой. Она дала пресс-конференцию, выступала по радио и телевидению, общалась с молодежью, толпившейся в выставочных залах.

Но душа была неспокойна, и Лиля поспешила обратно. Прошел слух, что к семидесятилетию Брежнева объявят амнистию, — слух был ложным и просто абсурдным. «Хозяин» хоть и был куда могущественней любого монарха, но публично себя изображать таковым, да еще на радость каким-то там заключенным, позволить себе не мог. И главное— не хотел. «Мы вернулись на две недели раньше срока, чтобы быть ближе к Вам, — сообщали Лиля и Катанян Параджанову. <Это было, конечно, слабым для него утешением.> — Подумать только, что мы виделись с Вами только два раза! Мы влюблены в Вас... Никого нет роднее, ближе Вас. Обнимаем крепко, крепко».

Письма Лили, воспоминания близких ей людей неоспоримо свидетельствуют о том, что все это время она неотступно думала о судьбе Параджанова и искала ходы, чтобы как-то ему помочь. В тот рождественский вечер, который я провел в ее доме, она тоже думала об этом. Но ни за столом, ни в передней, когда мы долго-долго прощались и все никак не могли уйти, имя Параджанова не было произнесено ни разу. И это тоже говорило о многом: под водку и закуску не очень-то хочется говорить о самом больном и самом сокровенном.

Через шесть дней после того, как мы у нее были, Лиля (подпись Василия Абгаровича Катаняна тоже стоит под всеми ее письмами Параджанову, но писала их только она) извещала

«драгоценного Сереженьку», что «в Москве — мороз. Я его удержать не могу». И в моей памяти тоже остался тот свирепый декабрьский холод, даже в квартире, — спасением от него была не столько водка, сколько присутствие Лили и ее стремление доставить радость своим гостям. Иногда она замолкала, вдруг на короткое время уходила в себя. Не с Параджановым ли в это время она вела мысленный свой разговор?

«БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ — ВЕЛИКИЙ ШАГ…»

Если быть точным, летала Лиля в Париж в тот год не только для того, чтобы обсуждать план спасения . Параджанова. 11 ноября по новому стилю ей исполнялось восемьдесят пять лет. Отметить этот день хотелось среди своих, в веселой и шумной компании близких по духу, чтобы это вернуло ее, пусть только мысленно, в былые годы и напомнило о том, какая необыкновенная жизнь осталась позади. Ее замысел был тем более обоснован, что годом раньше произошло еще одно знакомство, и оно сулило продолжение «сюжета» в Париже и соответственное юбилейное торжество.

Однажды, отправляясь в Париж, Лиля и Катанян ожидали посадки в Шереметьевском аэропорту. Самолет прилетал из Токио и после часовой остановки в Москве продолжал свой путь до Парижа. В группе прибывших из Токио транзитных пассажиров оказался человек, который мельком был знаком с Лилей по ее предыдущим визитам во французскую столицу. Это позволило ему подойти к Лиле, попомним, о прежней встрече и сказать, что один господин, его коллега, хотел бы с ней познакомиться. Пассажира звали Пьер Берже, он работал директором в фирме Ива Сен-Лорана. А «коллегой», пожелавшим познакомиться с Лилей, оказался сам Ив: пожилая дама с огромными глазами неслыханной красоты, так отличавшаяся от аэродромной толпы, не могла не привлечь его внимания. Весь полет они проболтали о модах (любимая Лилина тема!). Разговор был светским и по логике не имел никакой перспективы на продолжение.

И однако — имел! Разыскать Лилю в Париже было, естественно, проще простого. Цветы прибыли еще назавтра, за ними — приглашение на обед, и так едва ли не каждый день. Лиля сразу же вошла в общество Сен-Лорана. Художник Жак Гранж, актер Паскаль Грегори, так называемая «золотая молодежь», или «мальчики Сен-Лорана», — среди этих людей и проходили все ее парижские дни. Арагон как-то отошел на второй план, да и у него теперь была другая жизнь, не зажатая присутствием Эльзы. Дорогие подарки, которые Лиля получала изо дня в день, роскошные приемы, увеселительные поездки — возвращение в молодость казалось уже не мифом, а вполне осязаемой реальностью.

Но был еще один человек из того же самого общества, который не просто весело проводил с ней время, а совсем не на шутку влюбился. Ей было тогда восемьдесят четыре, романисту и драматургу Франсуа-Мари Банье — двадцать девять. Возрастная

разница поражала всех, только не Лилю. Она всегда считала, что для увлечений, тем паче для любви, нет вообще никаких условностей, никаких запретов или границ. Жизнь лишь подтверждала справедливость ее суждений. Интервью, которое взял у нее Банье и опубликовал в газете «Монд» 4 декабря 1975 года, сочетало в себе оригинальность и остроту мысли с эмоциональным подъемом и романтической сентиментальностью. Оно точно отражало ее состояние, ее душевный мир в этот момент. Катанян был рядом, но ни малейшей помехой ее увлечениям он не был и быть не мог.

Прощаясь, Банье клялся в «любви до гроба». Казалось, все это не более чем дивное завершение очередного парижского сезона, который доставил ей столько радости и поднял дух. Но не успела она приземлиться в Шереметьевском аэропорту и добраться до дома — телефонный звонок из Парижа! Банье: «Лечу, ждите в Москве». Письма, телеграммы, телефонные звонки следовали один за другим. Какие-то гонцы приносили подарки. Вслед за ними примчался и сам Банье. С утра до вечера он пропадал в Переделкине, которое Лиля теперь в любое время года предпочитала Москве. Эти прилеты повторились еще несколько раз. Лиля чувствовала с ебя снова влюбленной молодой женщиной, подтверждая живым примером хорошо известную истину: женщине не столько лет, сколько указано в ее паспорте, а столько, сколько ей дают влюбленные в нее мужчины.

Направляясь в Париж, чтобы отпраздновать свой юбилей, Лиля хорошо знала, какое блестящее общество ее там ожидает. На этот раз приглашение пришло не от Арагона, а от Банье. Лиле и Катаняну был заказан апартамент в одном из лучших отелей Парижа «Plaza-Athenee» на проспекте Моитеня, который известен тем, что на нем расположены самые дорогие магазины самой высокой моды. Номер по соседству занимал одноглазый израильский генерал, герой Шестидневной войны Моше Даян, соседкой с другой стороны оказалась София Лорен. На обед Лилю сразу же пригласил председатель Национального собрания Эдгар Фор. Затем посыпались новые приглашения, иногда по два на день: Мадлен Рено и Жан Луи Барро, Эмиль Айо, Жюльет Греко, Франсуаза Саган, Жанна Моро... «Мальчики» от Сен-Лорана ежедневно приносили новые наряды вместе с сопутствующей им бижутерией и духами. Дежурившие у отеля автомашины были к услугам Лили в любое время суток.

И ноября 1976 года, в день ее юбилея, Ив Сен-Лоран устроил роскошный пир у «Максима». Пришел Арагон, с которым и в этот приезд — по вполне понятным причинам — она виделась мало. Пришли все, кто теперь ежедневно ее окружал в Париже, и Банье,

ясное дело, прежде всего. Пришли владельцы прославленных фирм — законодатели мод, производители лучших запахов в мире. Пришли Ротшильды и другие знаменитости из высшего света. О подобном окружении она не могла мечтать даже в самые звездные свои дни и часы.

К юбилею Сен-Лоран «сочинил» для нее специальное платье. Оно было доставлено ей с величайшими церемониями еще утром того же дня, а вечером она блистала в нем на своем юбилее, поражая всех неувядающей красотой, легкостью движений и острыми шутками на прекрасном французском. Потом ее видели в этом платье на концертах, в театре и в ресторанах: в таком наряде, вопреки ритуалу, было не грешно появиться и несколько раз.

Не уверен, что в тот московский рождественский вечер, который мне суждено было провести вместе с ней — после ее возвращения из Парижа, — Лиля надела то самое — юбилейное — платье, но оно, несомненно, было из той же сен-лорановской коллекции, сделано для нее и ей посвящено. Вечерний наряд сидел на ней великолепно, а на лице сохранился отблеск парижских встреч. Потускнеть ему не дали ни жестокий мороз, ни московский быт, в который она сразу же окунулась.

Декабрь 1976 года. Москва. Запись рассказа Лили Брик за рождественским столом.

«Почему французы так не любят парижских новостроек? Ведь не может же город перестать строиться. И не может все время имитировать прежнюю архитектуру. Каждая эпоха должна оставить в великом городе свои следы. Одна не похожа на другую, значит, и постройки не будут похожи друг на друга. Мне все уши прожужжали: посмотрите, как изуродовали Париж, как он теряет свой прежний облик. В этой ностальгии есть какая-то эгоистичная ограниченность: пусть все останется таким, каким было при моей молодости. Но у другого поколения есть своя молодость, и ему понравится тот город, в котором провел ее именно он, а не тот, в котором ее проводили мы.

Арагон позвал меня обедать на Монпарнасскую башню, на пятьдесят шестой этаж. И что там плохого? Мне говорят: торчит, как гвоздь, подавляя все окрест. Да ничего подобного! Сверху, из ресторана, прекрасный вид, не говоря о кухне, и башня нисколько меня не раздражает. Рядом один Париж, и тут же другой. Непрерывность жизни. По-моему, замечательно.

Мне никогда еще не было так хорошо в Париже, как в этот раз. В сущности, нам открылся тот самый Париж, который существует в воображении людей, много о нем начитавшихся. Не совсем реальный и в то же время более истинный, чем сама

реальность. И вот, хотя бы под занавес, судьба мне его подарила. Вполне достойное завершение жизни.

<Вознесенскому.> Андрюша, ведь я говорила вам перед поездкой: «Надоело быть немощной. Вот порадуемся напоследок, гульнем в Париже, и — хватит!» Вы помните, Андрюша? Ото уже второе или даже третье упоминание об одном и том же. Тема, видимо, сидит занозой в ее мозгу. На этот раз Андрей подтвердить отказался, предпочитая аппетитно уплетать миноги. >

Когда мы собирались в поездку, я сказала Васе: «Проведем время, ни в чем себе не отказывая. Получим от Парижа все, что он может дать. Я покажу вам такой Париж, какого вы еще не видели. А потом уйдем из жизни. Вместе. И добровольно». Ну, скажите, что хорошего в медленном увядании и в борьбе со своими болезнями? Зачем все это? Жизнь прожита, и прожита не зря. И хватит. Что может быть лучше: Париж во всем его блеске, с его неувядающей жизнью— и на этом конец? Я правильно говорю, Вася? <Катанян не проронил ни слова. В течение всего этого монолога он сидел, опустив голову и разглядывая свою тарелку. Лишь теперь Вознесенский прервал Лилю: «Ну что вы такое говорите, Лиля Юрьевна! Давайте лучше выпьем». Она поднесла бокал к губам, не сделав ни одного глотка. Вздохнула.> Париж заставил меня забыть об этих планах. Помог оттаять. Жизнь все-таки прекрасна. И есть еще множество дел».

Одно дело, по крайней мере, она должна была завершить. Судьба Параджанова не давала покоя. Все обращения по инстанциям не приносили результата. Вероятнее всего, существовало какое-то высокое указание не идти ни на какие поблажки. Высокое указание можно было преодолеть лишь еще более высоким. Скорее всего — самым высоким. Но до «самого» было очень не просто добраться. И тут представился случай.

По случаю восьмидесятилетия Арагона Кремль пожаловал ему в октябре 1977 года орден Дружбы народов. Лиля знала, что приезжать в Москву Арагон не намерен, — он не был здесь уже несколько лет. Еще того больше: он имел намерение вообще отказаться от ордена, хотя пятью годами раньше без проблем принял куда более высокий орден — Октябрьской революции, — которым его наградили по случаю семидесятипятилетия.

Моментально поняв, какой открывается шанс, Лиля помчалась в Париж. Она убедила Арагона не только приехать за орденом в Москву, но и во что бы то ни стало встретиться с Брежневым: вряд ли кто-нибудь мог отказать престарелому юбиляру в такой просьбе, не зная к тому же, какой план он заготовил. Все получилось именно так, как задумала Лиля.

В декабре Арагон приехал за орденом, и ему устроили встречу с Брежневым в неофициальной обстановке. Оба они оказались в Большом на балете «Анна Каренина», автором которого был Щедрин, а танцевала Майя Плисецкая. Арагона пригласили в ложу Брежнева. В антракте, в «комнате отдыха», существовавшей позади ложи еще со сталинских времен, он изложил Брежневу свою просьбу: отпустить на волю великого режиссера, прославившего советское киноискусство на весь мир.

О великом режиссере Брежнев никакого понятия не имел, даже имени такого никогда не слышал. Но что ему стоило оказать услугу знаменитому французскому писателю, тем более члену ЦК одной из «братских» компартий? «Вопрос решен», — сказал он Арагону, не вдаваясь в подробности. Арагон тотчас отправился за кулисы. Плисецкая, едва дослушав его, кинулась к телефону. С Лилей она была в ссоре — информацию принял ее друг Василий Катанян младший. И — просто трудно поверить!.. Брежнев сдержал слово без проволочек. Как это было оформлено, значения не имеет, но уже 30 декабря, на год раньше срока, Параджанова освободили,

Лиля имела все основания ждать его к Новому году, но он полетел в Тбилиси. Там был сын, все близкие люди. Город, который его предал, и все равно — свой. До боли знакомый. И родной навсегда. Для Лили это было огромной, не залечим ой обидой. Но она простила и это. Когда он все же приехал в Москву, они виделись каждый день. На память об этих встречах остались привезенные им подарки — коллажи, рисунки, всевозможные поделки, несущие на себе печать его буйной фантазии. Лиля предложила ему — бездомному, в сущности, нигде не имевшему постоянной крыши — навсегда остаться в их доме: мысль о возрождении какого-то подобия гендриковской «коммуны» была и сладостной, и реальной.

Нет, реальной она не была. Параджанов перестал бы быть Параджановым, если бы смог замкнуться даже в этом доме, где его ждали уют, забота, общество людей, влюбленных в его талант. Он был поистине вольной птицей — отнюдь не в метафорическом смысле слова — и мог принадлежать только самому себе. Только себе — и никому больше. Он уехал. Понять его поступок было можно, смириться с ним — куда тяжелей. Финал многолетней драмы, в которой Лиля играла ведущую роль, оказался не совсем таким, каким она его себе представляла.

Но и в помине не было того, что придумал, как истолковал эти события — уже после ее смерти — один из биографов Маяковского, люто безжалостный, чем-то озлобленный и вскоре трагически заплативший сам за эту озлобленность, сведя счеты с

собой. Юрий Карабчиевский, автор талантливо написанной, но абсолютно несправедливой книги «Воскресение Маяковского», сочинил легенду о том, что, столкнувшись лицом к лицу с неразделенной, грубо отвергнутой, притом отнюдь не платонической, любовью к Параджанову, Лиля не смогла пережить эту драму, и этот удар свел ее вскоре в могилу.

Имеет смысл привести довольно длинную цитату из его незаурядного сочинения. «Лиля Юрьевна была умным и тонким человеком и, не в пример Осипу Брику, человеком одаренным в слове. <…>

Но главное и ней, конечно, не это, главное— дар быть женщиной. <…> Ее дом был собранием различных коллекций и редких изделий: картины, фарфоровые масленки, расписные подносы, браслеты и кольца… На этой эстетской, почти бескорыстной любви к драгоценностям, на умении увидеть прекрасную вещь и безошибочно оценить ее стоимость и сошлись они в последние годы с предметом ее последней страсти. Это был известный кинорежиссер, человек оригинальный и одаренный. Он искренне восхищался удивительной женщиной, он попросту был от нее в восторге, но, конечно, полной взаимностью ей отвечать не мог, тем более что к этому времени женщины — не только старые, но и молодые — вообще перестали его интересовать».

Далее, фантазируя в русле придуманной им самим схемы, автор этой новеллы (он сам дал такое жанровое обозначение своей выдумке) утверждал, что Лиля специально заказала в «прославленной фирме со звучны?| названием» семь платьев на каждый день недели, чтобы «хорошо подготовиться» к встрече с предметом своей закатной любви и поразить его своими нарядами. Но любовь не состоялась, и «что-то в ней надломилось после этой истории — сначала в душе, потом в теле. <…> Каждый день она ждала, что он приедет». Но он не приехал — и она погибла.

Лилю всю жизнь преследовали легенды — одна нелепее другой. Случались и более мерзкие. Но такой, которая равнялась бы по пошлости ЭТОЙ, не было никогда. Какая-то взбесившаяся на сексуальной почве старуха, какой-то патологический роман коллекционера с коллекционершей, и еще эти платья от Сен-Лорана, СПЕЦИАЛЬНО ею заказанные, — расплатиться за такой «заказ» она не смогла бы, даже продав все свои коллекции… Можно только порадоваться, что Лиле не довелось узнать о новой — и последней в ее жизни— лжи «за гробом», на которую она уже не могла ответить.

Ответил сам Параджанов, направив письмо в редакцию журнала, который опубликовал фрагменты книги перед ее

выходом. Сообщая о том, что он «с отвращением прочитал <…> опус Карабчиевского», Параджанов писал о своем желании подать на автора в суд «за клевету на наши отношения с Л. Ю. Брик».

Болезнь помешала ему осуществить это намерение. «Лилия Юрьевна, — продолжал Параджанов, — самая замечательная из женщин, с которыми меня сталкивала судьба — никогда не была влюблена в меня, и объяснять ее смерть «неразделенной любовью» — значит безнравственно сплетничать и унижать ее посмертно. <…> Наши отношения всегда были чисто дружеские».

Это письмо говорило о благородстве Параджанова и его верности памяти Лили, но оно все же не могло остановить распространение лжи, запущенной даровитым автором в скандально эпатирующей читателя книге. В этом была, вероятно, какая-то закономерность: очень бурно прожитая жизнь не могла завершиться посмертным благоговением окружа-щих, лишенным какой-либо новой скандальности. Горько лишь то, что финальный комок грязи вылетел не из того угла, откуда его можно было бы ждать.

Впрочем, и самые достойные люди, случалось, испытывали к Лиле отнюдь не добрые чувства. К примеру, один очень уважаемый в России поэт и переводчик, Аркадий Штейнберг, почему-то настолько ее ненавидел, что вообще не мог находиться в ее присутствии. Однажды он был в консерватории на концерте Исаака Стерна и все время испытывал ничем не объяснимое беспокойство. Когда концерт закончился, он увидел Лилю среди выходивших из зала— и понял все...

Предчувствуя, что конец близок, Лиля решила вернуться к последнему, возможно, самому драматичному в ее жизни сюжету, который все еще не имел своего завершения. Она узнала американский адрес Татьяны Яковлевой и вступила с ней в переписку. Рассказала, что сохранила письма Татьяны к Маяковскому, в том числе и то, где она сама рассказывала ему о своей помолвке с виконтом дю Плес-си. Оно никогда не было опубликовано.

Десять лет спустя Татьяну навестила в Соединенных Штатах писательница Зоя Богуславская, добрая знакомая Лили. «Я ей ответила на ее письмо, — рассказывала Татьяна своей гостье, — сказав, что абсолютно ее понимаю и оправдываю, и только прошу, чтобы она все мои письма Маяковскому сожгла. Она ответила, что тоже меня понимает и оправдывает. Так что перед смертью мы объяснились. И простили друг друга».

Все, кто знает об этой истории, убеждены, что Лиля исполнила просьбу Татьяны и уничтожила драгоценнейшие

документы — письма к Маяковскому той женщины, без которой не существует ни биография поэта, ни биография самой Лили. Так ли это на самом деле? Характер Лили позволяет считать, что она могла бы на это решиться. Но, с другой стороны, она же понимала, что отношения всех, кто причастен к этой человеческий драме, принадлежат уже не только им, но и истории. Не уничтожила же она ни единой строки из переписки Маяковского с собой, хотя там есть и такие строки, которые представляют Лилю не в лучшем виде. Так что есть, кажется, небольшой шанс, который позволяет надеяться на чудо: вдруг отыщутся и эти «сожженные» письма...

12 мая 1978 года на даче в Переделкине Лиля упала возле кровати и сломала шейку бедра. В старости это довольно часто случающаяся беда, а Лиле было тогда без малого восемьдесят семь лет. Ее спешно доставили в больницу, где она провела полночи в холодном коридоре и практически без ухода. От операции Лиля отказалась и просила вернуть ее домой, в привычную атмосферу, где ее окружали бы только близкие люди. Перелом заживал медленно и с трудом. Строго говоря, он вообще не заживал — в самом лучшем случае хромота была неизбежной. Она не теряла, однако, присутствия духа.

С наступлением лета Василий Катанян-младший перевез ее в Переделкино. Многочисленные друзья приезжали к ней сюда, чтобы поддержать и пробудить интерес к жизни. Из Парижа прилетел Франсуа-Мари Банье, — она была счастлива его приезду и вместе с тем не могла смириться с тем, что встречает дорогого гостя в состоянии полной беспомощности. В июне ей прислали из Италии оттиски книги журналиста Карло Бенедетти с записями данных ему интервью. В книге было много фотографий. Она подолгу рассматривала их, мысленно возвращаясь в свое драматичное и счастливое прошлое.

Кость не срасталась. О возвращении к привычному образу жизни уже не могло быть и речи. Близкие делали все возможное, чтобы поднять ее тонус, — из этого ничего не вышло. Четвертого августа, воспользовавшись тем, что на какое-то время она осталась одна на переделкинской даче, Лиля покончила с собой, наглотавшись безумной дозы амбутала. В оставленной ею записке, которую она писала дрожащей рукой, теряя сознание, были строки, обращенные к мужу: «Васик, я боготворю тебя».

Седьмого августа в Переделкине состоялось прощание. Арагон не приехал. Но пришло множество друзей и тех, кто чтил не просто музу поэта — женщину удивительной, беспримерной судьбы. Панихида длилась долго, желающим высказаться никто

не отказывал, но и эта печальная церемония казалась продолжением неумолкнувших споров, которые сопровождали ее всю жизнь.

«Никому не удастся, — сказал Константин Симонов, — оторвать от Маяковского Лилю Брик. Попытки эти смешны и бесплодны».

Восьмидесятипятилетний Виктор Шкловский не мог стоять на ногах и произнес свою речь, сидя на стуле. То была не речь, а крик: «Маяковского, великого поэта, убили. Не живого — убили после его смерти. Его разрубили на цитаты. Лиля защищала его — и при жизни, и после смерти. Они ей мстили за это. Но вытравить Маяковского из сердца не дано никому! И Лилю не вытравить тоже...»

Вся в черном, безмолвно стояла, склонив голову, прошедшая ГУЛАГ Софья Шемардина — Сонка. Ей дали слово. «Великая защитница всех обиженных» — так сказала она о Лиле. О том же говорила и Рита Райт: «Если бы все, кому ты помогала, пришли сюда, то им не хватило бы здесь места». Голос ее сорвался, и она замолчала.

Главный режиссер Московского театра сатиры, ученик и сотрудник Мейерхольда Валентин Плучек вспоминал о «содружестве великих талантов», в котором роль Лили была «огромной и бесспорной». Он рассказывал о том, как помогала Лиля восстановить в годы «оттепели» на театральной сцене пьесы Маяковского «Баня» и «Клоп».

Из Тбилиси прилетел на похороны Сергей Параджанов. Он привез с собой сына Сурена — мальчика, который никогда не видел Лилю живой и о котором она так заботилась, когда отец томился в лагере, — посылала ему одежду и дорогие подарки. «Побелевший, растрепанный, заросший седой щетиной, с остановившимися глазами» — таким запомнился в тот день Параджанов одному из очевидцев. Он стоял в стороне, от всего отрешенный. «Сестра моя! — вдруг выкрикнул он в горькой и торжественной тишине. — Друг мой! Никто на земле, кроме тебя, не смог бы возвратить мне свободу. Ты вырвала меня из застенков, вернула меня мирозданию, жизни».

В том же самом крематории, где огню был предан Маяковский, состоялась и кремация Лили. С последним надгробным: словом к ней обратились поэтесса Маргарита Алигер и один из старейших режиссеров советского кино, Александр Зархи. Потом все было кончено.

Василий Васильевич Катанян уже нашел укрытое среди ее бумаг письмо-завещание Лили, написанное десятью годами раньше, когда она всерьез помышляла о самоубийстве. Лиля

просила развеять ее прах где-нибудь в Подмосковье. Вероятнее всего, ей хотелось быть погребенной рядом с Владимиром Маяковским, но она знала, что эта просьба обрекла бы близких на мучительные хождения по инстанциям, а ее саму на посмертные унижения. Урна с прахом Маяковского захоронена на «правительственном» Новодевичьем кладбище, — по советским критериям Лиля на эту честь «не тянула», а женой, опять-таки по советским критериям, не считалась. Вся банда ее хулителей непременно кинулась бы в бой, защищая прах «пролетарского трибуна» от соседства с его «убийцей». Омерзительный Суслов быт еще жив, и он бы такого «кощунства» не допустил.

Хорошо сознавая свою посмертную судьбу, Лиля распорядилась собою так, чтобы не дать возможности никому помешать исполнению принятого ею решения. Воля ее была исполнена: прах развеян в поле неподалеку от одного из самых живописных мест Подмосковья — старинного Звенигорода. Там теперь стоит камень с выбитыми на нем инициалами: ЛЮБ.

Прошли годы. Полностью стерлась память о тех, кто ее травил. Их имена сохранились в истории лишь потому, что они принимали участие в гонениях на нее. Ничего нового в этом нет: такова судьба всех бездарностей и мракобесов, которых сжигает зоологическая ненависть к индивидуальности и таланту. О Лиле написаны за это время тысячи строк мемуарных свидетельств, над ее архивом работают исследователи, о ней пишут книги, снимают фильмы. Устроенная в Берлине выставка «Мир Лили Брик» привлекла к себе внимание знатоков и ценителей из множества стран. И все-таки загадка этой хрупкой женщины, устоявшей перед всеми ветрами жестокой эпохи, преодолевшей клевету и ненависть, интриги и нападки очень влиятельных, очень могущественных людей, миновавшей рифы Кремля и Лубянки и до последних своих дней восхищавшей самых замечательных людей века, — эта загадка так и осталась до конца не разгаданной. «Быть женщиной — великий шаг, — утверждал Борис Пастернак, — сводить с ума— геройство». Если это так, а это действительно так, то Лиля свершала героические подвиги множество раз.

В недавно опубликованных мемуарах драматург Леонид Зорин, пытаясь, как и многие другие, постигнуть секрет этой необыкновенной женщины, дал очень близкий к истине, и все равно неполный, ее психологический портрет, которым можно, пожалуй, завершить это жизнеописание. «Лиля Юрьевна никогда не была красива, зато неизменно была желанна. Ее греховность была ей к лицу, ее несомненная авантюрность сообщала ей терпкое обаяние; добавьте острый и цепкий ум, вряд ли глубокий,

но звонкий, блестящий, ум современной мадам Рекамье, делавший ее центром беседы, естественной королевой салона, добавьте ее агрессивную женственность, властную тигриную хватку — то, что мое, то мое, а что ваше, то еще подлежит переделу, — но все это вместе с широтою натуры, с демонстративным антимещанством, — нетрудно понять ее привлекательность».

И все-таки— трудно... Ведь все мужчины, которых она сводила с ума и которым оказывала свое внимание, вошли в энциклопедии, в биографические словари, заняв очень заметное место на страницах новейшей истории. Она не коллекционировала таланты — она восхищалась ими и дарила им свою любовь. Ее восхищение и было знаком качества высочайшей пробы. Всю жизнь она провела в окружении тех, кто был отмечен Божьим даром. Кому еще была уготована такая судьба?..

Один совсем молодой человек девятнадцати лет, сын моих друзей, узнав, что я пишу о Лиле, спросил меня: «Кем она была, героиня вашей будущей книги?» И я не сразу нашелся что ответить. Действительно, а кем же она была? Литератором? Скульптором? Киноработником? Любимой женщиной Маяковского и еще многих, многих других? Да, конечно. Ну, и что? Литератором она была даровитым, но все же совсем не первого ряда. Скульптором — очень скромным. В кино оставила не слишком заметный след. Междуусобные битвы лефовцев с рапповцами или с кем-то еще, в которых она принимала участие, давным-давно отшумели и ныне вряд ли особенно интересны даже въедливым диссертантам. А женщин, любимых великими, история знает вообще превеликое множество — чего-либо, из ряда вон выходящего, в этом, довольно банальном, «статусе», разумеется, нет. Почему же тогда ее имя известно во всем мире и вошло в почетный список знаменитейших женщин уходящего века?

Одну из тех, кого любили великие— Горький, Уэллс и другие, — небезызвестную Муру Будберг Нина Берберова назвала ЖЕЛЕЗНОЙ. По этой аналогии, по способности сопротивляться ударам судьбы, не согнуться, устоять в жесточайший и беспощадный век, дожив до глубокой старости и оставшись самою собой, Лилю можно, пожалуй, назвать СТАЛЬНОЙ.

Но как не подходит к ней — хрупкой, изящной и нежной — это давящее слово, неизбежно напоминающее совсем другую «сталь» — ту, что дала имя тирану! И снова вспоминаются чеканные строки поэта: «Сводить с ума — геройство». Кто знает, не ее ли, не Лилю, поистине сведшую с ума десятки известных людей (и сколько еще неизвестных!), — не ее ли, наряду с

другими, имел в виду Пастернак? В любом случае, подчиняясь этой точной поэтической формуле, мы вправе назвать ее ГЕРОИЧЕСКОЙ.

Какая сила позволила ей до последних дней влюблять в себя тех, кому судьба дарила с ней встречу, притягивать как магнитом старых и молодых, вселять уверенность в свои силы, взращивать таланты, отличая подлинник от подделки, пробуждать достоинство и умение сопротивляться невзгодам, помогать тем, кто нуждался в помощи, и других заставляя мчаться на помощь? Вряд ли есть точный ответ на все эти вопросы. Так что не будет ошибкой назвать Лилю еще и МАГИЧЕСКОЙ.

Но разве она нуждается в каких-либо определениях? Зачем они ей? Не проще ли сказать, что Лиля Брик была ЛИЛЕЙ БРИК? И никаких дополнительных объяснений этому имени совершенно не нужно.